

ЗНАМЯ

МЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

3 72

Q 174830

1942.

5 - ₧

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

МАЙ—ИЮНЬ

КНИГА ПЯТАЯ—ШЕСТАЯ

ОГИЗ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Приказ Народного комиссара обороны тов. Сталина	3
ДОЛОРЕС ИЗАРРУРИ — Советский Союз — бастион свободы	8
Стихи: ПЕРЕЦ МАРКИШ — Красноармейская песня, ПАВЕЛ ШУБИН — Наша правда, ВЕРА ИНБЕР — На пороге — май	10
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Русские люди, пьеса	14
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — Ленинградские стихи	65
ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ — Рассказы о войне	68
ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ — Невыдуманные рассказы	78
Стихи: И. РУЧИЙ — В боях за родину, АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — На минском шоссе	89
И. РАХТАНОВ — МГУ, Письмо, рассказы	91
А. ГОРОБОВА — Вода, рассказ	99
Стихи: ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ — Весна на фронте, ЛЕОНИД ЕЛИСЕЕВ — Обычный день, ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ — Москва весной	103

С ФРОНТА

В. ГРОССМАН — На южном фронте, очерки	104
Старший политрук Ник. ШВАНКОВ — В Припльменских лесах	121

НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ

Подполковник Н. ДЕНИСОВ — Особенности немецкой воздушной тактики	125
ЮРИЙ ВЕБЕР — Слава русской гвардии	141

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Б. ПЕСИС — Падение Парижа (о новом романе И. Эренбурга)	168
--------------------------------------------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ

В. КИРПОТИН — «Фронтовые письма Бориса Горбатова». М. АПЛЕТИН — «Мракобесие в фашистской прессе. А. ХОВАНСКАЯ — Вл. Лидин «Зима 1941 года». ЛОКС — Иван Арамилев «Юность Матвея». М. ПОЛЯКОВА — «В боях за родину».	180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Редколлегия: *Вс. Вишневский, А. Исбах, В. Лебедев-Кумач, В. Дудаков, Е. Михайлова* (отв. секретарь), *А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев*

№50278 12-й год издания. Тираж 30 000 экз. Подписано к печати 13/VI 1942 г.
Неч. л. 12. Авт. л. 17^{3/4}. В печ. л. 59375 зн. Цена 10 руб. Зак. 211

18-я типография треста «Полиграфкнига». Москва, Шубинский пер., 10

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

1 МАЯ 1942 ГОДА

№ 130 г. МОСКВА

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интеллигентного труда, братья и сестры по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских войск, временно поддавшие под игу немецких утихомирителей!

От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем 1 Мая!

Товарищи! Народы нашей страны встречают в этом году международный день 1 Мая в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война наложила свою печать на все стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний день, на праздник 1 Мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая военную обстановку, отказались от праздничного отдыха — для того, чтобы провести сегодняшний день в чрезвычайном труде на оборону нашей родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта, они превратили праздник 1 Мая в день труда и борьбы — для того, чтобы оказать фронту наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, пулеметов, орудий, минометов, танков, самолетов, боеприпасов, хлеба, мяса, рыбы, овощей.

Это означает, что фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь, готовый преодолеть любые трудности на пути к победе над врагом.

Товарищи! Более двух лет прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики ввергли Европу в пламя войны, покорили свободолюбивые страны континента Европы — Францию, Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, Югославию, Грецию, — и высасывают из них кровь ради обогащения немецких банкиров. Более десяти месяцев прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики подло и вероломно напали на нашу страну, грабят и опустошают наши села и города, насилуют и убивают мирное население Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии. Более десяти месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отечественную войну против жаждущего врага, отстаивая честь и свободу своей родины. За этот промежуток времени мы имели возможность достаточно хорошо приглядеться к немецким фашистам, понять их действительные намерения, узреть их действительное лицо, узреть не на основе словесных заявлений, а на основе опыта войны, на основе общеизвестных фактов.

Кто же они, наши враги, немецкие фашисты? Что это за люди? Чему учит нас на этот счет опыт войны?

Говорят, что немецкие фашисты являются националистами, оберегающими целость и независимость Германии от покушения со стороны других государств. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Греция, Советский Союз и другие свободолюбивые страны покупались на целость и независимость Германии. На самом деле немецкие фашисты являются не националистами, а империалистами, захватывающими чужие страны и высасывающими из них кровь для того, чтобы обогатить немецких банкиров и plutokratov. Геринг, глава немецких фашистов, сам является, как известно, одним из первых банкиров и plutokratov, эксплуатирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, Гебельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители нынешней Германии являются цепными собаками немецких банкиров, ставящими интересы последних превыше всех других интересов. Немецкая армия является в руках этих господ слепым оружием, призваным проливать свою и чужую кровь и жечь себя и других не ради интересов Германии, а ради обогащения немецких банкиров и plutokratов.

Так говорит опыт войны.

Говорят, что немецкие фашисты являются социалистами, старающимися защищать интересы рабочих и крестьян против plutokratov. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие рабский труд на заводах и фабриках и восстановившие крепостнические порядки в солах Германии и покоренных стран, являются защитниками рабочих и крестьян. Только обнаглевшие обманщики могут отрицать, что рабско-крепостнические порядки, установленные немецкими фашистами, выгодны немецким plutokratам и банкирам, а не рабочим и крестьянам. На самом деле немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками, а немецкая армия — армией крепостников, проливающей кровь ради обогащения немецких баронов и восстановления власти помещиков.

Так говорит опыт войны.

Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской культуры, ведущими войну за распространение этой культуры в других странах. Это, конечно, ложь. Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, лодырящие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности народов Европы, могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты являются врагами европейской культуры, а немецкая армия — армией средневекового мракобесия, призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой «культуры» немецких банкиров и баронов.

Так говорит опыт войны.

Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет опытом войны.

Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны показывает кроме того, что за период войны произошли серьезные изменения как в положении фашистской Германии и ее армии, так и в положении нашей страны и Красной Армии.

Что это за изменения?

Несомненно, прежде всего, что за этот период фашистская Германия и ее армия стали слабее, чем десять месяцев тому назад. Война принесла германскому народу большие разочарования, миллионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырье на исходе. В германском народе все более нарастает сознание необходимости поражения Германии. Для германского народа все яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение Германии от авантюристической клики Гитлера — Геринга.

Гитлеровский империализм занял южноевропейские территории Европы, но он не сломил воли европейских народов к сопротивлению. Борьба порабощенных народов против режима немецко-фашистских разбойников начинает приобретать всеобщий характер. Во всех оккупированных странах обычным явлением стали грабеж на военных заводах, взрывы немецких складов, крушения немецких военных эшелонов, убийства немецких солдат и офицеров. Вся Югославия и занятые немцами советские районы охвачены пожаром партизанской войны.

Все эти обстоятельства привели к ослаблению германского тыла, а значит и — к ослаблению фашистской Германии в целом.

Что касается немецкой армии, то, несмотря на ее упорство в обороне, она все же стала намного слабее, чем 10 месяцев назад. Ее старые, опытные генералы вроде Рейхенау, Браухича, Тодта и других либо убиты Красной Армией, либо разогнаны немецко-фашистской верхушкой. Ее кадровый офицерский состав частью истреблен Красной Армией, частью же разложился в результате грабежей и насилий над гражданским населением. Ее рядовой состав, серьезно ослабленный в ходе военных операций, получает все меньше пополнений.

Несомненно, во-вторых, что за истекший период войны наша страна стала сильнее, чем в начале войны. Не только друзья, но и враги вынуждены признать, что наша страна объединена и сплочена теперь вокруг своего Правительства больше, чем когда бы то ни было, что тыл и фронт нашей страны объединены в единый боевой лагерь, бьющий по одной цели, что советские люди в тылу дают нашему фронту все больше винтовок и пулеметов, минометов и орудий, танков и самолетов, продовольствия и боеприпасов.

Что касается международных связей нашей родины, то они скреплены и выросли в последнее время, как никогда. Против немецкого империализма объединились все свободолюбивые народы. Их взоры обращены к Советскому Союзу. Героическая борьба, которую ведут народы нашей страны за свою свободу, честь и независимость, вызывает восхищение всего прогрессивного человечества. Народы всех свободолюбивых стран смотрят на Советский Союз, как на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. Среди этих свободолюбивых стран первое место занимают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, с которыми мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают нашей стране все большую и большую военную помощь против немецко-фашистских захватчиков.

Все эти обстоятельства говорят о том, что наша страна стала намного сильнее.

Несомненно, наконец, что за истекший период Красная Армия стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Пользя считать случайностью тот общепрзвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением немецких империалистов, Красная Армия добилась перелома в ходе

войны и переплыла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска. Это факт, что благодаря успехам Красной Армии отечественная война выступила в новый период,— период освобождения советских земель от гитлеровской нечисти. Правда, к выполнению этой исторической задачи Красная Армия приступила в трудных условиях суровой и многоснежной зимы, но, тем не менее, она добилась больших успехов. Захватив инициативу военных действий в свои руки, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам ряд жестоких поражений и вынудила их очистить значительную часть советской территории. Расчеты захватчиков использовать зиму для передышки и закрепления за своей оборонительной линией потерпели крах. В ходе наступления Красная Армия уничтожила огромное количество живой силы и техники врага, забрала у врага не малое количество техники и заставила его преждевременно израсходовать резервы из глубокого тыла, предназначенные для весенне-летних операций.

Все это говорит о том, что Красная Армия стала организованнее и сильнее, ее офицерские кадры закалились в боях, а ее генералы стали опытнее и проориентнее.

Произошел перелом также в рядовом составе Красной Армии.

Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы отечественной войны. Зверства, грабежи и насилия, чинимые немецко-фашистскими захватчиками над мирным населением и советскими военнопленными, излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя побороть врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души.

Не стало больше болтовни о неспособности немецких войск, которая имела место в начале войны и за которой скрывался страх перед немцами. Знаменитые бои под Ростовом и Керчью, под Москвой и Калинином, под Тихвиным и Ленинградом, когда Красная Армия обратила в бегство немецко-фашистских захватчиков, убедили наших бойцов, что болтовня о неспособности немецких войск является сказкой, сочиненной фашистскими пропагандистами. Опыт войны убедил нашего бойца, что так называемая храбрость немецкого офицера является венцом весьма относительной, что немецкий офицер проявляет храбрость, когда он имеет дело с безоружными военнопленными и с мирным гражданским населением, но его покидает храбрость, когда он оказывается перед лицом организованной стены Красной Армии. Принимите пародную поговорку: «молодец против ювец, а против молодца — сам ювец».

Таковы выводы из опыта войны с немецко-фашистскими захватчиками.

О чём они говорят?

Они говорят о том, что мы можем и должны бить и вредить немецко-фашистским захватчикам до полного их истребления, до полного освобождения советской земли от гитлеровских мерзалиев.

Товарищи! Мы ведем войну отечественную, освободительную, справедливую. У нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, покорить чужие народы. Наша цель ясна и благородна. Мы хотим освободить нашу советскую землю от немецко-фашистских мерзалиев. Мы хотим освободить наших братьев украинцев, молдаван, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, жарелов от того лозора и унижения, которым подвергают их немецко-фашистские мерзалии. Для осуществления этой цели мы должны разбить немецко-фашистскую армию

и истребить немецких оккупантов до последнего человека, поскольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет.

Мы это можем сделать и мы это должны сделать во что бы то ни стало.

У Красной Армии есть все необходимое для того, чтобы осуществить эту возвышенную цель. Нехватает только одного — умения полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина. Поэтому задача Красной Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее артиллеристов, ее минометчиков, ее танкистов, ее летчиков и кавалеристов — состоит в том, чтобы учиться военному делу, учиться настойчиво, изучить в совершенстве свое оружие, стать мастерами своего дела и научиться, таким образом, бить врага наверняка. Только так можно научиться искусству побеждать врага.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!

Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая, призываю:

1. Рядовым бойцам — изучить винтовку в совершенстве, стать мастерами своего оружия, бить врага без промаха, как бьют их наши славные снайперы, истребители немецких оккупантов!

2. Пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, танкистам, летчикам — изучить свое оружие в совершенстве, стать мастерами своего дела, бить в упор фашистско-немецких захватчиков до полного их истребления!

3. Общевойсковым командирам — изучить в совершенстве дело взаимодействия родов войск, стать мастерами дела вождения войск, показать всему миру, что Красная Армия способна выполнить свою великую освободительную миссию!

4. Всей Красной Армии — добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от пытлеровских мерзавцев!

5. Партизанам и партизанкам — усилить партизанскую войну в тыгу немецких захватчиков, разрушать средства связи и транспорта врага, уничтожать штабы и технику врага, не жалеть патронов против угнетателей нашей родины!

Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперед к победе!

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — БАСТИОН СВОБОДЫ

Великая отечественная война, которую с таким мужеством ведут народы Советского Союза во имя свободы и независимости, не только с каждым днем ослабляет и подрывает военную мощь агрессора, но и пробуждает в порабощенных народах национальное самосознание, выражющееся в активном сопротивлении захватчикам. Героическая борьба советских войск объединила всех людей, все народы, стремящиеся к свободе.

Одна американская газета писала о том, что до вероломного нападения Гитлера на Советский Союз «страх перед фашизмом пересиливал ненависть к нему, но с тех пор, как силы Гитлера столкнулись с силами Красной Армии, страх уступил место ненависти...»

В самом деле, если мы окнешем взглядом те народы, которые порабощены Гитлером, и те, которым трогает порабощение, то мы убедимся, что это так. Повседневная упорная борьба советского народа и советских войск учит их, что фашизм — хотя и чудовище, но такое, с которым вполне можно справиться. И вот уже во всех порабощенных странах начинает вздымататься мощная волна саботажа и сопротивления. Монолитный советский народ, сплотившийся вокруг своего правительства и доблестной Красной Армии, вызывает у антифашистов всех стран живую симпатию и беспредельный восторг.

И если до гитлеровской агрессии Советский Союз служил рабочим и крестьянам всего мира факелом, освещавшим их путь борьбы за социальную справедливость, то теперь он служит примером и самой надежной точкой опоры для всех, кому дорога свобода и демократия, всех, кто стал на защиту своей родины.

Помощь Англии и Соединенных Штатов Америки — союзников СССР — как нельзя лучше выражает отношение к нему всего человечества, которое видит в нем и в его героических вооруженных силах авангард борьбы за независимость народов и несокрушимый бастion свободы.

История возложила на советский народ и его доблестные войска необычайно трудную миссию, требующую больших усилий и жертв, но эта миссия будет им выполнена с честью.

Взоры народов всего мира прикованы к Советскому Союзу. Там, за рубежом, миллионы мужчин и женщин думают о нем и следят за ним с тем же напряженным вниманием, как и в славные дни октября 1917 года и в тяжелые годы гражданской войны.

И теперь, как и тогда, их взгляд выражает твердую, спокойную уверенность в победе СССР — победе над гитлеровской сволочью.

Мир знает, что советские люди прошли суровую школу борьбы и лишений, что они сделаны из какой-то особой стали.

Мир знает, что советские люди своими руками построили новое общество. И мир знает также, что советские люди не отдастут своих завоеваний, ради которых они жертвовали жизнью, ради которых они проливали кровь и с которыми связали их лучшие надежды.

Мы знаем паверника, каких бы усилий ни потребовалось для того, чтобы раздавить фашизм, — мы на иту не уменьшится боевой пыл советских бойцов, их любовь к родине, их гордость за нее, гордость граждан свободной страны. Мы убеждены, что их боевой пыл, их смертельная ненависть к захватчикам будет расти и расти до тех пор, пока они не сметут со священной советской земли всю гитлеровскую орду до последнего пса. В предвидении тех битв, которые развернулись теперь на советской земле, Максим Горький указывал, что в бою против армии обманутых рабов, защитников бесчеловечного строя, поднимется армия, в которой каждый боец сознает себя защитником своей свободы и своего права быть полновластным хозяином своей страны.

Отважные бойцы Красной Армии — таланты, совершающие чудеса храбрости, славные соколы советской авиации, охраняющие и защищающие наше советское небо, самоотверженные моряки, зоркие стражи шашких морей и борегов — знают, за что они борются.

И весь мир полон веры в то, что их геройские условия увличают победу и что от фашистского строя не остается камня на камне.

Перевод с испанского Н. ЛЮБИМОВА

ПЕРЕЦ МАРКИШ
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПЕСНЯ

Не грусти, береза, на степном кургане,
Не спускаться долу горному орлу,—
Грозным ураганом на врага мы грянем
Саблями точеными ствоздь ночную мглу.

Стелются туманы над безбрежным полем,
Туча заслоняет зорюшку-звезду;
Поклонились хатам мы, нивам и раздолья
И простились с милыми взглядом на ходу.

Ржанчичной покрыты жаски на могилах,
И хранят о битвах память большаки;
Мы о черепа пемецкие точили
Наша боевые беспощадные штыки.

Веся, знамя алое, победное и краше,
Боевая песня, лейся горячей,
На спящемый подвиг мать-отчизна наша
Првожает в битву верных сыновей.

Не спасут шакалов ли броня, ни ДОТы,
Несам не миновать советского штыка;
Двигается лавиной красная пехота,
Небо замутилось, жарко облакам!

Города и села темной ночью мглистой
Ворог предает разбою и огню,
Но преград не знают грозные танкисты
В яростных боях за родину свою.

Из склоном тор, из в облаках высоко
Не найдет спасенья черный мракобес,—
Борзуга немецкого краснокрылый сокол
Протаранит смело, сливя его с небес.

Присягая жизнью за родину бороться,
Бить и сокрушать падменного врага,
Ходят по морям бесстрашно краснофлотцы,
Берегут любимые родные берега.

На прицеле глаз, и руки на затворе—
Будь спокойна, родина, родная сторона.
По полю гвардейцы гонят вражьи своры,
Будь спокойна, родина, Советская страна!

Славою в вехах премит нарком паш, Сталин!
Ты, народов братских гордая глава,
Натиск вражьих мальчищ гордо отстояла
Наша неизвестная, державная Москва.

ПАВЕЛ ШУБИН

НАША ПРАВДА

Тридцатилетию «Правды»

Знакомой газеты страшны.
Они, пропутав по стране,
Как теплые, белые птицы,
Спускаются в руки ко мне.
Пусть небо, средь грохота злого,
Разбито волною взрывной,
Но слово,
Партийное слово,
Как верная дружба, со мной!
И все, что в суровые сро...
Влекло и вело, как призыв,
Назвали газетные строчки,
Мечты мои вслух повторив.
Они мне родного роднее,
Как будто приказано им
Наполниться жизнью мюю,
Любовью и гневом моим.
И смысл обретают отточья,
И мгла переходит в зарю,
Когда я со Сталитным почью
Один-на-один говорю.
И словно сияющим светом
Омает всю душу мою,
И гибель во имя победы
Прекрасна, как песня, в бою.
Я вижу, мимуя преграды,
Звездой путеводной вдали
Цвет Большевистская Правда —

Крылатая Совесть Земли.
И чем ее враг остановит? —
Не страшен ей смертный свинец,
Последнюю каплею крови
Она — в миллионах сердец.
Из мрака подполья, из ссылок,
Из каторжной горькой тоски
Под солнце она выносила
Грядущей свободы ростки.
И знал приискатель на Лене,
И слышал якут в Бухтарме,
Что пишет,
Как думает Ленин
О воле народной в тюрьме.
Бессмертье, гремевшее в «Правде»
С широких упрямых полос,
Октябрьской грозой в Петрограде
Сказалось и отзывалось!
И ныне оно, торжествуя
Над гибелю вражеских рот,
В апрельскую ночь штурмовую
С бойцами бок о бок идет.
Чтоб снова, и снова, и снова,
Грозней, чем разящий металл,
Огонь большевистского слова
Над дымкой землей пролетал!

Ленинградский фронт

ВЕРА ИНБЕР

НА ПОРОГЕ — МАЙ

Уже по влажному асфальту шины
Свой первый отпечатывают след.
Окрашены весенние машины
Уже не в белый, а в зеленый цвет.
Забытый возрождается трамвай.
Идет уборка. На пороге — май.

Большое государственное дело:
Родимый город должен быть здоров.
И на очистку улиц и дворов
Выходят все. Лопата заблестела.
Педаром же она во льду, в снегу
Была в те дни привинена к штыку.
У девушки рассыпалась коса,
Ей стало жарко. Из-под зимней шапки
Под снежниками — синие глаза.

Ей в руки бы лесных цветов охапки,
Но даже в этом ватнике — она
Все та же воплощенная весна.

Чтоб солнце притревало горячо,
Чтоб лед не залежался перед домом,
Она его щробит блестящим ломом, —
Нелегким, от него болит плечо.
Зато какой сияющий поток
Благодаря ему легко потек!

В нем отразилось золото заката
И в синеве патрульный самолет,
И эхо орудийного раскаты,
И трудности, и мужество полет.
В нем было все. Как в зеркале ясна,
Вставала ленинградская весна.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

РУССКИЕ ЛЮДИ

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ИВАН НИКИТИЧ САФОНОВ, 32 лет,— командир автобата.
МАРФА ПЕТРОВНА, 55 лет,— его мать.
ВАЛЯ АНОЩЕНКО, 19 лет,— шофер.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИН, 62 лет.
ИВАН ИВАНОВИЧ ГЛОБА, 45 лет,— военфельдшер.
ПАНИН — корреспондент центральной газеты.
ИЛЬИН, 25 лет,— политрук.
ШУРА, 27 лет,— машинистка.
ХАРИТОНОВ, 60 лет,— врач-венеролог.
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 55 лет,— его жена.
КОЗЛОВСКИЙ — он же ВАСИЛЕНКО — 30 лет.
МОРОЗОВ,
ГАВРИЛОВ.
ЛЕЙТЕНАНТ.
СТАРИК.
ЛУКОНИН, 32 лет,— генерал-майор.
СЕМЕНОВ.
РОЗЕНБЕРГ.
ВЕРНЕР.
КРАУЗЕ.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
РАНЕНЫЙ.

Командиры, красноармейцы, немецкие солдаты.

Место действия — Южный фронт.

Время действия — осень 1941 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Комната с большой русской печкой, с иконами в углу. Рядом с ними пришпилены большая фотография Сафонова в кепке и шоферских рукавицах.

На сцене вчера. Марфа Петровна сидит за картами. Против нее Мария Николаевна в пальто.

МАРФА ПЕТРОВНА (отрываясь от карт). А то, может, раздепешься?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Нет, нет, я не надолго.

МАРФА ПЕТРОВНА. А помнишь, Маруся, как мы на женихов с тобой гадали, а? Это в самом году-то было? Дай бог памяти. Это было в году... в тысячу девятьсот восемьсот году это было. Думали все, какие они являются? Ах, хорошие, наверно. И вот оказалось все напротив. Мой и пожить со мной не успел — помер. А твой — ты извини — какой гадюкой оказался.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Марфа Петровна...

МАРФА ПЕТРОВНА. Ты уж извини, — гадюка. Говорю, что думало.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Ну, а что же ему было делать? Что же ему было делать? Пришли, сели в доме жить. А потом городским головой назначили. Он не хотел.

МАРФА ПЕТРОВНА. Верю, что не хотел, но у него главная мысль не об этом. Ему все равно, кому быть. Его главная мысль, чтобы живым оставаться. Раз спускался, два спускался, три спускался, а дальше до подлюсти дошел. Ты мне не говори, я это тоже знаю. (Наклоняется паджартами.) И выходят тебе, Маруся, изящный дом. А дальше доропы тебе не выходят. Как тут скажи, так и помрешь, дура дурой. Вот сын твой придет с войной, он вас отблагодарит. Скажет: спасибо вам, родители, за то, что фамилию мою опоганили, отмыть нечем. Вот, что он вам скажет.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Если бы только жив был... Я от него из Тирасполя последнее письмо получила.

Стук в дверь.

МАРФА ПЕТРОВНА (идет к двери). Кто там?

ГОЛОС. Быстрой.

Марфа Петровна открывает крючок. Входят немецкий фельдфебель, солдат и Козловский. Козловский в пальто, в полу военной фуражке, с плюснейской повязкой на руславе.

КОЗЛОВСКИЙ. Сюда женщина входила? (Замечает сидящую за столом Марию Николаевну, подходит, быстро поворачивает ее за плечи.) Простите. Как вы сюда попали?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Подруга детства. Здравствуйте.

КОЗЛОВСКИЙ. Здравствуйте... (Смотрит на карты.) Ах, таданье... тройка, семерка, туз... Давно вы здесь?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Даюю.

КОЗЛОВСКИЙ (поворачивается к фельдфебелю). В следующий дом. Тут нет. (Выходит.)

Марфа Петровна, заперев дверь на крючок, брезгливо вытирает руку о висящее у двери полотенце.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Козловский. Знаете, как первый день знакомились с ним, милый был человек. Каких-то родственников своих здесь вступал; дядю пятнадцать лет не видел, говорил. Сидел, чай пил... А сейчас просто страшен. Дергается весь.

МАРФА ПЕТРОВНА. Погоди, погоди, и твой тоже дергаться будет. Люди, когда до окончательной подлюсти доходят, так сразу дергаться начинают. Эх, ты! Взяла бы в пакетик платушки связала, с чем пришла тридцать годов.

пазал, да и ушла бы от него. А немцам порошку бы на прощанье всыпала. Да где уж там... А ведь хорошая ты девка была, красивая, веселая. Где все, сказки, пожалуйста?..

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Я пойду. Поздно уже. Но только не думайте так плохо... .

МАРФА ПЕТРОВНА. Иди уж! Тошно будет — заходи. Сперва поворчу, потом пожалею. Тебя, конечно. А твоего мне не жалко. Тыфу! Ну его ж чорту. (Привожает гостью, закрывает дверь на крючок, прислушивается. Потом громко, повернувшись к печке, говорит.) Ну.

С печки легко соскакивает Валя в куртке и мужских сапогах.

МАРФА ПЕТРОВНА. Ну вот, и проехали гости. Сердце-то колотилось, не бось?

ВАЛЯ. Ага.

МАРФА ПЕТРОВНА. Все ж таки страшно!

ВАЛЯ. Ага.

МАРФА ПЕТРОВНА. Эх ты, разведчица! Чай-то хочешь?

ВАЛЯ. Ага.

МАРФА ПЕТРОВНА. Что ты мне все «ага» да «ага», как басурманка. Ты скажи: «Спасибо, тетенька, премного благодарна, налейте мне чай».

ВАЛЯ. Спасибо, тетенька, налейте чай.

МАРФА ПЕТРОВНА. Вот то-то.

Далекие выстрелы.

Опять стреляют. (На узах.) Скажи-ка, девушка, а вот ко мне тут мужчина от вас явилсяся, про сына говорил, привет передавал. Ну, это, конечно, прочих дел не считая. Где тот мужчина, цел или нет?

ВАЛЯ. Его вчера в бою убили. Потому меня и послали, что он не мог.

МАРФА ПЕТРОВНА. Да, видный был человек. А ты, что, девушка, через лиман всплынь, что ли?

ВАЛЯ. Всплы. (На узах.) Когда он придет, а?

МАРФА ПЕТРОВНА. Придет в свое время. Сейчас на улицах все патрули ихние топают. Вот оттапают, пойдут свой кофей пить, вот он и придет как раз. Человек он такой, аккуратист.

ВАЛЯ. Как его звали-то?

МАРФА ПЕТРОВНА. Как раньше звали, не помню, а теперь Василием зовут. Теперь всех у нас так зовут: кого Василием, кого Иваном...

ВАЛЯ. Я ведь тут раньше шофером у председателя горсовета работала, так что я многих знала.

МАРФА ПЕТРОВНА. Шофером? Ну, тогда, может, и знаешь. Он, говорят, до немцев известный человек был в городе.

ВАЛЯ. Кто он?

МАРФА ПЕТРОВНА. Да Василий.

За окном близкий выстрел.

Вон, опять бьют. А ты говоришь, почему не идет. Придет в свое время. Ты лучше чайку попей.

ВАЛЯ. Ой, дайте.

МАРФА ПЕТРОВНА (наливает чай). Ишь какая. Пришла, целый кувшин воды сразу, а теперь чаю.

ВАЛЯ. Да ведь нет у нас там воды. Водокачку взорвали. Стакан на день, хоть из лимана соленый пей!

МАРФА ПЕТРОВНА. Да... времена. (Пауза.) Ну, а сын-то, живой, что ли? Все командует у вас там?

ВАЛЯ. Командует. Он вам передавал поклон тихий. (Замечает карточку на стене.) А это что, он?

МАРФА ПЕТРОВНА. Он. Да ты на карточку не гляди. Он не так, чтобы интересный из себя, но зато орел-шарень.

ВАЛЯ. Его у нас любят все.

МАРФА ПЕТРОВНА. Это у него с издевства. Он отродясь заводилой был.

ВАЛЯ. И маленький когда был, тоже?

МАРФА ПЕТРОВНА. Ох, же приведи господи. Только же мне из ходили с жалостями на него. Ну, а я говорю: лови. Поймаешь — уши надеру, а не поймаешь, — запамят ушел, его счастье. (Задумчиво.) А ты что это интересуешься, девушка?

ВАЛЯ. Так просто.

МАРФА ПЕТРОВНА. А-а. А то я подумала, вы...

ВАЛЯ. Что подумали?

МАРФА ПЕТРОВНА. Может, любовь у вас...

ВАЛЯ. Нет. Он только шутить любит. У меня, говорит, мэй шофер вместо невесты. Меня невестой объявили. Все невеста, да невеста.

МАРФА ПЕТРОВНА. Невеста? Да разве это звалие сейчас есть?

ВАЛЯ. А вы что, против него?

МАРФА ПЕТРОВНА. Я не против, а только не время сейчас в невестах-то сидеть. Сегодня невеста, а завтра вдова. Так женой и не будешь.

ВАЛЯ. Так «невеста» — это же он в шутку.

МАРФА ПЕТРОВНА. Ну, если в шутку. (Пауза.) Сейчас жизнь такая, мало в неё шуток. Ты хоть глазом-то глянула, когда немцы были?

ВАЛЯ. Нет, я только голоса слышала. Я шевелясь боялась.

МАРФА ПЕТРОВНА. По-русски говорил — это с ними Козловский был. Недешевый человек и подлый. Они его из Николаева привезли. А это, я считаю, хорошая примета, что привезли, потому что, значит, подлецов им в каждом городе не хватает. Одних и тех же из города в город возить приходится. (Прислушивается, потом смотрит на стенные часы — ходили.) Ну, вот, теперь они кофий пьют. Это ежели уж напрягут теперь, то, значит, бог попустил. (Не сходя с места, говорит.) Василий? (Молчание.) А, Василий? (Валя невольно смотрит на дверь.) Василий? (Из-за запавески, в дверях соседней комнаты, потягиваясь, показывается бородатый мужчина.)

МОРОЗОВ. Ой, Марфа Петровна, и вздрогнул я крепко.

МАРФА ПЕТРОВНА. Даже немцы не побудили?

МОРОЗОВ. Нет, на немцев у меня свое чутые, а как вы с девушкой журчать стали, так я опять заснул, — думаю, пускай поговорят. (Жмуриясь от света, садится.) Ох, и темно же у тебя в подполье.

ВАЛЯ (внимательно рассматривается в него и вдруг всплескивает руками). Сергей Иваныч!

МОРОЗОВ. Я вам, товарищ водитель, не Сергей Иваныч, а Василий. Ясно?

ВАЛЯ. Ясно.

МОРОЗОВ. И я вам, товарищ водитель, не Морозов, а тоже Василий Ясно?

ВАЛЯ. Ясно.

МОРОЗОВ. И я вам, товарищ водитель, не председатель горсовета, а опять-таки Василий. Тоже ясно?

ВАЛЯ. Тоже ясно.

МОРОЗОВ (шутливо). Ну, а раз все ясно, то где же машина? Опять наверно не в порядке? Опять что-нибудь там? Рессора лопнула, да? Или как?

ВАЛЯ. Все вы шутите, Сер... Все вы шутите.

МОРОЗОВ. Да. Все мы теперь шутим. Шутим, товарищ водитель.

ВАЛЯ. Мы, значит, вас-то и ждали?

МОРОЗОВ. Выходит, что нас. Ну, давай пыдульку-то. (Валя достает из-за пазухи маленькую бумажку.) Ну, а если бы немцы?..

ВАЛЯ. Проглотила бы.

МОРОЗОВ. Ну ладно, коли так. (Читает бумажку.) Да уж придется вам, товарищ водитель, тут суючки постидеть. Тут мне такое возвращение прислали. Это не просто гранату в комендатуру кинуть. Это размышилений требует. Ну, что там слышно у вас в обороне вашей?

ВАЛЯ. От лимана до поселка — наши. На Заречной — наши. И потом кругом по Рязанской и до лимана обратно, а кругом немцы.

МОРОЗОВ. Ясно, немцы. Они на тридцать верст туда ушли уж. Вот, как говорят, не чаяли, не гадали, в тылу немецкому оказались. Ну, что ж, война. Бывает. У вас-то хоть в полгороде, за лиманом, советская власть, а у нас — немецкая.

В дверь кто-то тихо скребется. Морозов вытаскивает револьвер. Марфа Петровна показывает, чтобы они уходили. Валя залезает на печку. Морозов уходит за занавеску. Марфа Петровна подходит к двери.

МАРФА ПЕТРОВНА. Кто там?

В дверь опять скребутся. Марфа Петровна открывает дверь внутрь, и через порог падает на пол комнаты окровавленный человек в штатском, видимо, сидевший, прислонясь к двери. Марфа Петровна молча встаскивает его и, закрыв дверь на крючок, становится около него на коленки. Ты кто есть?

ЧЕЛОВЕК (слабым голосом). А тут кто?

МАРФА ПЕТРОВНА. Мы, свои.

ЧЕЛОВЕК. Волки...

МАРФА ПЕТРОВНА. Девушка!

Валя слезает с печки.

Подай воды. Подымет его.

ЧЕЛОВЕК (услышав, качает головой). Не надо. Тут есть кто. Мне сказать надо... Я помру сейчас.

МАРФА ПЕТРОВНА (оставляет Валю с ним). Пой, пой его, девушки. (Идет за занавеску и говорит негромко.) Василий!

ЧЕЛОВЕК. Это что, это свои?

ВАЛЯ. Свои, свои...

Входит Морозов.

ЧЕЛОВЕК. Я из окружения шел... Они... меня увидели и вот... А документы взяли они... моя фамилия... Водицы...

ВАЛЯ (даёт ему еще воды). Ну, фамилия?

ЧЕЛОВЕК. Моя фамилия... Ой, водицы...

Ему дают еще воды. Человек, вздрогнув, затихает. Валя опускает его голову. Смотрит на его пиджак, у которого выворочены карманы и распороты рукава.

ВАЛЯ. Ой, как разорвали все. Искали.

МОРОЗОВ (поднимается, стоит — руки по-швам). Ну, что ж, прощай, неизвестный товарищ. (Молчание.) Следы крови, небось, на улице остались. Утром прятки могут. Оденься-ка, мать, да на улицу с метелкой. Посмотри, как оно там? (Неожиданно стирает слезу рукавом.) Вот, кажется, и привык, а жалко людей. (Смотрит на Валю.) А ты что ж, водитель, не плачешь?

ВАЛЯ. Не могу. Я уже все видела, Сергей Иваныч, что и тю думала никогда видеть — видела. Не могу плакать. Слезы все.

Конец картины

Картина вторая

Штаб Сафонова. Рассвет. Прокуренная комната какого-то железнодорожного помещения. Несколько дверей. Сафонов, Ильин. За машинкой — Шура.

САФОНОВ. Одиннадцатый день. И Крохалева позавчера убили. Или нет, когда? Ты у меня какой день за комиссара? А, Ильин?

ИЛЬИН. Два дня. Нет, три.

САФОНОВ. Три? Дни через эту бессонницу мешаются. Ты вызвал этого... Васина?

ИЛЬИН. Вызвал.

САФОНОВ. Хороший старик, говорят?

ИЛЬИН. Говорят.

САФОНОВ. Он у меня начальником штаба будет, если хороший. А звание я ему восстановлю до слухаю нашей полной осады. Да, Ильин, мало людей остается.

ИЛЬИН. Валя второй день нет. Неужели ее племцы взяли?

САФОНОВ. Не хочу я этого слышать. (Пауза.) Нет, ты мне скажи, почему мужики такие сволочи? Девка вызывается в разведку штаба, а вы молчите.

ИЛЬИН. Женщине легче. Я могу пойти, если надо. Только толку не будет.

САФОНОВ. Это верно. А писателя вызвал?

ИЛЬИН. Вызвал.

САФОНОВ. Я его хочу начальником особого отдела.

ИЛЬИН. А разве Петров совсем?

САФОНОВ. Что, совсем? Умер. Вот тебе и совсем. Шура его вылечить обещала; а не вылечила, совсема.

ШУРА. Я около шестнадцать часов сидела. Я ему голову держала. У меня руки болят, я печатать не могу. Вот видите, как дрожат, а вы говорите...

САФОНОВ. Это все история. Это мы потом тебе благодарность вынесем, а теперь — не выпечата, сорвала, вот что я сейчас знаю.

Открывается дверь. Входит Васин, очень высокий, сутуловатый, с бородой. В штатском пальто, подпоясан ремнем. На плече винтовка, которую он люсит неожиданно ловко, привычно.

ВАСИН. По вашему приказанию явился.

САФОНОВ. Здравствуйте, садитесь.

ВАСИН. Здравия желаю.

САФОНОВ. Вы в техникуме военное дело преподаете?

ВАСИН. Преподавал. Сейчас, как вам известно, у нас отряд.

САФОНОВ. Известно. Сколько потеряли студентов своих?

ВАСИН. Шесть.

САФОНОВ. Да... Садитесь, пожалуйста. Курить хотите?

ВАСИН (берет напрокоску). Благодарю.

Зажигает спичку, дает прикурить Сафонову. Прикуривать тянутся Ильин. Васин неожиданно тушит спичку. Ильин удивленно смотрит на него. Васин чиркает другую спичку.

Простите. Старая привычка: третий не прикуривает.

САФОНОВ. Блажь. Примета.

ВАСИН. Не совсем. Это, видите ли, с бурской кампанией повелось. Буры стрелки весьма меткие. Первый прикуривает — бур ружье взял, второй прикуривает — прицелился, а третий прикуривает — выстрелил. Так что, вот откуда примета. Почву имеет.

САФОНОВ. Вы, я слышал, в русско-японской участвовали?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. И в германской?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. А в гражданской?

ВАСИН. В запасных полках, по причине инвалидности.

САФОНОВ. А в германскую войну, я слышал, вы шатранды имели?

ВАСИН. Так точно. Три «георгия».

САФОНОВ. Целых три? А чем доказать можете?

ВАСИН. В дальнее время не могу, так как с собой не пошу, а доказать могу тем, что храню.

САФОНОВ. Храните?

ВАСИН. Так точно, храню.

САФОНОВ. «Георгия» — это ведь за храбрость давали?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ (после паузы). Вас Александр Васильевич зовут?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. Так вот, Александр Васильевич. Хочу я вас к себе в начальники штаба взять. Как вы считаете, а?

ВАСИН. Как прикажете.

САФОНОВ. Да что ж, прикажу. Как здоровье-то ваше? Можете?

ВАСИН. Полагаю, что могу.

САФОНОВ. Город хорошо знаете?

ВАСИН. Здешний уроженец. Родился здесь в тысяча восемьсот семьдесят девятом году.

САФОНОВ (мысленно считая). Однако старый вы уже человек.

ВАСИН. Совершенно верно.

САФОНОВ. А вот опять возвращать приходится.

ВАСИН (ложимая плечами). Разрешите приступить к исполнению обязанностей. Вы приказом отдали?

САФОНОВ. Отдам. (К Шуре.) Нечтатай: «Ириказ № 4 по гарнизону. Начальником штаба обороны города назначаю...» (К Васину.) Ваше как звание-то? (Прислушивается. Прерывает. Слышатся далекие гулевые очереди.) Это на лимане, по-моему, а? (Прислушивается.)

ВАСИН (прислушиваясь). Так точно, на лимане у левого брода.

САФОНОВ (Ильину). Иди, свяжись с Заречной. (К Шуре.) Опа где туда переходила?

Ильин выходит.

ШУРА. У брода.

САФОНОВ. Ведь все тихо было, а?

ШУРА. Тогда тихо.

САФОНОВ. Да. (В задумчивости ходит. Васин ждет.)

ВАСИН. Вы спросили...

САФОНОВ (спохватившись). Я говорю, вы какое звание в старой армии имели?

ВАСИН. Штабс-капитан.

САФОНОВ. Ну, штабс — этого теперь нету. Значит, капитан. А из Красной Армии с каким званием в запас уволены?

ВАСИН. В тысяча девятьсот двадцать девятом году, по инвалидности, в должности комбата.

САФОНОВ. Ну, комбата теперь тоже нет. Знали, майор. (К Шуре.) Знают, пинки: «...назначаю майора Васина А. В. (Пауз.) У меня пинки для вас нет. У меня тут только шинель комиссара моего осталась, так вы ее возьмите и носите.

ВАСИН. Разрешите заметить, что это будет незаконно.

САФОНОВ. Знаю, что незаконно. А что же мне прикажете, чтобы у меня начальник штаба звот так, в лапсердаче, ходил? Я вам должен звание присвоить, хотя и права не имею. Коли до наших додоржимся, — так и быть, простят они это вам с вами. Что, еще возражать будете?

ВАСИН. Нет. Разрешите приступить к исполнению обязанностей.

САФОНОВ. Пристуйайте. Пойдем в ту комнату. Я тебе, Александр Васильевич, карту покажу. Только погоди. На дворе-то с утра холодно? Я еще не выходит.

ВАСИН. Так точно, холодно.

САФОНОВ. Шура! У тебя там где-то бутылка стояла, а? (Паливает в жестяные кружки.) Водку-то пьете?

Васин молча выпивает.

Как вижу, лишних слов не любишь?

ВАСИН. Точно так, не люблю.

САФОНОВ (вздыхая). А я вот, есть трех, люблю. Ну, это пичего, это пройдет. Ты мне напоминай, в случае чего. Будешь?

ВАСИН. Так точно. Буду.

Выходят. Шура, бросив машинку, прислушивается. Когда она не стучит, стрельба за окнами слышнее. Входит Панин в накинутой на плечи шинели с одной пушкой. По-штатскому кланяется Шуре, стыдяст и кладет мешающую ему фуражку.

ПАНИН. Здравствуйте, Шурочка.

ШУРА. Здравствуйте.

ПАНИН. Как ложиваете, Шурочка?

ШУРА. Хорошо. (Возвращается к тетради.) Я прочла, товарищ Панин. Мы вчера вечером сидели с Валечкой и плакали. Это вы сами написали?

ПАНИН. Нет, я стихов не пишу. Это мой товарищ написал. Мы с ним вместе на Западный фронт ездили.

ШУРА. А где он сейчас, здесь?

ПАНИН. Нет, его убили.

ШУРА. Неправда.

ПАНИН. Я тоже, Шурочка, спачала думал — неправда, а потом, оказалось, — правда.

ШУРА. Мы позавчера почью сидели. Печку зажгли. Капитан на полчаса спать лег, а мы с Валечкой все читали и плакали. А потом Валечка собралась — и туда, в разведку пошла. А капитан открыл глаза и меня спрашивает: «Вы чего тут с пей читали?» И я ему опять прочла все. А он грустный лежал. «Хорошо», — говорит. Расстроился даже.

ПАНИН. Капитан?

ШУРА. Ну, да, капитан. А чего вы удивляетесь?

ПАНИН (ложимая плечами). Так...

ШУРА. Он еще оттого расстроился...

САФОНОВ (входит). А, писатель! Здорово.

ПАНИН. Привет.

САФОНОВ. Шура! Выдь-ка на минутку.

Шура выходит. Тихо.

Тут у нас теперь, писатель, дело такое. Сил нету больше. Мало сил. Ты себя к этой мысли приучил, что помирать, может, тут придется, вот в этом городе, а не дома? И вот сегодня-завтра, а не через пять лет. Приучил?

ПАНИН. Приучил.

САФОНОВ. Это хорошо. Жена у тебя где?

ПАНИН. Не знаю. Наверно, где-нибудь в Сибири.

САФОНОВ. Да. Она в Сибири, а ты вот тут. «В злодневный жар в долине Далестана...» В общем, ей и не спится, какой у нас тут с тобой переплет выйдет. Положение такое, что мне теперь писателей тут не надо. Так что, твоя старая профессия отпадает. (Пауз.) Член партии?

ПАНИН. Кандидат.

САФОНОВ. Ну, все равно. Петров почью умер сегодня. Будешь начальником особого отдела у меня.

ПАНИН. Да... но...

САФОНОВ. Да — это правильно, а то — это уже излишнее. Мне, кроме тебя, некого. А ты — человек с образованием, тебе легче незнакомым делом заниматься. Но чтобы никакой этой мягкости. Ты забудь, что ты писатель.

ПАНИН. Я же писатель. Я журналист.

САФОНОВ. Ну, журналист, — все равно, забудь.

ПАНИН. Я уже забыл.

Открывается дверь и входит Валя. Она вся мокрая, в распахнутом пальто, в платке, сбившемся назад с головы.

ВАЛЯ. Товарищ капитан...

САФОНОВ. Будь ты неладная. (Бросается к ней, неловко цепляет в щеку, отпускает.) Что же ты людей с ума сводишь, а?

ВАЛЯ. Я все сделала, товарищ капитан.

САФОНОВ. Ну, и хорошо. Но ты что думаешь, нам только это и важно? А что ты есть — живая или мертвая, — нам это тоже важно, может быть. Понятно? В кого из пулемета стреляли? В тебя?

ВАЛЯ. Ага.

САФОНОВ. Да ты же обмерзла вся. Шура! (Кричит.) Шура!

ВАЛЯ. Товарищ капитан, разрешите доложить...

САФОНОВ. Никаких доложить. Сушись иди.

ВАЛЯ. Никуда я не пойду, прежде чем не доложу. Понятно?

САФОНОВ. Говорю тебе, иди сушись, потом... (Останавливается под ее взглядом.)

ВАЛЯ. Понятно?

САФОНОВ. Понятно, понятно. Ну, давай скорей. (Слушает ее нетерпеливо, стоя у стола и постукивая пальцами.) Была?

ВАЛЯ. Была.

САФОНОВ. Передала?

ВАЛЯ. Передала.

САФОНОВ. Пакет где?

ВАЛЯ. Вот.

САФОНОВ. Иди сушись.

ВАЛЯ. Нет, еще не все.

САФОНОВ. Ну?

ВАЛЯ. Морозов велел передать, что завтра почью переправлять будут, чтобы не стреляли.

САФОНОВ. Все? Сушись иди.

ВАЛЯ. Нет, не все.

САФОНОВ. Ты же зубами стучишь, дура. Сушись, говорю.

ВАЛЯ. Он велел передать, что в два часа ровно.

САФОНОВ. Все?

ВАЛЯ. Все.

САФОНОВ (входящий Шура). Ну, иди, грей ее там. Я же не могу. Дай ей чего-нибудь. В крайнем случае, мой полушубок, штаны дай. Ясно?

ШУРА. Ясно, товарищ капитан. (Выходит в другую комнату.)

САФОНОВ. Проклятая девка.

ПАНИН. Почему проклятая?

САФОНОВ. Упорная.

ПАНИН. Это хорошо.

САФОНОВ. А я разве говорю, что плохо? Я любя говорю, проклятая.
ПАНИН. Любя?

САФОНОВ (услышав неожиданную интонацию этого слова). Ну, да, сочувствуя. Что же я, человека на смерть пустил, так я за него уже и волноваться не могу? А если его нет два дня?..

ПАНИН. Кого — его?

САФОНОВ. Ну, ее. Что ты ко мне, писатель, привязался.

ПАНИН. Опять писатель?

САФОНОВ (улыбнувшись). Прости, пожалуйста, товарищ начальник особого.

В комнату входит ВАСИН. Он в сапогах и в кителе старого образца, с кожаными футбольными пуговицами. На плечах у него шинель с двумя толевыми паштами.

ВАСИН. Товарищ капитан, портупея у вас есть?

САФОНОВ. Что? Есть, есть портупея, найдем. (Подходит к Васину, берет его за пуговицу, радостно.) Ага, помню. Это в тысяча девятьсот двадцать пятом году такие в армии носили; помнишь, Панин? С такими пуговицами. Да?

ВАСИН. Совершенно верно.

САФОНОВ. Хорошие пуговицы.

Из другой комнаты выходит ВАЛЯ в галифе капитана, в сапогах, закутанная в полушубок, крепко прижимая его руками к груди.

ВАЛЯ. Ох, как тепло, Шурка, в капитанском полушубке. Прямо мехом к телу... Хорошо. (Заметив Сафонова.) Спасибо, товарищ капитан. (Паузу.)

ИЛЬИН (входя). Капитан, к аппарату.

САФОНОВ. Пойдем, Александр Васильевич; пойдем, начальник особого. (Выходит.)

ВАЛЯ. А я их не заметила. Ну, ничего. Он и правда, знаешь, какой теплый. А я замерзла... вода, знаешь, даже льдинки в ней. Еле доплыла.

ШУРА. А он тут переживал.

ВАЛЯ. Кто это он?

ШУРА. Капитан.

ВАЛЯ. Это почему же?

ШУРА. Не знаю. Может, ты знаешь?

ВАЛЯ. Нет. (Паузу.) Все ты врешь, Шурка.

ШУРА. Ей-богу.

ВАЛЯ. Ой, холодно. (Преживает.) Вот даже в полушубке, а все-таки холодно. А знаешь, Шура, я думаю, паверно, мы скоро опять идти.

ШУРА. Да ну?

ВАЛЯ. Наверно.

ШУРА. Ну здеси капитан тебя опять пошлет? Я просилюсь, а он не велит. Почему?

ВАЛЯ. Потому, что я здешняя. Вот и все. А ты не здешняя.

ШУРА. Опять тебя. А сам переживает. (На узах.) Я на него иногда гляжу,—а у него глаза озорные, даже страшно. Он, наверно, до войны озорник был. Беда для баб.

ВАЛЯ. Он некрасивый.

ШУРА. Это ничего, что некрасивый. А все равно, озорник был, я знаю. А сейчас притих. Он что тебе, не нравится?

ВАЛЯ. Нет.

ШУРА. А когда понравится?

ВАЛЯ. После войны.

ШУРА. А войны, она, знаешь, какая будет?

ВАЛЯ. Какая?

ШУРА. А вдруг длинная, предливная. Нельзя после войны. Не скоро.

ВАЛЯ. Ничего, я терпеливая.

ШУРА. А я нет.

Молчание. Входят Ильин и Козловский, одетый в рваное штатское платье.

ИЛЬИН. Где капитан?

ВАЛЯ. В той комнате.

ИЛЬИН (Козловскому). Садитесь. Замерзли? Водки хотите?

КОЗЛОВСКИЙ. Не откажусь.

ИЛЬИН. Шура, налей воды товарищу.

Шура наливает в жестяную кружку водки. Козловский пьет.

КОЗЛОВСКИЙ. Ну, вот. А то прямо из воды — и еще ведут тебя через город.

ИЛЬИН. А вы что же думали? Сразу: переправился — полное доверие, да?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет, я не думал, но все же... Немцы-то стреляли по мне. Довольно наглухо было. Как по-вашему?..

ИЛЬИН. Что верно, то верно. Потому и водки даем, что паглядно.

Входит Сафонов.

Товарищ капитан. Вот переправился с той стороны, от немцев.

САФОНОВ (подходя к Козловскому). Здорово! (Пожимает ему руку.) Откуда идешь?

КОЗЛОВСКИЙ. Из-под Николаева пробираюсь.

САФОНОВ. Так. Чего же это ты? Уже лиман перешел, а потом назад, к нам?

КОЗЛОВСКИЙ. Я узнал в городе, что тут, на поселке, еще наши, — хоть в окружении, да все-таки наши. Я и подумал: чем дальше идти, дойдешь ли — нет ли, а тут переплыл, и готово.

САФОНОВ. Документов, небось, нет?

КОЗЛОВСКИЙ. Есть.

САФОНОВ. Ишь ты. С документами.

КОЗЛОВСКИЙ. Девушки, у вас ножниц нет?

ШУРА. Зачем?

КОЗЛОВСКИЙ. Вот, пороть нужно рукав.

Валя подходит к нему, помогает распороть рукав.

Партийный без корочки, конечно. Но главное сохранилось, верно?

САФОНОВ (рассматривая вымокший партбилет). Верно. Какое звание-то?

КОЗЛОВСКИЙ. Младший лейтенант Василенко, Иван Федорович.

САФОНОВ. Тезки, значит. Что, замерз?

КОЗЛОВСКИЙ. Замерз.

САФОНОВ. Согрели тебя?

КОЗЛОВСКИЙ. Согрели.

САФОНОВ. Это насчет воды у нас плохо, а водка — это у нас есть. Только, знаешь, такая жажда бывает, что без воды и водки пить не хочется. Ну, но случаю спасения придется тебе все-таки стакан чаю сварить. Шура, а Шура?

ШУРА. Сейчас.

САФОНОВ. Ты, давай, сейчас иди сюда. Хочешь?

КОЗЛОВСКИЙ. Хочу.

САФОНОВ. Там моя пинель лежит. На ней устройся. А потом мы тебе проверку сделаем и к месту определим. Мне каждый человек нужен. Я тебе отпуск по случаю твоих переживаний не могу дать. Понятно?

КОЗЛОВСКИЙ. Понятно.

САФОНОВ. Иди. Она тебе чай туда принесет. (Похлопывая по плечу, провожает в другую комнату.)

ВАЛЯ (что-то учитель по воспоминания). Вот не видела я его. Не видела, а голос слыхала. Где я могла его голос слыхать?

САФОНОВ. Голос слыхала. Фантазия одна. Что он, Шалапин, что ли, чтобы его по голосу запоминать?

ВАЛЯ. Нет, я слыхала, Иван Ильинич.

САФОНОВ. Опять свое. Ты чего бегаешь? Тебе тоже спать надо. Ясно?

ВАЛЯ. Ясно.

САФОНОВ. Ну, иди, пожалуйста. А то: голос слыхала. Увидела — интересный военный, конечно, познакомиться сразу захотелось. «Где-то я вас встречала, да где-то я ваш голос слыхала...» Ну, это я шучу, конечно. Ты, главное, спать иди, вот что.

Валя и Шура выходят.

САФОНОВ (Ильину). Панин ушел, что ли?

ИЛЬИН. Нет, здесь.

САФОНОВ. Ты ему скажи, чтобы он потом зашел с этим, поговорим. Человек этот, Василенко, вроде человек хороший. Я, конечно, с радостью. Но все-таки пусть поговорит, чтоб порядок был. Что меня волнует, Ильин, это меня то волнует, что где Глоба. Дошел ли Глоба до наших войск или не дошел Глоба, — это меня больше всего волнует. Потому что помирать я готов, но помирать меня интересует со смыслом, а без смысла помирать меня не интересует. Ну, погоди. (Выходит. В двери останавливается.) Вернись, скажи Александру Васильевичу, чтобы с нами шел.

Ильин пересекает сцену, заходит в одну из комнат. Из комнаты Сафона выходит Козловский. Пинель внакидку, в руках бумажка,

приготовленная для закурки. Из двери выходит Ильин, проходит через комнату, вслед за ним неторопливо выходит Васин.

КОЗЛОВСКИЙ. Товарищ майор, разрешите обратиться?

ВАСИН. Да?

КОЗЛОВСКИЙ (вглядываясь в него). Только что из окружения. Закурить нет ли, товарищ майор?

Васин, достав баночку, аккуратно насыпает ему махорки.

КОЗЛОВСКИЙ (испытующе глядя на него). Товарищ майор, я вас где-то видел, по-моему.

ВАСИН (спокойно). А я вас нет. Простите, ваше звание?

КОЗЛОВСКИЙ. Василенко, младший политрук.

ВАСИН. А я вас нет, не видел, товарищ младший политрук. (Пауза.) Отонь у вас есть?

КОЗЛОВСКИЙ. Спасибо. Есть.

Васин прятает коробку и неторопливо выходит. Молчание.

Один на сцене. После паузы, удивленно присвистнув:
Дядя, а?

(Темнота.)

Конец второй картины

Картина третья

Обстановка второй картины. На сцене загорается свет. На сцене Шура. У нее опухшие, заплаканные глаза.

ПАНИН (входит). Почему глаза заплаканные?

ШУРА. Ничего. (Плачет.) Если бы вы знали, как мне Ильина жалко! Так жалко. (Плачет.)

ПАНИН. Шура!

Шура плачет; не отвечая, уходит в другую комнату.

ВАЛЯ (входит). Здравствуйте, товарищ Панин.

ПАНИН. Здравствуйте, Валечка.

ВАЛЯ. Ох, дела! Сейчас ребятам патроны возила. Как начали строить, мне мою машину поранили всю, прямо жалко. А меня — нет.

ПАНИН. Что, совсем машину?

ВАЛЯ. Нет, ходит. Я ей говорю: отправляйся на ремонт. А она говорит: разрешите, товарищ водитель, оставаться в строю. Я говорю: ну, разрешаю. Так она и осталась. Храбрая у меня машина.

ПАНИН. С Ильиным утром вы ездили?

ВАЛЯ. Ага. И, главное, знаете, я ему говорю: «Дайте я вас еще подвезу, мы быстро проскочим». А он говорит: «Нет, тебе дальше нельзя, я пешком пойду». Ну, я пошумела, а потом осталась, — приказание! А если бы машина, все в порядке было бы. Жалко мне его, товарищ Панин.

ПАНИН. Что же делать, Валечка, без этого не бывает и, главное, быть не может.

ВАЛЯ. Я ничего, а вот Шура — видели, наверное!

ПАНИН. Видели.

ВАЛЯ (почти шепотом, доверительное). Вы знаете, они ведь уже сговорились обо всем с людьми, — что там после войны будет, неизвестно. Они тридцать первого вечером, когда тихо, уже свадьбу решили сделать, а вот сегодня, тридцатое — и убили его. Вы представьте себе, товарищ Панин, как это грустно. Вот она и плачет все.

ПАНИН (внимательно глядя на нее). А ведь это все неправда, Валечка.

ВАЛЯ. Что неправда?

ПАНИН. Да вот все, что вы говорите: свадьба... Тридцать первого. Просто так красивее, вот вы и придумали. И грустнее тоже.

ВАЛЯ. А разве это хуже, если красивее?

ПАНИН. Нет, лучше.

ВАЛЯ. Его и так жалко, потому что он, правда, хороший был. А так этот, если... так совсем жалко, до слез. У него, может быть, жена где-нибудь... Оха, может, только через полгода узнает, а нам надо сейчас поплакать хочется.

ПАНИН (задумчиво). Да, жена через год узнает. Это вы хорошо придумали.

ВАЛЯ. Правда? Вы же смеетесь?

ПАНИН. Нет же смеюсь. (На узак.) Слушайте, Валечка, вы умеете шпистолеты разбирать, а?

ВАЛЯ. Умею.

ПАНИН. Вы же лифтер, вы все умеете. Сделайте мне одолжение, разберите его, а я его тряпичкой вытру. А то, вы знаете, что вчера случилось? Я нюхом за свободой был. Там немножко любоядных шашек. Ну, я же теперь начальник особого отдела. Я эту штуку в руки взял и пошел.

ВАЛЯ. Я слышала. Мне Иван Никитич говорил.

ПАНИН. Это он вам говорил, а самое главное, наверное, не сказал. Ко мне потом лейтенант подходит и говорит: «Вы, товарищ комиссар, кому-нибудь прикажите ваши шпистолеты почистить, а то у вас в дуле набилось — не выстрелят».

ВАЛЯ (смеясь, берет пистолет). А мне про вас что говорили!

ПАНИН. Что?

ВАЛЯ. А мне говорили, что вы раньше в кобуре вместо пистолета одеколон носили, и щетку, и зубной порошок. Это правда?

ПАНИН. Правда. Это очень удобно.

Входит Козловский.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы меня вызывали?

ПАНИН (тихо Вале). Вы сто там, в уголке, почистите сами, а потом мы с вами поговорим.

Валя отходит в угол, чистит пистолет.

ПАНИН. Да, вызывал.

КОЗЛОВСКИЙ. Позвольте узпать, зачем, а то ведь я с передовых приехал.

ПАНИН. Ничего. Я должен вам заметить, что в следующий раз, если вы произведете такой самовольный расстрел, я вас судить буду.

КОЗЛОВСКИЙ. Была такая обстановка, что один трус мог увлечь за собой всех, и мне пришлось...

ПАНИН. Ложь! У вас в роте не было такой обстановки. Вы не ребенок. Вы должны знать, когда нужно расстрелять на месте, а когда судить.

КОЗЛОВСКИЙ. Товарищ Панин, да все равно же... (Тихо.) Между нами говоря, конец... Где тут суды разводить! И я погибну и вы!

ПАНИН. Может быть, и вы погибнете и я, но это не при чем. Пока здесь есть армия и есть закон. Ясно вам это?

КОЗЛОВСКИЙ. Ясно.

ПАНИН. И бросьте мне эти разговоры: ах, была — не была, все равно прошлость. Это не храбрость — это разложение.

КОЗЛОВСКИЙ. Да я сам тотов двадцать раз под пули!

ПАНИН. Возможно, но мне до этого дела нет. Все! Идите!

Козловский выходит.

Ну, как, Валечка, собрали?

ВАЛЯ. Сейчас. Два, два — вот и все. Ой, но скажите, товарищ Панин, ну где я раньше слышала его голос?

ПАНИН. Да чей голос?

ВАЛЯ. Васильченко.

ПАНИН. Не знаю, Валечка, откуда ж мне знать. Поехали! Только давайте уговоримся так: где приказали стоять, там и стойте. За мной не ездить.

ВАЛЯ. Есть за вами не ездить, товарищ комиссар!

ПАНИН. Ну, то-то. А то я человек штатский, приказывать не умею, так я уже заранее на вас накричать решил. Чтоб с самого начала боялись. (Уходит.)

Из соседней комнаты выходят Сафонов и Васин.

САФОНОВ. В третью роту? Ну, что же, иди. Только ты, Александр Васильевич, там не очень. Понятно?

ВАСИН. Нет непонятно. Я выполняю свой долг. А если... Что ж, другим погром легче вперед будет идти.

САФОНОВ. Не хочу я этого от тебя слышать. Не другие, а мы еще с тобой вперед пойдем. Сталин что сказал? Сказал, что еще пойдем мы вперед. Пойдем, и все тут! (Задумчиво.) Сталин... И, Александр Васильевич, тому иногда не верю, другому иногда не верю, а ему всегда и везде верю. Я его речь по радио всегда слушал, у меня контузия еще не прошла, слова в ушах мешались, но и вместо них все равно для себя его слова слышал: «Стой, Сафонов, и ни шагу назад! Умри, а стой! Дерись, а стой! Десять раз приими, а стой!» — Вот, что я слышал, вот, что он лично мне говорил.

ВАСИН. Фантазер вы, Иван Никитич.

САФОНОВ. Конечно, а как же? И ты тоже фантазер. Мы все, русские, фантазеры. От этого воюем смелей. Но смелость смелостью, а все-таки...

ВАСИН. Ничего. Меня, милый, в ту германскую войну шесть раз дырявили, а в эту еще три раза. Так что у меня еще шесть раз впереди, а все жив буду.

САФОНОВ. Вот это верно. Ты, Александр Васильевич...

ТЕЛЕГРАФИСТ (из другой комнаты). Товарищ капитан, вторая рота
ча проводе.

САФОНОВ. Иду.

Сафонов выходит. Входит Козловский.

КОЗЛОВСКИЙ. Здравствуйте, товарищ майор.

ВАСИН. Здравствуйте, товарищ младший политрук.

КОЗЛОВСКИЙ. А где капитан?

ВАСИН. Сейчас придет. (Пауза.)

КОЗЛОВСКИЙ. Так где-то я вас все-таки видел, товарищ майор.

ВАСИН. Я уже вам говорил, что не помню, чтобы я вас видел.

КОЗЛОВСКИЙ. Но, может быть, вы меня не видели, а я вас видел?

ВАСИН. Может быть.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы в Николаеве не жили?

ВАСИН. Жил с двадцать третьего по двадцать девятый год.

КОЗЛОВСКИЙ. Может быть, я вас там видел?

ВАСИН. Может быть, если вы там жили. Разрешите узнать, зачем явились?

КОЗЛОВСКИЙ. За боеприпасами. Но это ведь к капитану.

ВАСИН. Нет, можете и ко мне. Винтовочных?

КОЗЛОВСКИЙ. Да.

ВАСИН. Двести штук дам. (Пишет.) Получите у Семененко.

КОЗЛОВСКИЙ (беря бумагу). А подпись капитана где нужна?

ВАСИН. Нет.

КОЗЛОВСКИЙ. Хотя ведь вы, в сущности, старший начальник.

ВАСИН (седит). Старший начальник? Капитан Сафонов — начальник гарнизона, а я — его начальник штаба; и это вам должно быть известно.

КОЗЛОВСКИЙ. Конечно, но я так сказал, потому что меня удивляет несоответствие знаков различия...

ВАСИН (вставая). А меня удивляет несоответствие ваших знаков различия и ваших мыслей, товарищ младший политрук, и несоответствие количества высказанных вами слов о количестве дел, которые вы делаете. И несоответствие этого разговора с той обстановкой, какая у нас есть.

КОЗЛОВСКИЙ (при саживаясь). Ну, что это вы, товарищ майор, я же не хотел, что вы подумали?..

ВАСИН. Встать, когда с вами разговаривает старший!

Козловский встает.

Можете идти. Вы свободны.

САФОНОВ (входит). Что тут за игум? О чем спор идет?

ВАСИН. Тут спора не может быть, товарищ капитан. Я сделал замечание младшему политруку, и все. Разрешите отправиться в третью роту?

САФОНОВ. Да, да, Александр Васильевич, иди.

Васин выходит.

Ты, что это со стариком вздоришь? Ты мне не смей.

КОЗЛОВСКИЙ. Да я, Иван Иваныч, с тим по-простецки, по-нашему, а он, в общем... интелигенция.

САФОНОВ. Что интелигенция? Ты этого даже и слова не понимаешь. Что ты — некультурный, сукин сын, так этим гордишься? А, между прочим, если тебя, дурака, пять лет в университете обтесать, так ты тоже будешь интелигенция, вот и вся разница. А если не обтесать, так не будешь. Старика обижать никому не позволю! Иши ты: «по-простецки», «по нашему»... А он, что же, не паш, что ли? Ты еще под столом ползал, когда он за то, что немец был, три «георгия» имел, попяты?

КОЗЛОВСКИЙ. Понятно.

САФОНОВ. Зачем пришел?

КОЗЛОВСКИЙ. За патронами. Да мало дал он. Вот.

САФОНОВ. И смотреть не хочу. Раз мой начальник штаба тебе столько дал, — значит, столько мот. Ты мне тут это не заводи: сначала к одному, потом к другому. Иди.

Козловский выходит. За дверью шум, голос Глобы.

ГЛОБА. Да что ты меня не пускаешь? Вот, тоже!

Глоба в штатском платье. За ним красноармеец с винтовкой.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Товарищ капитан, к вам. Разрешите приступить?

САФОНОВ. Ну, конечно, пускай, ведь это же Глоба!

ГЛОБА. Ой самый.

Сафонов обнимает Глобу, затем, отойдя, щиплет его за руку.

САФОНОВ. Ой, Глоба, да ты ли это?

ГЛОБА. Я.

САФОНОВ. Живой?

ГЛОБА. Живой.

САФОНОВ. А, может, не ты? Может, дух твой?

ГЛОБА. Ну, какой же там дух! На пять гудов разве дух бывает?

САФОНОВ. Это верно. Убедил. Ну, садись. (Кричит.) Шура! Ты покушать дай. И воды там из бидончика стакан налей. Глоба пришел, ему порции причитается.

ШУРА (показываясь в дверях, смотрит на Глобу). Здравствуйте.

ГЛОБА. Здравствуй, Шура.

САФОНОВ. Ну, что же ты, радуйся, — живой привел!

ГЛОБА (махнув рукой). Они на меня не радуются. Они меня считают за нехорошего человека. Я им откровенностью своей не нравлюсь.

САФОНОВ. Это кому же шм-то?

ГЛОБА. Вот Шуре хотя бы, и вообще всем им, женщинам, сословию ихнему всему.

САФОНОВ. Был?

ГЛОБА. Да.

САФОНОВ. Что же слышно?

ГЛОБА. Слышно то, что наши наступать собираются.

САФОНОВ. Да? Может, и нас отбьют, Глоба, а?

ГЛОБА. Может быть.

САФОНОВ (закрыл руками глаза). Эх, Глоба. Иногда так захочется, и чтобы я живой был, и чтобы другие некоторые, которые... тут кругом, в общем, чтобы они жivesы были. Да. Так, говорили, наступать будут?

ГЛОБА. Возможно. Я у генерала был, генерал тебе привет передавал. Говорит: «Как же, впало, — говорит, — знаю такого — Сафонова».

САФОНОВ. Не мог он мне привет передавать. Нет у меня знакомых генералов.

ГЛОБА. А он говорит, знает тебя.

САФОНОВ. А как фамилия-то?

ГЛОБА. Назвался Лукониным.

САФОНОВ. Лукониным? Неужто уже генерал?

ГЛОБА. А по всей форме генерал.

САФОНОВ. Скажи, ложалуйста. Ну, Глоба, это порядок будет. Этот генерал дойдет до нас. У него характер такой — непременно дойдет.

ГЛОБА. Вот и мне тоже вроде как показалось.

САФОНОВ. Как ты им доложил?

ГЛОБА. Как приказано, чтобы выручали сказал, но что если против плана это идет, то мы выручки не просим, сказал. Ну, и что все-таки жить нам, конечно, хочется, — это тоже сказал.

САФОНОВ. И это сказал?

ГЛОБА. И это сказал. Да и они сами, в общем, представляют себе это нутро.

САФОНОВ. Что приказывают нам?

ГЛОБА. Конечно, пакет с сургучом я нести не мог. Поскольку я шел как бегущий от красных бывший кулак, то мне, конечно, пакет с сургучом был ни к чему при разговоре с немцами. Но устный приказ дан такой: держись, держись и держись! А что и как — это, пришлю, говорит, делегата связи. На самолете.

САФОНОВ. А тебе больше птичего?

ГЛОБА. Ничего. Я думало, Иван Никитич, как и что — это еще там, где выше, решают. Этот генерал, твой знакомый, там с тобой и мозги шутить не хотел. Говорит: держись! А еще говорил он, что — передай Сафонову, чтоб Халхин-Гол вспомнил, как там дрались, тогда все будет в порядке.

САФОНОВ. Тяжело добираться?

ГЛОБА. Да ведь я такой человек, где как: где — храбростью, где — скромностью, где просто на честное слово. Меня и то генерал отпускать не хотел, говорит: «Сиди тут, Глоба». А я говорю: «Характер мне не позволяет. Там, — говорю, — ребята будут страдать, ожидая делегата вашего». Он говорит: «Я скоро пришлю». А я говорю: «Так он же на самолете, а я на своих на двоих, это быстрее». Что тут слышно, Иван Никитич?

САФОНОВ. Ну, что, как ты ушел, в ту ночь Брохалев от ран умер. Петров тоже. Сегодня утром Ильина убили. Так что я теперь и за командира и за комиссара. В общем, много этого уже нету. Ну, ладно, это лишнее.

КРАСНОАРМЕЕЦ (опять отрывается дверь). Товарищ капитан, к вам тут гражданин один.

САФОНОВ. Ну, давай. (Глоба.) Я же начальник гарнизона, у меня тут все дела. Давай гражданина.

Входит старик.

СТАРИК. У меня просьба к вам, товарищ командир.

САФОНОВ. Просьба? (Морщится.) Эх, мне просьбы эти...

СТАРИК. И не за себя только, а еще за двух человек.

САФОНОВ. Чего же вы от меня хотите? Нет у меня ничего, так что и просять у меня — это лишнее. Если вы насчет еды, то, сколько могу, даю. Всем поровну — как мне, так и вам.

СТАРИК. Нет, нам не то.

САФОНОВ. Если насчет воды, то опять же — вода, как мне, так и вам. Старый человек, уважаю тебя, но стакан на душу — это уж всем.

СТАРИК. Нам не воды.

САФОНОВ. А чего же вам?

СТАРИК. Нам бы трехлинечки.

САФОНОВ. Это зачем же вам трехлинечки?

СТАРИК. Известно, зачем.

САФОНОВ. Ты, значит, папаша, это за троих просишь? Это, значит, в твоих годах все? Приятели, что ли?

СТАРИК. Приятели.

САФОНОВ (Глобе). Видал? (Старик.) А вы что, в армии были, что ли, папаша?

СТАРИК. Все были, кто в германскую, кто в японскую. Я вот в японскую был. Мне в ту германскую уже туда вышли. Ну, а в эту вроде как опять обратно пришли. Ну, как же насчет трехлинеочек?

САФОНОВ (вставая и подходя к нему). Ты понимаешь, папаша, что значит, если ты, чтобы человек плакал, сделать можешь? Я уж егерь, воды и медные трубы прошел. Я в шоферах таксомоторщиком десять лет был. Ты знаешь, что это такое? Это дело такое — тут плакать нельзя. А ты меня в слезу звонял. (Вытирает глаза.) Дам я тебе, папаша, трехлинеечку. Только ты приходи вечером, когда у меня тут начальник штаба будет, тоже старичок, вроде тебя. Вы с ним говоритесь, по-стариковски. Иди, пожалуйста, в восемь часов приходи.

Старик выходит.

Да, значит, такое дело. Неизвестно еще, что и как, куда наши ударят. Ну, что же, придется тогда, что надумали, сделать. (Подходит к Глобе, закрывает дверь, тихо.) А надумали мы с теми, кто на немецкой части города сидит, мостик у них через лиман в тылу рвануть. Не миновать мне завтра ночью Валю опять туда посыпать.

ГЛОБА. Жалко?

САФОНОВ. Мне всех жалко.

ГЛОБА. Да... А я на это дело просто смотрю. Смерть перед глазами. Счастье жизни нужно человеку? Нужно. Ты его видишь? Ну, и возьми его. Пока жива. Она девушка добрая. Вот, глядишь, и вышло бы все хорошо.

САФОНОВ. Отстань. Боюсь я за нее, вот и все.

ГЛОБА. А за себя не боишься?

САФОНОВ. За себя? Конечно. Но только мы с тобой, Глоба, другое дело... Мы себе не можем позволить бояться. Потому что если я себе раз позволю, то и другие позволят. А потом я уже не познорю, а они опять позволят. Мы с тобой, значит, ни разу позволить бояться себе не можем. Разве что ночью, под одеялом. Но одеял у нас с тобой нет, так что это исключается.

САФОНОВ. Что, привезла Пашину?

ВАЛЯ. Нет, он там остался.

САФОНОВ. Где, там?

ВАЛЯ. Там, в первой роте. Ух, устала. (Снимает рукавицы, садится.)

САФОНОВ (Глобе). Ну, что ты будешь делать? Как назначил его начальником особого отдела, так он все показывает людям, что не боится. А это, между прочим, все и так знают.

ВАЛЯ. Да, я уж его удерживала, удерживала.

САФОНОВ. Уж молчи. Удерживала она! Я знаю, как ты удерживаешь. Сама лежит не знаю куда, потом рассказывает — удерживала она!

ЛЕЙТЕНАНТ (в дверях). Товарищ капитан, к телефону.

Сафонов выходит.

ГЛОБА (Вале). Как живете, Валентина Николаевна?

ВАЛЯ. Как все, товарищ Глоба. Как все, так и я.

ГЛОБА. А как все живут?

ВАЛЯ. А что как.

ГЛОБА. Эх, времена пошли. Женщины вдруг на фронте. Я бы лично вас берег, Валечка. И вас, и вообще. Пусть бы вы нам для радости жизни живыми всегда показывались.

ВАЛЯ. У нас, что же, другого дела нет, как вам показываться для вашей радости жизни?

ГЛОБА. А то как же? Для чего создается женщина? Женщина создается для украшения жизни. Война — дело серьезное. Во время ее жизнь украдать больше, чем когда-нибудь, потому что сегодня она — жизнь, а завтра она — пар, ничего. Так что напоследок ее, жизнь-то, даже очень приятно украсить.

ВАЛЯ. Так что же, тю-вашему, жизнь — елка, что ли, игрушки на нее вешать?

ГЛОБА. А хотя бы и елка. Вполне возможно. Я не про тебя говорю, ты девушка серьезная, тебе даже со мной разговаривать скучно. Но женщина, все-таки, — это радость жизни.

ВАЛЯ. Не люблю вас за эти ваши слова.

ГЛОБА. А меня любить не обязательно.

САФОНОВ (входит). Что за шум?

ГЛОБА. У нас тут с Валентиной Николаевной слова несогласие насчет роли женщины в текущий момент. До свидания, Иван Никитич, я в госпиталь пойду. И, как всегда, в медицинской профессии будут меня ждать неожиданности. Семь дней меня не было, и кто, я ожидал, будет живой, — умер, а кто, я ожидал, умрет, — непременно живой. Вот увидишь. (Выходит.)

ВАЛЯ. Устали?

САФОНОВ. Ну да, устал. Мне же думать надо. Это же, Валька, Валечка, колокольчик ты мой степной, — это тебе не баранку крутить.

ВАЛЯ. Ну, вот, стали начальником, так уж — баракку крутить... смеется.
САФОНОВ. А как же? С высоты моего положения. (Усмехается.) Хотя

и баракку надо с соображением крутить, конечно. Не то, что ты вчера.

ВАЛЯ. А что?

САФОНОВ. А то, что, когда я с тобой ехал, сцепление рвала так, у меня
всё душа страдала.

ВАЛЯ. Я не рвала. Оно отрегулировано плохо. Я ехала правильно.

САФОНОВ. Неправильно. И на ухабах педаль не выжимала.

ВАЛЯ. Выжимала.

САФОНОВ. Нет, не выжимала. Ты мне очки не втирай. Ты не думай, что
если я с тобой тихий, так мне можно очки втирать.

ВАЛЯ. Я ничего про вас не думал. Я только говорю, что выжимала.

САФОНОВ. Ну, бог с тобой. Выжимала, выжимала... Только глаза мне такие
не делай, а то я испугаюсь, убегу.

ВАЛЯ. Я вас как вожу, так и вожу. Я над машиной начальник, раз я за
бараккой. Понятно?

САФОНОВ. Понятно.

ВАЛЯ. Поспали бы. Ведь уже трое суток не спите.

САФОНОВ. А ты откуда знаешь? Ты сама только вчера от немцев верну-
лась.

ВАЛЯ. Знаю. Спрашивала.

САФОНОВ. Спрашивала?

ВАЛЯ. Так, между прочим спрашивала.

САФОНОВ. Да... (Пауз.) Тебе сегодня ночью, или завтра в крайнем слу-
чае, опять к немцам идти придется.

ВАЛЯ. Хорошо.

САФОНОВ. Чем же хорошего? Ничего тут хорошего. Послать мне больше
никого, а то бы ни в жизнь не послал бы тебя в третий раз.

ВАЛЯ. Это почему же?

САФОНОВ. Не послал бы, да и все тут. И вообще, ты лишних слов началь-
ству не задавай. Понятно?

ВАЛЯ. Понятно.

САФОНОВ. Придется тебе (отглянувшись на дверь) идти к Василию
и сказать, что мост рвать будем, и все подробности, чего и как. Но только
это заинсист уже не годится. Это наизусть будешь зубрить, слово в слово.

ВАЛЯ. Хорошо.

САФОНОВ. Да уж хорошо, или не хорошо, а надо будет. Два раза ходила —
в третий пойдешь, потому что родина этого требует. Выдвинь, какие я тебе
слова говорю.

ВАЛЯ. А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина... и, наверное,
что-то большое представляют, когда говорят. А я — нет. У нас в Ново-Нико-
лаевке изба на краю села стоит, и около речка и две березки. Я качели на
них качала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Мож-
ет, это нехорошо?

САФОНОВ. Нет, хорошо.

ВАЛЯ. А как вспомню березки, около, — вспомню, — мама стоит, и брат.
А брата вспомню — вспомню, как он в тюзашром году в Москву уехал

учиться, как мы его провожали, — и станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню. И все, все вспомню. А потом подумаю: откуда вспоминать начала? Опять с двух березок. Так, может быть, это не хорошо? А, Иван Никитич?

САФОНОВ. Нет, это хорошо. Это мы, наверно, все так вспоминаем, каждый по-своему. (Пауза.) Ты только, как там будешь, ты матери скажи, чтобы она с немцами не очень ершилась. Она нужная нам, помимо всяких там чувств. И потом — ты ей это тоже скажи. Я ее еще увидеть надежду имею.

ВАЛЯ. Хорошо, я скажу. (Пауза.)

САФОНОВ. Да, ну и сама тоже. Осторожней, в общем. Понятно?

ВАЛЯ. Понятно. (Пауза.)

САФОНОВ. Сказал бы я тебе еще кое-что, да не стоиг. Потом, когда обратно приедешь.

ВАЛЯ. А если не приду?

САФОНОВ. А если не придешь, значит, все равно, не к чему говорить. (Накрываетшись шинелью, укладывается на диване. Лежит, открыв глаза.)

ВАЛЯ. Ну, и засните. Хорошо будет.

САФОНОВ. Совсем спать отвык. Не могу спать.

ВАЛЯ. А вы попробуйте. Я вам песню спою.

САФОНОВ. Какую?

ВАЛЯ. Какую детям лют — колыбельную... (Запевает: «Спи, младенец мой прекрасный...») Вы бы уже побрились, что ли. А то какой же это ребенок, с бородой.

САФОНОВ. Хорошо, вот ты вёрнешься, я пробреюсь.

ВАЛЯ. А если не вернусь, так и бриться не будете? (Молчание.) Придется уж вернуться, раз так.

САФОНОВ. Не могу спать.

ВАЛЯ. И песня не помогает?

САФОНОВ. Не помогает. (Пауза. Сафонов закрывает глаза и мгновенно засыпает.)

ВАЛЯ (не замечая этого). Знаете, Иван Никитич, а я вот же боюсь итти. В первый раз боялась, а теперь нет. Мне кажется, что приду обратно, чтобы вы побрились. А вы будете ждать. И все будут. Что же вы молчите?

Замечает, что Сафонов спит.

Вот я заснул. А говорил, спать не могу. (Тянетя же чему. Ей, видимо, очень хочется разбудить его. Преодолевая это желание и уже не глядя на него, прислонившись к столу, тихо допевает: «Провожать тебя он выйдет, ты махнешь платком...»

Молчание.

Конец третьей картины и первого действия

Картина четвертая

У Харитонова. Старый добротный дом частно практикующего провинциального врача. Большая столовая, очевидно служащая общей комнатой. Несколько дверей. Два стенных шкафчика — один с посудой, другой белый, аптечного вида. На сцене за чайным столом Розенберг и Вернер.

Вернер, прихлебывая из рюмки вино, зубрит что-то вполголоса.

РОЗЕНБЕРГ (открыл дрожный, на «молнии», чемоданчик, раскладывает перед собой разные сувениры: фотографии, документы). Что, Вернер, все практикуетесь в русском языке?

ВЕРНЕР. Да, практикуюсь.

РОЗЕНБЕРГ. Это хорошо. Нам тут долго придется быть.

ВЕРНЕР. По-вашему, война...

РОЗЕНБЕРГ. Война — нет, недолго, а вот после войны. Завоеватель может презирать народ, им покоренный, но он должен знать его язык, если бы даже ему пришлось лаять по-собачьи. В чужой стране никому нельзя верить, Вернер.

ВЕРНЕР. Но вы же верите Харитонову?

РОЗЕНБЕРГ. Да, потому что он мерзавец. И если русские придут, они его повесят; то есть нет, расстреляют. Они не вешают. Но его жена я уже не верю. Могут притти и не расстрелять. И уже по одному этому я ей не верю. (Продолжает разбирать карточки.) Сегодня Краузе подарил мне еще целый чемодан всего этого. Не смотрите так. Да, да, я люблю рыться в этом.

ВЕРНЕР. У вас привычки старьевщика.

РОЗЕНБЕРГ. Ничего. По этим бумажкам и фотографиям я изучаю нравы. Иногда при этом обнаруживаются любопытные вещи. Вот, например, удостоверение личности младшего лейтенанта Харитонова И. С. И. С. — замечает? Оно разорвано нулей. Очевидно, его владелец убит. Но меня интересует не это. Меня интересуют инициалы И. С., потому что нашего хозяина дома зовут С. А. Трудно предположить, но вдруг предположим, что это его сын. А у него сын в армии, это мне известно. Что мы можем из этого извлечь? Очень многое. Во-первых, если даже это просто совпадение, то на нем можно построить интересный психологический этюд: узнавание, неузнавание, ошибка, горе матери, и так далее. Все это входит в мою систему изучения нравов. Да, с чего же я начал?

ВЕРНЕР. Вы начали с жены Харитонова.

ХАРИТОНОВ (открыл дверь). Вы меня звали?

РОЗЕНБЕРГ. Нет, но раз вы уже вошли, — откуда у вас жена, доктор?

ХАРИТОНОВ. Из Вологды.

РОЗЕНБЕРГ. Вот видите, Вернер, она из Вологды, а мы еще не взяли Вологду. (Харитонову.) У нее есть родные?

ХАРИТОНОВ (растерянно). Есть немножко, есть.

РОЗЕНБЕРГ. Что значит — немножко?

ХАРИТОНОВ. Сестры.

РОЗЕНБЕРГ. Сестры, — это значит, по-вашему, немножко? Но у сестер ведь есть мужья? И, быть может, они, не в пример вам, русские люди, а?

ХАРИТОНОВ. Я не понимаю вас, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Вы меня прекрасно понимаете. Скажите вашей жене, чтобы она принесла нам чаю в самоваре.

(Харитонов уходит.)

Вот видите, Вернер, у ее сестер есть мужья. Может быть, один из них инженер, другой майор, это уж я не знаю. И, может быть, этот майор завтра окажется здесь. А она — сестра его жены, и она скорее позволит ему убить нас, чем нам — его. Это ведь, в сущности, очень просто.

Входит Мария Николаевна с чайной посудой.

Скажите, Мария Николаевна, у ваших сестер есть мужья?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Они русские?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да. Вы будете пить молоко?

РОЗЕНБЕРГ. Нет. Вы не завидуете им, что у них русские мужья, а у вас неизвестно какой национальности?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. У меня тоже русский.

РОЗЕНБЕРГ. Я не об этом говорю. Не притворяйтесь, что вы меня не понимаете.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Может быть, нести вам самовар?

РОЗЕНБЕРГ (вставая). Несите. Мы сейчас придем.

Мария Николаевна уходит.

(Вернеру.) И после этого вы думаете, что я могу ей верить?

Выходит в свою комнату. Входит Мария Николаевна. За ней Харитонов. На улице несколько выстрелов. Мария Николаевна крестится.

ХАРИТОНОВ. Ну, что ты крестишься?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. За них.

ХАРИТОНОВ. За кого — за них?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. За наших.

ХАРИТОНОВ. Когда ты научишься держать язык за зубами?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Тридцать лет учусь.

ХАРИТОНОВ. Опять?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да.

ХАРИТОНОВ (тихо). Мама, поди сюда. Ты была у Сафоновой?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Была.

ХАРИТОНОВ. Говорила все, что я велел?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Говорила. (Пауз.) Противно мне это.

ХАРИТОНОВ. Противно? А если я буду убит, тебе не будет противно?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. При чем тут ты?

ХАРИТОНОВ. Очень просто. Ты завтра же пойдешь кней опять и упомянем, между прочим упомянем, что я страдаю. Понимаешь? Страдаю... Что мне надоели немцы, что я их не люблю и боюсь, что я предпочел бы от них избавиться, что я был не рад, когда меня назначили городским головой. Поняла?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Поняла. Только зачем тебе все это?

ХАРИТОНОВ. Затем, что это правда. Затем, что я предпочел бы сидеть весь этот месяц в подвале и не трястись за свою шкуру. Я больше чем уверен, что к этой старухе ходят... Да, да, партизаны. Немцам она все равно не скажет, что я их не люблю, а им, этим, может быть и скажет. В Херсоне уже убили городского голову. Я не хочу, чтобы они его убили здесь, потому что здесь «он» — это я.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Боже мой. Чем весь этот тужас, бросили бы все вещи и ушли, как я говорила, куда-нибудь в деревню, спрятались бы.

ХАРИТОНОВ (шепчащим, злым голосом). Куда спрятались бы? А вещи? Мои вещи без меня всегда вещи, а я без моих вещей — дерьмо. Да, да, дерьмо, нуль. Понятно тебе, дура?

Кто-то стучится в сенях.

Пойди открои.

Мария Николаевна выходит и сейчас же возвращается обратно. Вслед за ней Марфа Петровна — вне себя, простоволосая, со сбитым на бок платком.

МАРФА ПЕТРОВНА. Изверги!

ХАРИТОНОВ. Тише.

МАРФА ПЕТРОВНА. Убили, на моих глазах убили!

ХАРИТОНОВ. Кого убили?

МАРФА ПЕТРОВНА. Таню, Таню, соседку. Я думала — черт с тобой; но ты же доктор. Родить она собралась. Так повела к тебе. Нашла к кому! Лежит она там, у тебя под окнами.

ХАРИТОНОВ. Тише! При чем тут я?

МАРФА ПЕТРОВНА. При всем. Ты подписывал, чтобы после пяти часов не ходили, чтобы стрелять?

ХАРИТОНОВ. Не я — комендант.

МАРФА ПЕТРОВНА. Ты, ты проклятый!

На ее крик из соседней комнаты выходит и останавливается в дверях
Розенберг.

РОЗЕНБЕРГ. Кто тут кричит?

МАРФА ПЕТРОВНА. Я кричу! За что женщину посреди улицы убили?

РОЗЕНБЕРГ. Кто эта женщина?

ХАРИТОНОВ. Это тут одна... Они шли ко мне. Там родила соседка у них... И вот, патруль выстрелил.

РОЗЕНБЕРГ. Да, и правильно сделал. После пяти часов хождение запрещено. Разве нет?

ХАРИТОНОВ. Да, конечно, совершенно верно.

РОЗЕНБЕРГ. Если кого-нибудь застрелили после пяти часов — женщина это или не женщина, безразлично — это правильно. А вас, за то что вы ходили после пяти часов, придется арестовать и судить.

МАРФА ПЕТРОВНА. Суди. Убей, как ее... (Наступает на него.) Так бы взяла за горло сейчас вот этими руками...

РОЗЕНБЕРГ (поворачиваясь к двери в соседнюю комнату). Вернер! Позвоните дежурному! (С поклоном.) Кажется, придется вас погнать.

МАРФА ПЕТРОВНА. Вешай!

РОЗЕНБЕРГ (Харитонову). Как ее фамилия?

ХАРИТОНОВ. Сафонова.

РОЗЕНБЕРГ. У нее, наверное, есть кто-нибудь в армии? Муж, сыновья?

ХАРИТОНОВ. Э-э. Нет. То есть, может быть, есть... я не знаю.

МАРФА ПЕТРОВНА. Есть. И муж есть, и сыновья есть. Все в армии.

РОЗЕНБЕРГ. Придется повесить!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (вдруг бросаясь к Марфе Петровне, обнимая ее и став рядом с нею). И у меня тоже сын в армии. И меня вешайте! Я вас ненавижу. Ненавижу!

ХАРИТОНОВ. Маша, ты...

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. И тебя ненавижу! Всех вас ненавижу, мучителей!

А вот мы — подруги, и сыновья у нас у обоих в армии. Да... (Рыдает.)

РОЗЕНБЕРГ. Возьмите... (Секунда колебания.) Вот эту. (На Марфу Петровну.) А эту оставьте.

ХАРИТОНОВ. Спасибо, господин капитан. Она не будет больше...

МАРФА ПЕТРОВНА. Благодари, благодари, Иуда, в ногки поклонись. (Солдаты хвалят ее за руки. Харитонову.) Плюнула бы этому немцу в морду, да лучше тебе плюну! (Плюет в лицо ему.)

Солдаты выволакивают Марфу Петровну. Мария Николаевна, обессиленная, плачет.

ХАРИТОНОВ. Господин капитан! Вы не обращайте внимания. Она это так... Нервная женщина. Они, правда, подруги были.

РОЗЕНБЕРГ. Ничего, доктор, я прощаю вашу жену, помня о ваших заслугах. (Говорит отчетливо, глядя на Марию Николаевну.) Я же не могу забыть ваших заслуг. Ведь вы же, как-никак, составили мне список на семнадцать коммунистов, и вчера еще на пять. Вы же мне указали местонахождение начальника милиции Гаврилова. Вы же меня предупредили, где спрятан денежный ящик вашего банка. Вы же... Впрочем, я не буду перечислять, этот перечень, кажется, расстраивает вашу жену. Она плачет, вместо того чтобы радоваться, что вы нам так помогли. Ну, ничего, успокойте ее. (Уходит в соседнюю комнату.)

Молчание.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (тихо). Это все правда?

ХАРИТОНОВ. Правда. Да, да, правда! Ты говори спасибо, что ты жива после того, что ты сделала!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Я не хочу быть живой, мне все равно. Если бы не Коля, я хотела бы только умереть.

РОЗЕНБЕРГ (входя вместе с Вернером). Мария Николаевна, не забудьте про чай.

Мария Николаевна выходит.

РОЗЕНБЕРГ (Вернеру тихо). Сейчас мы произведем интересный психологический этюд. Еще немножко изучения правов, того самого, которое вы так не любите... Доктор!

ХАРИТОНОВ. Слушаю.

РОЗЕНБЕРГ. Я надеюсь, что вы ведь нам искренно преданы, доктор?

ХАРИТОНОВ. Искренно, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. И все, кто борется против час, — это ведь и ваши враги, доктор? Так, или не так?

ХАРИТОНОВ. Так, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Как так? Точнее.

ХАРИТОНОВ. Враги, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. И когда они побиают, вы должны этому радоваться, доктор?

ХАРИТОНОВ. Да, должен, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Нет, точнее. Не «должен» — а «рад». Так ведь?

ХАРИТОНОВ. Рад, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Я надеюсь, что ваша жена сказала неправду, и ваши сыновья, конечно, не борются против нас?

ХАРИТОНОВ. Нет, господин капитан, к сожалению, это правда, он в армии. Я с ним давно уже в ссоре, но он в армии.

РОЗЕНБЕРГ. К вашему большому сожалению?

ХАРИТОНОВ. Да, господин капитан, к сожалению.

РОЗЕНБЕРГ. И если бы его уже не было в армии, то ваши сожаления кончились бы?

ХАРИТОНОВ. Конечно, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Шодйт сюда поближе. (Закрывая удостоверение одной рукой, оставляя только карточку.) Это лицо вам знакомо?

ХАРИТОНОВ. Николай!

РОЗЕНБЕРГ. Я вижу, знакомо. (Открывая все удостоверение.) Здесь, на этой дырке, доктор, ваши сожаления кончились. Вы можете быть довольны. Ваш сын уже не в армии. Правда, я лично не видел, но я в этом уверен. Можете уже не сожалеть.

Харитонов молчит.

Ну, как, вы рады этому, доктор?

ВЕРНЕР. Розенберг!

РОЗЕНБЕРГ (поворачиваясь к нему, холодно). Да? Одну минуту терпения. Значит, вы рады этому, господин доктор? (Резко.) Да или нет?

ХАРИТОНОВ (сдавленным голосом). Да, рад.

РОЗЕНБЕРГ (Вернеру). Ну, вот видите, Вернер, доктор рад. И мы с вами сомневались в нем совершенно напрасно. Вы можете идти, доктор. Мне все ясно. Спасибо за откровенность. Вы поистине преданный человек. Это очень редко в вашей стране, и тем более приятно.

Харитонов выходит.

ВЕРНЕР. Слушайте, зачем вся эта комедия? Если нужно расстрелять — расстреляйте, или скажите мне, если вы сами ненавистник и не умеете. Но то, что вы делаете, — это не солдатская работа.

РОЗЕНБЕРГ. У вас устарелые взгляды, Вернер. Изучение нравов входит в ваши обязанности.

ВЕРНЕР. Слушайте. Вы мне осточертели с вашим изучением нравов. Я, кажется, завтра же попрошу в полк, чтобы больше не видеть вас с вашим

изучением правов. Я буду убивать этих русских, будь они прокляты, но без ваших идиотских предварительных разговоров, которые мне надоели.

РОЗЕНБЕРГ. Вы не будете пить чай?

ВЕРНЕР (выходя). Нет.

Харитонов входит и бессильно прислоняется к притолоке. Входит Мария Николаевна с самоваром.

ХАРИТОНОВ (тихо). Маша! Послушай, Маша!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что тебе?

ХАРИТОНОВ. Я хочу тебе сказать...

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что еще ты хочешь мне сказать?

ХАРИТОНОВ. Я хочу тебе сказать... Нет, не могу. (Уходит.)

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Сейчас я принесу заварку.

РОЗЕНБЕРГ (искусно смотрит на нее, держа в руке удостоверение). У вас, оказывается, был сын в армии?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Почему был? Он в армии и есть.

РОЗЕНБЕРГ. Нет, был. Или, как говорит ваш муж, — к сожалению, был. Но теперь, как говорит опять-таки ваш муж, его, к счастью, нет. Но знаете, ваш муж рад, что его нет.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что вы говорите? Что вы говорите?

РОЗЕНБЕРГ. Нет... вы не думайте только, что это имеет какое-то прямое отношение ко мне. Я не был бы так жесток с матерью. Но ко мне случайно попало вот это. Поэтому я и говорю: «был».

Мария Николаевна сжимает в руках удостоверение, тупо смотрит на него, и так, не выпуская, садится за стол. Сидит молча, оглушенная.

РОЗЕНБЕРГ (после паузы). Я бы не рискнул вам сказать, но я подумал, что вы разделяете взгляды вашего мужа, а ваш муж сказал, что он рад этому, несмотря на свои родительские чувства.

Мария Николаевна молчит.

Что же вы молчите? Да, да, он так и сказал. Доктор.

Входит Харитонов.

Доктор, ведь вы сказали, что вы рады, а?

Мария Николаевна поднимает голову, смотрит на Харитонова. Харитонов молчит.

Или вы мне сказали неправду? Вы же рады?

Харитонов молчит.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (молча кладет удостоверение и тово-рит механически). Сейчас я вам заварю чай.

РОЗЕНБЕРГ. Спасибо, прекрасно.

Мария Николаевна, за спиной Розенберга и Харитонова, подходит с чайником к одному шкафчику, потом к аптечному. Порывшись там, возвращается к столу.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Вот чай.

РОЗЕНБЕРГ. Прошу вас, плачете. Знаете, солдатам всегда приятно, когда женская рука наливает им чай или кофе. Верно, ведь, а, доктор?

Харитонов молчит.

Что же вы молчите? Потеряли дар речи?

Мария Николаевна наливает Розенберту чай.

Ну, доктор, может быть, вы выпьете чаю со мной, а? Вы взволнованы. Ничего. Выпейте. Вы же наш преданный друг. Я рад с вами сидеть за одним столом.

ХАРИТОНОВ. Спасибо.

РОЗЕНБЕРГ. Мария Николаевна, налейте чаю вашему мужу.

Пауза. Мария Николаевна смотрит на Харитонова, потом тем же механическим движением молча наливает ему чай.

РОЗЕНБЕРГ. Ну, доктор.

ХАРИТОНОВ. Я прошу простить, господин капитан, мне дурно... я не могу...

РОЗЕНБЕРГ. Ну, как угодно, как угодно.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (спокойно). Вам больше ничего не нужно, господин капитан?

РОЗЕНБЕРГ. Нет, спасибо. Вернер, я иду к вам! (Взял чашку, выходит.)

Харитонов сидит на диване, опустив голову на руки. Мария Николаевна стоит у стены. Молчание.

ХАРИТОНОВ. Маша!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что?

ХАРИТОНОВ. Маша, я не могу так.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Оставь меня. Я не хочу тебя слушать.

ХАРИТОНОВ. Бросим все, уедем, убежим. Я боюсь их всех. Я ничего не хочу.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Поздно. Я же тебе говорила. А теперь поздно. Ты даже не знаешь, как поздно.

Раздается грохот отодвинутого стула в соседней комнате. Дверь открывается. Вбегает Розенберг и останавливается.

РОЗЕНБЕРГ. Что вы там намешали?! Что вы там намешали, вы, вы! (Падает лицом вперед на пол. Корчится.)

Мария Николаевна стоит неподвижно.

ХАРИТОНОВ (суетясь). Что с вами? Что с вами? (Подбегает к Розенбергу, пытается поднять его с пола, поворачивается.)

Мария Николаевна безучастно, молча стоит у стены.

ВЕРНЕР (четким шагом подходит к Розенбергу, нагнувшись, берет его за руку, подпирает). Кто это сделал?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Мы. Мы его отравили, я и муж.

ХАРИТОНОВ (с колен). Нет, господин капитан, она говорит неправду. Это ничего... Это не мы.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Мы, мы. Встань. (Подходит к Харитонову, поднимает его под мышки.) Встань, Саша, встань. (Быстро.) Это мы с ним. Мы вас ненавидим. Мы это сделали, мы оба — я и он.

ХАРИТОНОВ. Господин Вернер! Господин Вернер!

ВЕРНЕР. Вы думаете, что я вас буду отдавать под суд?

ХАРИТОНОВ. Господин Вернер, это не я, она все...

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да, мы это сделали. Вы убили нашего сына. Мы отправили этого вашего негодяя.

ВЕРНЕР. Я вас не отдам под суд. Я вас просто повешу обоих через две минуты. (Открывает наружную дверь.) Эй, кто-нибудь!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (прижав к себе совершенно обезумевшего от ужаса Харитонова, кричит, прислоняясь к стене). Ну и вешай! Вешай!

Занавес

Конец четвертой картины

Картина пятая

Ночь. Берег лимана. Деревья. Спуск к воде. Задняя стена какого-то строения. Через сцену медленно идут Валя и Сафонов. У Сафонова правая рука на перевязи.

ВАЛЯ. А я прошлый раз как раз тут и переплыvala.

САФОНОВ. Вот как раз потому, что прошлый раз тут, — сегодня в другом месте пошли вешь. (Смотрит на часы.) Сейчас поедем.

ВАЛЯ. Светятся. Хорошие.

САФОНОВ. В Улан-Баторе купил, еще давно.

ВАЛЯ. Где это?

САФОНОВ. Улан-Батор? Это город такой, в Монголии. Далеко... Сейчас мечя на Южную балку отвезешь, провожу тебя там и... Запальники и шнур не забыла?

ВАЛЯ. В машине лежат. Что, поедем?

САФОНОВ. Сейчас...

ВАСИЛ (выходя из-за дома, вглядываясь). Товарищ капитан!

САФОНОВ. Я.

ВАСИЛ. Сейчас поедете?

САФОНОВ. Да, а что?

ВАСИЛ. Я, с вашего разрешения, останусь тут, в роте, до утра. Телефон все еще не починили, я сам здесь подожжу.

САФОНОВ. Только к рассвету в штабе будь, ладно?

ВАСИЛ. Так точно. (Уходит.)

САФОНОВ. Сейчас поедем... Да, вот тебе и последнее испытание, Валентина Николаевна... Ты у меня теперь старая разведчица. Я теперь тебя по имени-отчеству принужден звать.

ВАЛЯ. А «вы» — не надо.

САФОНОВ. Нет, теперь я уже принужден, ничего не поделаешь.

Опять слышна канонада.

Совсем наши близко к лиману подошли. Наступают. Ты представь себе: наступают наши!.. А то уж больно обидно помирать было, тем более, что лично я в зарубную жизнь не верю. Теперь и сказать можно. Я только вчера, когда эту канонаду в первый раз услышал, в первый раз поверил, что живы будем. И поскольку у меня надежда быть в живых появилась, прошу тебя, Валентина Николаевна, делай, что надо, а так зря не прыгай. Я тебя очень хочу живой видеть.

ВАЛЯ. Я тоже. (Вдруг мечтательно.) Сафоныч, а Сафоныч?

САФОНОВ. Что?

ВАЛЯ. Ничего.

САФОНОВ. Ну, а все-таки.

ВАЛЯ. Я когда у твоей матери была, твою фотографию увидела и спрашивала про тебя разное. Она говорит: «Вот он маленький какой был». А мне интересно, какой ты был маленький! А она вдруг меня спрашивает: «А чего ты, девушка, так интересуешься?» Я говорю: «Ничего, просто так». А она говорит: «А я думала, любовь у вас». Я говорю: «Нет, я просто так».

САФОНОВ. Валя. (Хочет обнять ее здоровой рукой.)

ВАЛЯ. Не надо, Сафоныч, не перебивай, я тебе рассказать хочу. (На уз.) Я ей говорю: «Он меня все невестой в шутку зовет». А вернулась оттуда — ты меня сразу и звать так перестал. Почему? Это ведь в шутку....

САФОНОВ. Потому и перестал, что в шутку... А когда вернулась... (Снова пытается ее обнять.)

ВАЛЯ. Не надо. Это тебя Глоба научил, да?

САФОНОВ. При чем тут Глоба?

ВАЛЯ. Я знаю. Он всем это говорит: «Живем только раз. Она девочка добрая... а что завтра — неизвестно, может, умрем». А я не хочу только оттого, что, может, завтра умрем. Я хочу...

САФОНОВ (отпуская ее, только продолжая держать за руку, ласково). Ну, чего ты хочешь, колокольчик ты мой старший? Чего ты хочешь? Что сделать мне для тебя?

ВАЛЯ. Проводи меня, Сафоныч. И что-нибудь хорошее на прощанье скажи. А то я что-то боюсь сегодня. Нет, ты не думай, я немножко... Это ничего?

САФОНОВ. Ничего. (На уз.) Ты с собой револьвер взяла, в случае, если что?

ВАЛЯ. Нет. Я пугалась, он тяжелый.

САФОНОВ (морщась, достает здоровой рукой маленький брауниг). Вот мой, возьми.

ВАЛЯ (берет, смотрит на брауниг). Это хорошо. Если что-нибудь, если немцы, — лучше тогда живой не быть. Верно?

САФОНОВ. Верно. И лучше мне тогда тоже живому не быть. Вот я что тебе сейчас скажу. А остальное после. После, когда наши лиридут, когда поверится, что не потому, что завтра умереть можем. (На уз.) Ну, поедем. (Идут к дому.) Ты куда его положила?

ВАЛЯ. В карман.

САФОНОВ. А ты лучше за лазуху, на грудь. Верней. (Уходит.)

Некоторое время на сцене пусто. Потом снизу, из-за края обрыва, ведущего к воде, появляется голова. Тихий свист. Ответный свист. Входит Козловский.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы здесь?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Здесь.

КОЗЛОВСКИЙ. Черт бы их взял. Нашли место для прогулок.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Вы хоть слышали, о чем они говорили?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет. А мне это не нужно. Я знаю и так. Передайте господину Розенбергу...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Он убит.

КОЗЛОВСКИЙ. Убит! Кто же вас послал?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Капитан Вернер.

КОЗЛОВСКИЙ. Передайте господину капитану: во-первых, в городе затевается какой-то взрыв или что-то в этом роде, что — я пока не знаю, но затевается; во-вторых, примерно через час у Южной балки будет переправляться лодка, которую вы здесь видели. Фамилия — Анощенко, зовут — Валентина.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Это связано со взрывом?

КОЗЛОВСКИЙ. Очевидно, да.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. У нее будут документы?

КОЗЛОВСКИЙ. Очевидно, нет. Но, если как следует взяться...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Конечно. Но это будет точно, сегодня?

КОЗЛОВСКИЙ. Да, через час.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Тогда я спешу.

КОЗЛОВСКИЙ. Да, конечно. Передайте господину капитану: то, что я задумал с лодкой...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Что?

КОЗЛОВСКИЙ. Передайте господину капитану: то, что я задумал с лодкой, — он знает, — пока не выходит. И начальник гарнизона и он пока держатся друг за друга. Попробую еще.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Все?

КОЗЛОВСКИЙ. Все. Да, я вас хотел спросить: из-за липана слышна близкая канонада...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Русские начали наступать и подошли ближе. Ну, все? Я спешу.

КОЗЛОВСКИЙ. Все.

Неизвестный исчезает. Долгое молчание. Слышны тихие вслески воды. Откуда-то сверху раздается близкий выстрел, потом второй. На сцену, не замечая Козловского, входит Васин с красноармейцем.

У Васина в руках карабин.

ВАСИН. Плохо следите. Когда смететесь, будем судить! Здесь кто-то подплывал к берегу.

КРАСНОАРМЕЙЦ. Так вы же стреляли, товарищ майор. Ничего же не видно.

ВАСИН. Не видно, потому что поздно заметили. Вызовите мне караульного начальника! Быстро! Я буду ждать здесь. (Всматриваясь в темноту.)

Козловский пытается незаметно пройти.

Стой! (Всжидывает карабин.)

КОЗЛОВСКИЙ (видя, что ему не уйти). Это свои.

ВАСИЙ. Кто свои?

КОЗЛОВСКИЙ. Я, товарищ майор,— Василик.

ВАСИЙ (подходя к нему вплотную и продолжая держать карабин на изготовку). Что вы здесь делаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Товарищ майор... Да опустите карабин, это же я. Я там сейчас объясню...

ВАСИЙ (не обращая внимания, продолжает держать карабин). Что вы здесь делаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Да вот, пошел проверять посты, — как и вы, очевидно.

ВАСИЙ. Это не ваша рота. Что вы здесь делаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Я же говорю, товарищ майор. Проверяю посты. Ну, что ж, что не моя рота. Мы, политработники, обязаны всюду иметь глаз.

ВАСИЙ. Политработка тут ни при чем. Это не ваша рота. Извольте ответить, что вы здесь делаете, я вас в последний раз спрашиваю.

КОЗЛОВСКИЙ (в другом решившись). Александр Васильевич! (Назада).
Дядя Саша!

ВАСИЙ. Бросьте глупые шутки. Племянник!

КОЗЛОВСКИЙ. Да, племянник.

ВАСИЙ. У меня нет племянника Василенко.

КОЗЛОВСКИЙ. Да, но у вас есть племянник Николай Козловский, Коля.

ВАСИЙ. Так.

КОЗЛОВСКИЙ. Александр Васильевич, я вам сейчас все объясню.

ВАСИЙ. Так. Я слушаю.

КОЗЛОВСКИЙ (с надеждой). И вы меня поймете, вы поймете. Я вам только добра желаю. Вы слышите?

ВАСИЙ. Я уже сказал вам, что слушаю.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы меня плохо помните?

ВАСИЙ. Да. Плохо.

КОЗЛОВСКИЙ. Но вы вспомните Николаев, вспомните, как вы бывали у мамы на Трехсвятской улице. Мне тогда было пятнадцать.

ВАСИЙ. Вы что, действительно мой племянник?

КОЗЛОВСКИЙ (торопливо). Действительно. Действительно. Я с вами поэтому и говорю сейчас так. Я же мог бы ничего не сказать.

ВАСИЙ. Что вы здесь делали?

КОЗЛОВСКИЙ. Я... я буду говорить с вами честоту. Вы должны попять меня, как бывший офицер, как дядя, как брат моей матери, наконец.

ВАСИЙ. Ну? Я вас слушаю.

КОЗЛОВСКИЙ. Я хочу вас спасти. Завтра же армии предпримут последнюю атаку города. Мы все погибнем. И вы погибнете, если...

ВАСИЙ. Если что, разрешите узнать?

КОЗЛОВСКИЙ. Если я не спасу вас и себя. Зачем вам погибать? Вы же с нами ни душой, ни телом. Зачем?

ВАСИЙ. Вы за тем и явились сюда под чужой фамилией, чтобы меня спасти?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет, не буду лгать. Не только за этим. Но и за этим. Да, за этим. Мы не должны забывать своей родни и крови. Я не забываю. Я знал, что вы здесь.

ВАСИЙ. Что же вы мне предлагаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Спастиесь.

ВАСИЙ. Позвольте спросить, как?

КОЗЛОВСКИЙ. К утру переплыть туда, там будет все готово. Вместе — вы и я. Вас хорошо встретят, я вам ручаюсь. Они поймут, что вы только по необходимости... Я уже говорил там о вас.

ВАСИЙ. Говорили?

КОЗЛОВСКИЙ. Да, говорил. Я говорил, что у меня здесь ляля, что он нам не враг, и что его нужно спасти.

ВАСИЙ. Так. А сюда вы пришли зачем?

КОЗЛОВСКИЙ. Оттуда переплыval человек. Я с ним говорил... Я хотел прергатьться туда с вами под утро, и договорился об этом. Я все равно хотел отсюда ити к вам, так что даже лучше, что мы встретились здесь.

ВАСИЙ. Весьма возможно.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы согласны?

ВАСИЙ. Мне надо подумать.

КОЗЛОВСКИЙ. Соглашайтесь. Другого выхода все равно нет. Вы выдадите меня, — и меня расстреляют. Я смерти не боюсь, иначе я сюда не переправился бы. Но что из этого? Погибну я, — через полдня погибнете вы: я — от руки русских, вы — от руки немцев. Зачем вам это? Что вам хорошего сделали они, чтобы из-за них губить и себя и меня? Если бы не все это, не эта революция, вы бы давно имели покой, уважение, вы были бы генералом, начальником. Но это неважно, не в этом дело. Дело в том, чтобы спасти сейчас. Ведь так? Вы согласны?

ВАСИЙ. А вы точно знаете, что завтра предстоит атака?

КОЗЛОВСКИЙ. Да, да. Точно.

ВАСИЙ. Хорошо. Пойдемте в штаб и там у меня спокойно обсудим, как лучше это сделать.

КОЗЛОВСКИЙ. Зачем? Что ж тут обсуждать?

ВАСИЙ. Как что? Вы говорите со мной, как мальчишкой. Если это делать, то делать, как следует. Надо захватить штабные документы, бумаги, карты. Если переходить, надо переходить так, чтобы ценили; делать это, как взрослые люди, как офицеры, начальник, а не как дети. Неужели же вы не понимаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Да. Вы совершенно правы, но...

ВАСИЙ. Но вы боитесь, что я вас там выдам? Я мог бы сделать это и здесь, не таская вас туда. Не вляпайтесь дурака. Сейчас придет караульный начальник, и пойдем. И скорей, потому что если делать — то делать, нам с вами нечего терять время. Кстати, вот вы — так называемый разведчик, а вы знаете, что сегодня, через полчаса у Южной балки должна туда перейти Амюценко? Вы сообщили это вашему лазутчику? Не догадались, наверно?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет, я догадался, я сообщил. Вы обо мне слишком плохо думаете.

ВАСИЙ. Ну, простите, если так, то это хороню.

Входят караульный начальник и красноармеец.

ВАСИЙ. Товарищ сержант, смените часового. Тут, очевидно, кто-то подплыпал к берегу. Я слышал всплески, а он ничего не слышал. Немедленно смените его я арестуйте.

КАРАУЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК. Есть, товарищ майор.

ВАСИН. Я взял у вас в караульном помещении карабин, возьмите его обратно. (Козловскому.) Ну, скорей. (Взглянув на часы.) До рассвета осталось три часа, пошевелигайтесь! (Скрывается.)

Конец пятой картины и второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина шестая

Штаб Сафонова. Ночь. За столом — очевидно, после ужина — Глоба, Панин, лейтенант Васильев. Шура убирает со стола. Глоба мурлычет себе под нос. Молчание. Лейтенант, вынув из кармана гимнастерки фотографию, разглядывает ее.

ГЛОБА. Это что у тебя?

ЛЕЙТЕНАНТ. Девушка.

ГЛОБА. А ну, дай.

Все молча, по очереди, смотрят на карточку.

ГЛОБА. Интересная из себя. (Передает Панину.)

ПАНИН. Да, красивая. (Отдает лейтенанту.)

ЛЕЙТЕНАНТ. Полгода не выдала. Забыла уже, наверно.

ГЛОБА. Дай-ка! (Смотрит еще раз. Отдает карточку.) Нет, не забыла.

ЛЕЙТЕНАНТ. Не забыла?

ГЛОБА. Факт. Очень симпатичная девица. Полное доверие у меня лично вызывает. Не забыла. Ты и беспокоиться брось.

ЛЕЙТЕНАНТ (смотрит на карточку. Панину). А у вас есть, товарищ старший политрук?

ПАНИН. У меня? Где-то есть.

ЛЕЙТЕНАНТ. Показали бы.

ПАНИН. Далеко где-то.

ЛЕЙТЕНАНТ. Показали бы.

ПАНИН (растягивается в карманах, вынимает карточку). Измаялась вся.

ЛЕЙТЕНАНТ (смотрит). Иль, какая!.. (Перевертышивает.) Прости-те, тут письмо... Я случайно...

ПАНИН. Ничего, тут ничего особенного не написано.

ЛЕЙТЕНАНТ. А глаза какие! Эта — ждет! Эта непременно ждет...

САФОНОВ (ходит, отряхиваясь). Дождь пошел. (Паузу.) Что, дом вспоминать потянуло? Далеко теперь твой дом, а, писатель?

ПАНИН. Далеко.

САФОНОВ. Глоба, а твоя где фотография, не вижу?

ШУРА. А ему, по его характеру, целый альбом нужно возить.

ГЛОБА. Вот это уж наверно, Шурочка. Человек я, правда, холостой, но, чтобы целый альбом возить, — это нет. Если возить, так это уж надо одну

какую-нибудь, чтобы сердце билось при взгляде, — например, хотя бы вашу. Но вы же мне не подарите?

ПУРА. Нет, не подарю.

ГЛОБА. Ну вот, видишь. Хоть у капитана, впрочем, тоже нет фотографии. То есть она могла бы тут рядом сидеть, да он все отсыпает ее от себя.

САФОНОВ. Ты же трогай этого. Знаешь же, что больше некого...

ГЛОБА. А хотя бы меня.

САФОНОВ. Твое время еще придет. Я тебя на крайний случай держу.

ГЛОБА. Это же какой же такой крайний случай?

САФОНОВ. Крайний случай? А вот если пропадет она, ты и пойдешь.

Молчанию.

Теперь еще отсидеться два дня — и порядок. (Панин у.) И придется тебе, начальник особого, сдать свои дела и опять в писатели податься.

ПАНИН. Да, в газете уже, наверное, думают, что пропал их собственный корреспондент... Когда мы соединимся, я напишу статью «Мой немец»: о том, как я убил первого немца своими руками, вот этими, которыми до войны только карандаши держал.

Быстро входит Васин, за ним Козловский.

ВАСИН. Товарищ капитан, перепряталась Алощенко?

САФОНОВ (взглядывая на часы). При мне нет, но сейчас уже, должно быть... А что?

ВАСИН. Где, у Южной башни?

САФОНОВ. Да, а что?

ВАСИН. Товарищ лейтенант, соедините со второй ротой! Быстро!

Во время последних слов Козловский, стоявший рядом с Васиным, выхватывает револьвер, но Васин, очевидно, незаметно следивший за ним, поворачивается, легким движением перехватывает ого руку и выворачивает ее. Револьвер падает.

Прежде чем брать в руки оружие, надо уметь с ним обращаться.

САФОНОВ. Что это значит?

ВАСИН. Сейчас, товарищ Панин, возьмите красноармейцев и выведите его отсюда.

ПАНИН (открыв наружную дверь). Дежурный! (Входит красноармеец.) Взять ко мне!?

ВАСИН. Нет, пока куда-нибудь слюда. И последите за ним.

ПАНИН (отворив дверь в соседнюю комнату). Идите. (Козловский не двигается.) Ну! (Козловский, Панин и красноармеец выходят.)

САФОНОВ. Что случилось, Александр Васильевич?

ВАСИН. Сейчас. (Лейтенант у). Соединили?

ЛЕЙТЕНАНТ. Есть. Соединили.

ВАСИН (в телефон). Задержите Алощенко, если еще не переправилась. Я спрашиваю: переправили или нет? (Паза.) Я знаю, о чем можно по телефону разговаривать и о чем нельзя. Переправили или нет? Понятно. Так. Переправили. Опоздал.

САФОНОВ. Александр Васильевич, может, объяснишь, все-таки?

ВАСИН. Так точно. Сейчас объясню. (Кивает на дверь, в которую увели Козловского.) Вот этот, мой племянник, объяснит. Пойдемте. (Проходят в ту же комнату.)

ШУРА. Иван Иваныч!

ГЛОБА. Ну?

ШУРА. Что же это? Неужели пропадет Валечка? А?

ГЛОБА (угрюмо). Молчи.

ШУРА. Неужели пропадет?

ГЛОБА. Молчи.

ШУРА. Неужели вам даже сейчас ее не жалко, что пропадет?

ГЛОБА (хватив кулаком по столу). Молчи об этом. Не будет этого!

САФОНОВ (показываясь в дверях). Глоба!

ГЛОБА. Да?

САФОНОВ. Глоба, одевайся в штатское. Скорей. Где оно у тебя?

ГЛОБА. В госпитале.

САФОНОВ. Беги. (Закрывает дверь.)

ГЛОБА. Вот и пришел мой крайний случай, Шурочка. (Идет к двери, обворачивается.) Там у тебя, наверно, из-под одеколона пузырек есть, так ты мне водки в него приготовь, чтобы, как переплышу, греться было чем. (Выходит.)

ШУРА (одна) (подходит к столу, где стоит ее машинка, роется в ящиках, достает флакон, задумчиво смотрит на него). Валечкин. Осталось немножко... Все равно теперь...

Входят Сафонов, Васин, за ними, между Паниным и красноармейцем, Козловский, без пояса, с сорванными петлицами.

САФОНОВ. Глоба ушел?

ШУРА. Да.

САФОНОВ. Хорошо. (Васину.) Ну что ж. Надо кончать. По-моему, все ясно.

ВАСИН. Я не видел его четырнадцать лет, и он значительно изменился. Но, все-таки, очевидно, мог бы узнать... если бы был внимательнее. Готов за это понести ответственность.

САФОНОВ. Да что там ответственность, Александр Васильевич. Подумаешь, из-за такой сволочи расстраиваться. Ну, племянник он тебе, ну и шут с ним. Расстреляем — и не будет у тебя племянника. Товарищ Панин! Пойди к себе, протокол составь. Только не долго занимайся. Ему до утра незачем жить, лишнее ему жить до утра. Понятно?

ПАНИН. Понятно.

Козловский, съежившись, стоит у стенки.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Пойдем!

КОЗЛОВСКИЙ (проходя мимо Васина). Я умру, но будьте вы прокляты!.. Вы... вы мне не дядя... вы...

САФОНОВ. Конечно, он тебе не дядя. Кто же захочет быть дядей такой сволочи.

Панин, красноармеец и Козловский выходят.

ВАСИН. Я подам рапорт, товарищ капитан, и буду просить расследовать это дело, со своей стороны...

САФОНОВ. А иди ты со своим рапортом, Александр Васильевич. Нам с тобой никогда рапорты писать, нам еще завтра драться нужно. (Опускает голову на стол, молчит.)

ВАСИН. Что с вами, Иван Никитич?

Сафонов молчит.

Что с вами, Иван Никитич?

САФОНОВ (глухо). Про мост она им не скажет, это мы поправим. Глобу понимаем. Она не скажет... А если... Все равно не скажет. А ты понимаешь, Александр Васильевич, что это значит — не скажет?

ДЕЖУРНЫЙ (открывает дверь). К вам из армии, товарищ капитан.

САФОНОВ. Из армии? Кто из армии?

ГАВРИЛОВ (входя). Капитан Гаврилов, из штаба сорок третьей.

САФОНОВ (поднимаясь ему навстречу). Здорово. Сафонов, капитан. На самолете?

ГАВРИЛОВ. Да. Признаться, замерз.

САФОНОВ. Давай, Шура, быстрей! И насчет чайку.

Шура что-то тихо шепчет ему на ухо.

Ну, что же делать. Все равно, давай из завтрашнего. Это насчет воды, — мол, воды нет. Ничего. Найдет. Садитесь, знакомьтесь. Кто прислал-то вас?

ГАВРИЛОВ. Генерал-майор Луконин.

САФОНОВ. Ну, как там?

ГАВРИЛОВ. Подходит.

САФОНОВ. Ишь ты! Значит, через день-другой здесь будете?

ГАВРИЛОВ. Похоже на то. Сейчас я вам вручу приказ.

САФОНОВ. Хорошо. Давно я приказов не получал. Устала у меня голова от самостоятельных действий.

Гаврилов передает ему приказ.

САФОНОВ (разрывая пакет). А мы тут вам навстречу сюрприз приготовили. (Тихо.) Мост должны сегодня к утру рвануть, все, что на той стороне лимана, у немцев, там и останется.

ГАВРИЛОВ. Мост?

САФОНОВ. Ага! (Читает приказ.) Так, так... Да... Вот опо какое дело. Что ж, придется мост... отставить придется мост, Александр Васильевич.

ВАСИН. Отставить?

САФОНОВ. Отставить. (Присвистнул, протягивает ему приказ.) Васильев!

ЛЕЙТЕНАНТ. Я!

САФОНОВ. Позвони командирам, кто на месте есть. Скажи, я собираю. (Гаврилову.) Они быстро. Небольшой у нас тут кусок земли остался, всех за полчаса собрать можно. Прочел, Александр Васильевич?

ВАСИН. Прочел.

САФОНОВ (тихо). Придется нам, кажется, с тобой, Александр Васильевич, отложить эту мысль — насчет в живых оставаться. А?

ВАСИН. Так точно.

ГАВРИЛОВ. Вам еще личная записка от генерала.

САФОНОВ. Вот оно как! Ну, давай. (Берет записку, читает про себя.) Иши ты! «Дорогой мой бывший водитель, а ныне капитан! — Это верно. — Вспомните Халхин-Гол». Что же вспомним. Ну, и там всякие еще слова. От генерала — приятно, а от старого знакомого — вдвойне. Ну, что ж, вспомним Халхин-Гол, вспомним, товарищ генерал. Авось никто нас не покинет. Будем живы — не покинет, умрем — тоже не покинет. (Входит Панин.) Ну что, закончили?

ПАНИН. Да. А насчет протокола...

САФОНОВ. Не надо, это теперь прошлое. Эти подробности мне теперь липши. Панин, вот получил я приказ. Армия к лиману подходит. Пемцы находятся прижатые к воде. И что была мысль взорвать мост у них в тылу, так теперь мысль эта неправильная. Вот товарищ капитан привез приказ оставить город, собрать все силы и захватить мост хотя бы на два часа. До подхода наших частей. Чтоб они по этому мосту потом дальше могли идти. Ясно?

ПАНИН. Ясно.

САФОНОВ. Ясно, но тяжело. Придется нам с тобой, Панин, с людьми говорить. Потому что взорвать мост — это пустяки рядом с тем, чтобы взять мост. Потому что люди устали, они уже надеялись, что им переждать теперь два дня, пока пани придут. — и все. А им еще надо теперь мост брать, жизнь свою класть за этот мост. Это объяснять надо людям. Понимаешь, Панин?

ПАНИН. Объясним.

САФОНОВ (Гаврилову). Это вроде как человек воюет полгода, потом ему отпуск назавтра дают, а перед отпуском за два часа говорят: иди опять в атаку. Вот для него эта атака самая тяжелая. Сделаем, но тяжело. Мост — это я лично на себя беру. А ты, Александр Васильевич, чтобы их с толку сбить, ты, что от второй роты осталось, — возьмешь и у Северной балки будешь вид делать, что прорваться хочешь. Но такой вид делать, Александр Васильевич, чтобы похоже было; чтобы они про мост забыли, совсем забыли, чтобы на тебя все внимание обратили.

ВАСИН. Значит, демонстрация?

САФОНОВ. Да, демонстрация. Но только ты забудь это слово. Люди всерьез должны у тебя идти: это не всякий выдержит, чтобы знать, что без надежды на смерть идешь. Это ты можешь выдержать, а другой может не выдержать. Вот Панин с тобой пойдет на комиссара.

ВАСИН. Я только опасаюсь, что они не попадутся на эту удочку.

САФОНОВ. Попадутся, я так придумал, что попадутся.

Входит Глоба в штатском.

Вот Глоба поможет, чтоб начались. Иди сюда, Глоба!

Глоба встает перед ним.

Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василья, передашь ему, что взрыв моста отставить. Ясно?

ГЛОБА. Ясно.

САФОНОВ. Сделаешь это...

ГЛОБА. И обратно?

САФОНОВ. Нет, сделаешь это и... потом пойдешь в пемецкую комендатуру.

ГЛОБА. Так.

САФОНОВ. Явившись к немецкому коменданту, или кто там есть из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулач, лишенец, депрессированный, — в общем, пойдешь, что сказать. Понятно?

ГЛОБА. Понятно.

САФОНОВ. Что угодно скажи, но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?

ГЛОБА. Понятно.

САФОНОВ. Так. И скажешь им, что бежал ты отсюда, от этих болгарянок, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что, ввиду близкого подхода частей, хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у Северной балки. Ясно? И в котором часу скажешь. Завтра в восемь.

ГЛОБА. Ясно.

САФОНОВ. Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут, но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, но ты стой на своем. Тогда они поверят. И тебя они держать как заложника будут: чтобы, ежели не так выйдет, то расстрелять.

ГЛОБА. Ну, а как же выйдет: так или не так?

САФОНОВ. Не так. Не так. Иван Иванович, выйдет, не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нету. Вот приказ у меня. Читать тебе его лишнее, но имей в виду: большая судьба от тебя зависит, многих людей.

ГЛОБА. Ну, что ж. (Пауз.) А помирать буду, песни петь можно?

САФОНОВ. Можно, дорогой, можно.

ГЛОБА. Ну, коли можно, так и ладно. (Тихо.) В случае чего, встречусь я с ней там, на одиннадцатом посажены будем, — что передать, что ли?

САФОНОВ. Что ж передать? Ты ей в лицо посмотри: если увидишь, что ей, может, это или к чему, то не говори; если увидишь — к чему, то скажи: прошу Сафонов передать, что любит он тебя. И все тут.

ГЛОБА. Хорошо.

САФОНОВ. Ну, что же...

ГЛОБА. Говорят, старая привычка есть: посидеть перед дорогой, на счастье. Давай-ка сядем.

Все садятся.

ГЛОБА. Шура!

ШУРА. Да?

ГЛОБА. Ну-ка, мне подстаканчика на дорогу.

Шура наливает ему водки.

ГЛОБА (выпив залпом, обращается к Гаврилову). Что смотришь, товарищ капитан? Это ведь не для храбрости, это для теплоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости мне песня помогает. (Пожимает всем руками. Дойдя до двери, поворачивается и вдруг запевает: «Соловей, соловей-пташечка». С песней скрывается в дверях.)

Молчание.

САФОНОВ. Ты слыхал, или нет, писатель? Ты слыхал, или нет, как русские люди на смерть уходят?

Конец шестой картины

Картина седьмая

Обстановка четвертой картины. Дом Харитонова. Хозяев нет. Столовая обраница в караульное помещение. Все опустошено. Пустоманная мебель, изорванные занавески, забытые портреты на стенах. Окна забиты снаружи крест-накрест деревянными планками. Одна из внутренних дверей обита железом и закрыта на засов. Через застекленный верх наружной двери от времени видны каска и штык часового. На сцене за столом Вернер с обвязанной головой и писарь Краузе.

ВЕРНЕР. Вы дурак, Краузе, потому что, когда взяли эту девицу, надо было сперва ее допросить (хлопнув, на оббитую железом дверь), а потом уже сажать с остальными.

КРАУЗЕ. Разрешите доложить, господин капитан, ее посадили с остальными, потому что вас не было.

ВЕРНЕР. Все равно, был я или не был, ее шельзя было сажать с ними. Теперь она говорит только то, о чем они говорились. Теперь она уверяет, что она была прислана к этой старухе, и все. А причиной этому только то, что вы дурак. Ясно вам это?

КРАУЗЕ (вставая). Так точно, господин капитан.

ВЕРНЕР. Введите ее.

Солдат вводит Валю. У нее измученный вид. Руки бессильно висят вдоль тела.

ВЕРНЕР. Я слышал, что вас избили?

ВАЛЯ. Да.

ВЕРНЕР. И вас опять изобьют завтра, так же, как и сегодня, если вы сегодня будете говорить то же, что и вчера. Но если вы скажете что-нибудь новое, то вас больные не будут бить, вас просто расстреляют. Вы слышите, даже не повесят, а только расстреляют. Даю свое солдатское слово.

Валя молчит.

Зачем вы переправились?

ВАЛЯ. Я уже сказала. Я переправилась сюда (говорит смертельно усталым тоном, видимо, заученные слова), чтобы успокоить одного нашего командира, чтобы сказать, что вскоре их всех освободят. Она сидит здесь, она может сказать, что я говорю правду.

ВЕРНЕР. Конечно, она может сказать это после того, как вы скажете, благодаря тому, что мой писарь — идиот. А зачем у вас с собой был браунинг? Для того чтобы передать ссыпавший подарок, что ли?

ВАЛЯ. Нет. Браунинг... я взяла его для того, чтобы застрелиться, если...

ВЕРНЕР. У нас не дают стреляться женщинам. Мы их избавляем от этого труда. Имейте это в виду.

ВАЛЯ (в с тем же смертельно усталым тоном). Я же скажу: я принесла к матери одного из наших командиров...

ВЕРНЕР (хлопнув по столу кулаком). Я слышал это! Краузе!

КРАУЗЕ. Да.

ВЕРНЕР. Давайте старуху.

Краузе вводит Марфу Петровну. У нее растрепанные седые волосы и руки висят так же неподвижно, как у Вали

ВЕРНЕР (Марфе Петровне). Для чего вот эта (кивает на Валю) приходила к вам? Должна была притти к вам, если бы мы не задержали ее?

Марфа Петровна молчит.

Сколько раз она у вас была?

Марфа Петровна молчит.

Вот сейчас без двух минут семь. Если до семи ты мне не отвтишь, будешь повешена. Все. (Откидывается на спинку кресла в позе ожидающего человека.)

МАРФА ПЕТРОВНА. Я вам отвечу, господин офицер. Если уж две минуты остались, то я вам отвечу.

ВЕРНЕР. Ну?

МАРФА ПЕТРОВНА. Я слыхала, что вы из города Штеттина, господин офицер.

ВЕРНЕР. Ну?

МАРФА ПЕТРОВНА. Хотела бы полететь к вам туда невидимо, в ваши город Штеттин, и взять ваших матерей за шиворот и перенести их сюда по воздуху и сверху им показать, чего их сыновья наделали. И сказать им: «Видите, вы, суки, кого вы народили! Каких жаб на свет родили! Каких вы гадюк на свет родили!» И если бы они своих сыновей не прокляли после того, то убила бы я их вместе с вами, с сыновьями ихними!

ВЕРНЕР. Молчать!

МАРФА ПЕТРОВНА. Молчу! Я тебе все сказала. Прошли две твоих минуты. Вешай.

ВЕРНЕР (смотрит на часы). Еще десять секунд. Я жду.

МАРФА ПЕТРОВНА. Нечего мне больше тебе говорить.

Пауза.

ВЕРНЕР (смотрит на часы). Ну? (Пауза.) Вывести и повесить.

Краузэ уводит Марфу Петровну. Она в дверях молча поворачивается к Валю и низко ей кланяется. За дверью передав ее солдатам, Краузэ возвращается. Пауза.

ВЕРНЕР (взгляднув еще раз на часы). Ну, вот сейчас ее повесят. Да, да, через минуту. Только потому, что ее сейчас все равно повесят, я разрешил ей сказать то, что она сейчас сказала. Вы будете говорить?

ВАЛЯ. Я уже вам сказала, меня прислали сюда от одного из командиров, чтобы сказать...

ВЕРНЕР. К кому вы сюда шли?

ВАЛЯ. Я уже сказала.

ВЕРНЕР. Хорошо. Значит, вы взяли браунинг на тот случай... Я сам, правда, не одобряю этих слушаев, но вот Краузэ, он их любит. Когда вы сменитесь с дежурства, Краузэ, вы можете взять ее к себе под домашний арест. Ясно?

КРАУЗЭ. Ясно, господин капитан.

ВЕРНЕР. Он сменится с дежурства в десять, если вы, конечно, до этого не передумаете.

СОЛДАТ (в ходя). Господин капитан, явился перебежчик. Разрешите?
ВЕРИЕР. Давайте его.

Входит Глоба.

ВЕРИЕР. Откуда?

ГЛОБА. Оттуда, господин офицер, сам перешел.

ВЕРИЕР. Кто вы?

ГЛОБА. Я фельдшер. Глоба моя фамилия.

ВЕРИЕР. Салитесь.

ГЛОБА. Покорно благодарю, господин офицер.

ВЕРИЕР. Почему перешли?

ГЛОБА. Да что же, господин офицер, своя рубашка ближе к телу. Не пропадать же всем русским людям через этих большевиков.

ВЕРИЕР. Ну, говорите, что вы хотели сказать. Наверное, что-то хотели?

ГЛОБА. Конечно, господин капитан. Я во сне видел, как уйти оттуда, они у меня все отняли. Сам лет пять сидел, а теперь через них же и пропадай. У меня сообщение важное есть, но только вот (оглядывается на Валю).

Валя молча, с ненавистью, оглядывается на него.

ВЕРИЕР. Ничего. Ее сегодня все равно... Можете при нее.

ГЛОБА. Разрешите папирюшку, господин офицер.

ВЕРИЕР. Краузе, дайте ему папирюсу.

ГЛОБА (закуривая). Покорно благодарю! (Тихо, перегибаясь через стол.) Господин офицер, у них воды совсем больше нет. Патрон нет. Они решили, кто здоровы, особенно из начальства, сегодня к ночи у Северной балки вдоль лимана пробиваться. Они ночью атаку там думают делать. Они думают, что не ждет немец этого, — то есть, простите, не ждет, значит, вы этого... и вот хотят.

ВЕРИЕР. Это правда?

ГЛОБА. Истинная правда, господин офицер. Я как только узнал, так сразу же и перебежать решил, потому что, думаю, ежели так просто, то, может, и расстреляете вы меня, а ежели сообщение я принесу, то вы сразу, что я человек преданный, увидите.

ВЕРИЕР. Когда это должно быть?

ГЛОБА. Скоро, в восемь часов.

ВЕРИЕР (задумывается, вынимает из плащета карту). Подите сюда. Здесь?

ГЛОБА (заглядывает). Так точно, здесь.

ВЕРИЕР. А чем вы можете доказать?

ГЛОБА. Так через полчаса же начнется. Сами увидите.

ВЕРИЕР. А вы знаете, что русские подошли к самому лиману? Слышили?

Слышна канонада.

ГЛОБА. Слышу, господин офицер. Так ведь это же тут. А у меня домик был под Винницей. И жена там, и все. Я через вас только туда и попасть могу. А что все правда, вы же сомневайтесь. Я же у вас, господин капитан. Вы, если что, меня раз-тва — и готово. Это же мне вполне ясно.

ВЕРНЕР. Да, это должно быть вам ясно, очень ясно. Краузе, уведите их.

Краузе выводит Валю и Глобу в комнату с железной дверью, возвращается.

А теперь соедините меня со штабом.

Краузе берется за телефон.

КРАУЗЕ. Готово, господин капитан!

ВЕРНЕР (по телефону). Господин майор, тут прибыл перебежчик оттуда — из той половины города. Он заявляет, господин майор, что у них ни воды, ни патронов, что они отрезаны от своих и не знают, что происходит на самом деле. Он сообщает точные сведения. Сегодня в восемь они будут пробовать прорваться из города у Северной балки, вдоль лимана. Он сообщает, что это должно начаться в восемь часов. Да. Да. Но-моему, взять туда четвертую роту от моста. Да. Ну, что ж, на мосту останутся два взвода, и потом... потом они никогда не решатся из города ити на мост... Да, конечно, проверю. Слушаю. Будет сделано. (Кладет трубку, встает.) Краузе! Сегодня вы им дадите есть. Ясно?

КРАУЗЕ. Ясно.

ВЕРНЕР. Вы вызовите их сюда, дадите им по куску, и, когда подойдет этот Семенов, вы передадите ему с куском незаметно эту записку. Это уже не в первый раз, он поймет.

КРАУЗЕ. Может быть, просто вызвать его одного, господин капитан?

ВЕРНЕР. Это слишком просто. Это просто для нас, но просто и для них. Мы его спросим через час. (Паузу.) Да, когда дадите им хлеб, до моего прихода оставьте их здесь. Здесь у них скорее развязнутся языки. А сами, сами выйдите и посмотрите через эту дверь.

КРАУЗЕ. Хорошо, господин капитан.

Вернер выходит.

КРАУЗЕ (отворив железную дверь). Эй, вы! Идите сюда.

Выходят Семенов, Глоба и Валя.

КРАУЗЕ (взял тарелку с несколькими кусками хлеба). Берите хлеб. Господин комендант приказал вам выдать хлеб. (Вале.) Вы берете?

Валя молчит.

КРАУЗЕ (швыряет к ее ногам кусок хлеба. Глобе). Вы?

Глоба подходит и берет хлеб. Краузе подходит к Семенову и дает ему хлеб в руки. Семенов ест хлеб, стоя спиной ко всем. Глоба внимательно смотрит на него. Краузе выходит.

ВАЛЯ (тихо). Ну Иван Иваныч, скажите, что это неправда, что вы это все придумали. Скажите, мы же здесь все свои, а?

ГЛОБА (громко). Отстань ты. Довольно я там унывался. И теперь за все отплачу. За твои шакости. За дом мой поломанный. За тюрьму, где я сидел, за все.

ВАЛЯ. Какой же вы мерзавец. Если бы я только знала! Я бы вас убила! И Иван Никитич убил бы!

ГЛОБА. Ну, это если бы да жабы... А теперь руки коротки.

ВАЛЯ (Семенову). Товарищ, вы слышите, что он говорит. Ведь вот он же сейчас пришел и всех выдал и рассказал, как наши хотят из города выйти, и где, и когда. Они все погибнут из-за него. Если бы у меня что-нибудь было. (Подходит близко к Глобе, с трудом поднимает руку.) Вот! (Ударяет его. Глоба с силой отталкивает ее. Она погнулась, садится на стул у стены.)

Долгое молчание.

ГЛОБА (заметив, что Семенов отвернулся, подходит к Вале, тихо толкает ее). Валя!

ВАЛЯ (тромкое). Что?

На ее голос оборачивается Семенов.

ГЛОБА. (меняя тон). Вот что я вам скажу, барышня. Вы не очень! Я не люблю, когда меня руками трогают. Это я вам, конечно, на первый раз навыки женской слабости прошу. А там, имейте в виду, и до вас руками коснуться можно.

ВАЛЯ. Как я могла раньше не догадаться? Вы же всегда такие зенцы говорили, что мне противно было. Вот вы какой. А я не догадалась.

СЕМЕНОВ (быстро подойдя к ней). А ты не огорчайся! (Кивнув на Глобу.) Это же свой товарищ, это же он так. Для осторожности. (Глобе, сердито.) Что ты в самом деле дурака валяешь? Что мы, немцы, что ли? Всем нам один конец. Что же, до самой смерти, что ли, теперь друг друга подозревать? Смотри, до чего ее довел. С заданием ведь перешел? Я-то знаю, как это бывает.

ГЛОБА. А если ты, знаешь, куда? Все вы думаете, что для вас с заданиями ходят. Жить я хочу. Понятно? Вот и все мои задания. Ничего мне такого вранья советская власть не дала, чтобы помирать мне за нее.

ВАЛЯ (Семенову). Они у меня все руки вышибнули. Ну, ударьте же вы его, ради бога, чтобы почувствовал он, какой он гадюка.

Семенов подходит к Глобе и замахивается.

ГЛОБА (выкрутив ему руку). Ну, ну, потиши, а то я сейчасльверь стулу, скажу немцам, что ты тут партизанскую войну разводишь. Я им, знаешь, какие сведения привнес? Они тебе за меня ноги переломают. (Науда. Внимательно смотрит на оставшиеся от Харитонова старые дубовые часы с маятником. На часах ровно восемь.) Что, часы правильные?

Все молчат.

Часы, говорю, правильные?

СЕМЕНОВ. А что тебе часы? (С интересом.) Зачем тебе, который час знать надо?

ГЛОБА. Я спросил, часы правильные? И больше я вопросов к тебе не имею, так что молчи. (Прислушивается.)

Из тишины доносятся первые далекие выстрелы.

Свет гаснет.

Конец седьмой картины

Картина восьмая

Обстановка пятой картины. Берег лимана. Тревожная музыка близкого боя. Два красноармейца, поддерживая, вводят на сцену Васина. Сажают его.

ПЕРВЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ. Ну, как, товарищ майор?

ВАСИН. Ничего.

ВТОРОЙ КРАСНОАРМЕЕЦ (отодрав рукав рубашки, перевязывает Васина у грудь). Ишь, как бежит. Сейчас я стяну, товарищ майор, потуже: оно легче будет.

ВАСИН. Кого-нибудь из командиров ко мне.

ПЕРВЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ. Сейчас, товарищ майор. (Уходит.)

ВАСИН. Седьмая и, кажется, последняя.

Входит Панин.

Кто это?

ПАНИН. Панин.

ВАСИН. Седьмая и, кажется, последняя. Как там, товарищ Панин?

ПАНИН. Немцы, видимо, ждали. Их много. Были готовы и встречают.

ВАСИН. Это хорошо. Хорошо, что встречают. Очень хорошо, что встречают...

(Паза.) А от капитана никого нет?

ПАНИН. Пока нет. Что прикажете делать, товарищ майор?

ВАСИН. По-моему, нам приказ не меняли: наступать. Сейчас третий взвод подойдет, поведете его.

ПАНИН. Есть.

ВАСИН. Вместо меня примите команду.

ПАНИН. Есть.

ВАСИН. Кажется, слышно кто-то от моста... а?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Так точно. Слышно, товарищ майор.

ВАСИН. Я уже плохо слышу. Сильно стреляют, а?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Сильно, товарищ майор.

ВАСИН. Это хорошо.

Вбегает лейтенант.

ЛЕЙТЕНАНТ. Где майор?

ВАСИН. Я здесь. Откуда?

ЛЕЙТЕНАНТ. Товарищ Сафонов просил передать, что наши уже у самого моста. Уже идет бой. Вы можете отходить.

ВАСИН. Хорошо! (В другом голосом.) Последний раз в жизни хочу сказать: слава русскому оружию! Вы слышите: слава русскому оружию! (Панин.) Прикажите начать отход! (Лейтенанту.) А капитану передайте, капитану передайте, что... (Опускается на руки красноармейца.)

Панин наклоняется над ним, потом выпрямляется, снимает фуражку.

ПАНИН. А капитану передайте, что майор Васин пал смертью храбрых, сделав все, что мог, и даже больше, чем мог. И еще передайте, что команду над ротой принял начальник особого отдела Панин. Можете идти.

Конец восьмой картины

Картина девятая

Обстановка седьмой картины. Свет загорается снова, на часах десять. Глоба попрежнему ходит по комнате. Валя полулежит на стуле. Семенов из своего угла внимательно наблюдает за обоими. Слышна близкая канонада.

ГЛОБА (прислушивааясь). Десять... Что ж, десять — хорошее время. Подходящее.

СЕМЕНОВ. Для чего?

ГЛОБА. Для всего. Сматря, что кому надо. Совсем забыли о нас хозяева. Видать, не до того им, а?

СЕМЕНОВ (угрюмо). Не знаю.

ГЛОБА. Не знаешь? А я думал, как раз ты и знаешь.

За стеной раздаются совсем близкие выстрелы и пулеметная трескотня.

СЕМЕНОВ (испуганно). На улицах стреляют, а? Уже на улицах!

ГЛОБА. А чего ты боишься? Это же ваши, небось, стреляют. Небось, в город входят! Это мне бояться надо. А тебе что?

ВАЛЯ. Неужели пришли? (Семенову.) Паши идут, а?

СЕМЕНОВ. А ну тебя... (Прислушивается.)

ГЛОБА (подходя к нему). Ты что же? Тебе что, не нравится, что ли?

СЕМЕНОВ. Отстань. (Прислушивается.)

ГЛОБА. А ну, повернишь-ка!

Семенов поворачивается.

Дай-ка я на тебя посмотрю, какой ты был? Так. Ну, а теперь, какой будешь? (Бьет его по уху.) А это — для симметрии. (Снова бьет по уху, и третьим ударом валит на пол.) А теперь лежи, тебе ходить по земле нечего. Привыкай лежать. Расстреляют — лежать придется.

ВАЛЯ. Что вы делаете?

ГЛОБА. А то и делаю, Валечка, что морду ему бью, сволочи. Паши в город ворвались. Теперь кощена моя конспирация. А то, значит, что немцы тикают. И сейчас нас стрелять будут. Это уж точно, это у них такая привычка. И не хочу я перед смертью, чтобы ты меня по ошибке за сволочь считала. Вот, что значит!

ВАЛЯ. (бросаясь к нему, обнимает его). Иван Иванович, милый! Иван Иванович!

ГЛОБА. Ну, чего?

Валя молча прижимается к нему.

Ну, чего там? Чего расплакалась? Как на меня кричать, — так не плакала. А теперь в слезы? Сердитая ты, девка. Я думал, глаза мне выпариваешь.

ВАЛЯ. А я так измучилась. Если бы вы только знали, как измучилась.

ГЛОБА. А я — на тебя глядя. Ничего, Валечка, ничего. Ты уж извини. Мы еще с тобой сейчас «Соловей, соловей-пташечка» споем. Только ты, голуба, имей в виду, сейчас расстреливать придут. Это уже неизменно.

ВАЛЯ. Пускай, это пускай. Мне уж теперь все равно... Но папки, наши ведь войдут?

ГЛОБА. Войдут! А как же! Потому нас и расстреляют, что наши непременно войдут. Это, как пить дать.

Семенов порывается к двери.

ГЛОБА (опять сваливает его на пол). Ну, куда? Ты же сидел с нами, ты еще сиди. Тебе же немцы с нами сидеть велили. Ну, и сиди. (Обращаясь к Вале.) Ты что же? Слезы-то вытири. Ну их к черту. Мне их показать можно, а им, сволочам, не надо. Дай-ка я тебе в глаза погляжу. (Смотрит.)

ВАЛЯ. Что?

ГЛОБА. Мне Иван Иванович наказал: в глаза тебе посмотреть и сказать, если вместе помирать будем, одно слово.

ВАЛЯ. Какое слово?

ГЛОБА. Что любит он тебя, просил сказать. Вот и все. Больше ничего.

ВАЛЯ. Правда?

ГЛОБА. Что ж, разве я перед смертью неправду тебе скажу?

Совсем близкие выстрелы. Дверь с треском открывается, вбегают Краузе и солдат с автоматом.

КРАУЗЕ. Все в камеру.

ГЛОБА (обняв Валю за плечи). Пойдем! (Проходят в камеру.)

КРАУЗЕ. Быстрей! (Семенову.) Ты!

СЕМЕНОВ (бросаясь к нему). Господин Краузе... я же ваш. Вы же знаете. Меня нарочно сюда...

КРАУЗЕ (отпихивает его сапогом). В камеру!

СЕМЕНОВ. Подождите! Я должен вам сказать очень важное.

КРАУЗЕ. Ну, быстрей!

СЕМЕНОВ. Этот человек: он — их. Он все лгал.

КРАУЗЕ. Теперь нам это все равно. В камеру!

СЕМЕНОВ (хватает его за руку). Господин Краузе, позовите хоть господина капитана, я сам его позову! (Бросается к наружной двери. Когда он оказывается на пороге ее, Краузе стреляет ему в спину. За дверью слышно падение тела.)

КРАУЗЕ (солдату). Ну!

Солдат, подойдя к двери камеры, выпускает винт в ее автоматическую очередь. Оттуда слышен голос Глобы, пьющий: «Соловей, соловей-пташечка, канареечка жалобно поет... Эх, раз, эх, два!..»

КРАУЗЕ. Ну!

Солдат выпускает вторую очередь. Короткая тишина. За окном близкая трескотня выстрелов. Краузе и солдат выбегают. Снова выстрелы, потом долгая тишина. В дверях камеры появляется Валя. Она трогает себя за плечо, за руку. Рука не действует. Видимо, она ранена в плечо и в грудь. Прислоняется к стенке.

ВАЛЯ (обращаясь назад, в камеру). Иван Иванович, Иван Иванович.

Тишина.

Иван Иванович, Иван Иванович, вы живой? (Молчание.) Иван Иванович, милый, что же это? Смотрите, а я живая. (Молчание.) Неужели я одна живая? (Молчание. Опускается на кресло у стены.)

Слышны выстрелы и грохот шагов. В комнату вбегают красноармейцы и Гаврилов.

ГАВРИЛОВ (останавливается в дверях). Товарищи!

Молчание. Он всматривается.

Товарищи, есть тут живой кто?

ВАЛЯ. Я.

ГАВРИЛОВ (подходит к ней). Это что? Это они сейчас вас, да?

ВАЛЯ. Да, да. Чего-нибудь перевязать... Или нет. Вы сперва посмотрите, может быть, он там живой... Он меня собой заслонил, когда они... но, может, он все-таки живой, а?

Панченко проходит в камеру, возвращается, качает головой.

ГАВРИЛОВ. У меня индивидуальный пакет есть. Я вам сейчас дам.

ВАЛЯ. Дайте. Это наши совсем вошли, да?

ГАВРИЛОВ. Совсем.

ВАЛЯ. А с ним ничего?

ГАВРИЛОВ. С кем?

ВАЛЯ. С Сафоновым?

ГАВРИЛОВ. Ничего. Он такой мужик, бессмертный. Пате, вот блин.

Валя пробует перевязать себя здоровой рукой, и не может. В комнату

входит Сафонов в сопровождении лейтенанта
и красноармейца.

САФОНОВ. Ну, вот тут ихняя комендатура была. Тут у них арестованные
где-нибудь поблизости... (Замечает происходящую сцену.)
Валя!

ВАЛЯ. Я...

САФОНОВ (одному из красноармейцев). Давай кого есть врача, или Шуру. Давай скорей. (Бросается к Вале.) Что это? Что ты молчишь?

ГАВРИЛОВ. Должно быть, сознание потеряла. Только что говорила.

САФОНОВ (берет ее за руку). Правда? Пройдет? Будет она живая, а, Гаврилов?

ГАВРИЛОВ. Будет. Она-то будет. (Кивая на дверь камеры.) А воин там...

САФОНОВ (вскочив, проходит в камеру, возвращается с обнаженной головой). Глоба... Потиб Глоба... Хороший был человек. Ты его мало знал. (Вытирает глаза рукавом.) Много у меня потерять, Гаврилов. Почти сил нет все это выдержать. Но надо.

Бегает Шура.

ШУРА. Ой, Валечка! Господи ты, боже мой...

САФОНОВ. Не кудахтай. Перевяжи лучше, пока врача нет. (Подходит к столу, наливает стакан воды, возвращается к Вале.) Вот воды ей дай... (Он ходит.) Скажи, пожалуйста, Глоба погиб, а?

На пороге появляется Луконин с адъютантом.

САФОНОВ (поворачиваясь). Товарищ генерал-майор...

ЛУКОНИН. Не надо, не докладывайте. Все, что можешь доложить, знаю. Здравствуй! (Обнимает его.) Здравствуй, Сафонов. С разных сторон в одном месте сошлись. Такая встреча — к счастью. (Отстраняется от себя Сафона в.) Э, брат, да ты постарел. Вон ты какой стал!

САФОНОВ. А что?

ЛУКОНИН. Скоро, брат, меня догонишь. (На мгновение снимает фуражку с головы. Голова у него совсем белая.) Видел? Скоро догонишь. Ну, что же, поскольку ты тоже город брал, придется тебе пока тут комендантом гарнизона быть. Но это не надолго, мы дальше пойдем. Теперь уж точно.

САФОНОВ. Точно?

ЛУКОНИН. Точно. Ты же меня знаешь, — как сказал, так и сделаю. (Улыбнувшись.) Если даже лишнее скажу, и лишнее потом сделаю. (Адъютанту.) Ну-ка, на этот стол давай карту. Что стоишь, Сафонов? Садись.

САФОНОВ. Горе у меня, товарищ генерал-майор.

ЛУКОНИН. Ну?

САФОНОВ. Народу много пропало. Хорошие люди были.

ЛУКОНИН. Ну, что же сделано. Многих нет. Ничего не сделаешь. Савостьянова помнишь, на Холхин-Голе?

САФОНОВ. Номни.

ЛУКОНИН. Погиб недавно.

САФОНОВ. А Гулиашвили?

ЛУКОНИН. Живой. Два раза ранили его, оять воюет. Тут, по соседству. (Адъютанту.) Фамилии товарищей, которых немцы здесь повесили, узнали?

АДЬЮТАНТ. Узнали.

ЛУКОНИН. Завтра будем похороны делать. Последнее слово скажем погибшим товарищам. Последнее прости... (На узах.) Так как же фамилии?

АДЬЮТАНТ (читает). Антонов Иван Николаевич, Петрова Анна Сергеевна, Синцов Петр Андреевич, Неизвестный, Никольский Василий, — это мальчик, — Полуяров Антон Андреевич, Сафонова Марфа Петровна, Ганыкин Алексей Тимофеевич, Дубов Семен Иванович...

ЛУКОНИН. Что с тобой, Сафонов?

САФОНОВ. Ничего. Ничего, товарищ генерал-майор. Ничего. (Вставая и выходя на авансцену.) Ничего такого. Только очень жить я хочу, долго жить. До тех пор жить, пока я последнего из них (схватив из рук адъютанта список), которые это сделали, своими глазами мертвыми не увижу. Самого последнего, и мертвым. Вот здесь вот, под ногами у меня.

Занавес

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СТИХИ

Эти стихотворения, за исключением стихотворения «Красная Армия», написаны осенью 1941 года, в те достопамятные, драматические дни, когда немецкие орды неудержимо шли к Ленинграду. Тогда народное отчуждение широким потоком влилось в ряды армии. Тогда началась бомбежка города, и героические отряды ПВО стали бороться против воздушных пиратов. Тогда явились на подступах к Ленинграду батальоны Бондарева, отразившие попытки немцев прорваться к городу.

И они не прорвались. Ленинград есть и был недоступной для врага крепостью. В те дни осени он был полон неиссякаемой творческой энергии и воли к победе.

КРАСНАЯ АРМИЯ

В ее тени играли наши дети,
Нося шумели, жили города,—
Нет армии любимее на свете,
Хранительницы мира и труда.

Пройди весь свет, проверь всех
армий славу,
Пересмотри бывшие времена,—
Нет армии, которая была бы
С народом сильнее больше, чем она...

Немецких орд железнная комета
Явилась на наших рубежах,—

Нет армии, которая бы, как эта,
Комету эту бросила во шраф.

И яростная битва зажигала,
Как никогда, безумна и грозна,—
Нет армии, которая бы имела
Вождя вождей такого, как она.

Народам сон освобожденья спится
В истерзанной Европе наших дней,—
Нет армии, которая сражнится
Свою правдой с правдою твоей!

НАРОДНЫЕ ОПОЛЧЕНЦЫ

Г полногной избы и до юга страны
в усыпальни Сталина речь.
Га речь пронеслась над полями
об пародное сердце захвачь.
войны
Знамя, № 5—6

И послоду появлялся советский народ,
Ополченец оружье берет,
Как в году десятиадцатом выйдя в
поход,
Как в великий двенадцатый год.

И, оставив труды свои, дом и уют,
В перекличке уже боевой
Ленинградские люди к оружью
всталют,
Над священной и волынкой Невой.

Снова светит нам солнца геройского
лик
Дней ли Пулкова дальний костер,
Снова ленинский видится нам
броневик,
Над которым от руку простер.

Снова Киров идет, проверяя шансы,
Ополченцев обходит ряды,
Слово Сталина снова летит с высоты,
С Красной Горки, с приморской
тряды.

II боец запевает о городе несль:
Мы не будем о битвах гадать,
Мы родились, любили, работали
здесь —
Этот город врагу не видать!

Пусть тянет руку дерзкий враг
К нам в ленинградские пределы,
Их много было, тех воят,
Чья рать войти сюда хотела.
На шеприступом берегу
Обрубим руку врагу.

На крыльях черные кресты
Грозят нам пынче с высоты.
Мы станем звезд на них юшлем,
Мы их тащить в небе будем,
Мы те кресты перечеркнем
Зенитным росчерком орудий.

Стой, ленинградец, на посту,
Смотри в ночную высоту,
Ищи врага на небосклоне,

С тобой на вахте боевой
Стоит великий город твой
И днем и ночью в обороне!

Проверь и крышу, и подвал,
Забудь, как мирно почевал,
Забудь беспечность и веселье,—
Пускай сейчас как крепость дом —
Он вспыхнет радостью потом —
В победы нашей новоселье!

Паш город! В нем увидишь ты
Зажатки ленинской черты,
Пеиссякаемую волю —
Вглядись: в нем — сталинская статы
Не может в битве он устать,
Врата он к бегству привелот!

В лесах, на полянах на министых,
Пылают бои у реки,
Там Бондарев тонит фашистов,
Радыгина блещут штыки.

Как огненным чешет рубанком
Нарышкин — орудий огном,
И танки ведет Колобанов
С фашистской колчая броней.

Взлетевших из черных просторов
И вздумавших взять нас легко —
Тащит врагов Харитонов,
Сжигает их в небе Брилько.

II славе такой не забыться,
И море гремит в берега,
Орлиное племя балтийцев
В атаку идет на врага.

Парода встает ополченье,
Несчетные видны полки,
И залпов несчетно свеченье,
Несчетные светят штыки.

Трии же, фашист, головою,
Гляди, обалделый солдат,
Как море шумит грозовое,
Шумит грозовой Ленинград.

Но все это только начало,
Та буря копилась давно,
То море уже закачалось,
Уже не утихнет оно.

Всей кровью фашистской, черной
Той бури врагам не залить —
Так жги их, пали гром рукотворный,
Гроза ленинградской земли!



Враг ломится в шанцы ворота,
В страну нашей светлой зари,
Учись же владеть шлеметом,
Вызовку, приятель, бери!

Мы жили, товарищ, богато,
Позарился враг на добро —
Бери же на пояс гранату,
И острое пусть серебро.

Мы мирно трудились все вместе,
А враг подобрался тайком —

Так бей его шулей на месте,
Коли его крепче штыком.

Победа! Наш клич и награда,
Врагу не сносить головы,
Выходят полки Ленинграда,
Полки светозарной Москвы.

Пусть трусу не будет прощенья,
Пусть множится доблесть в борьбе,
Пусть песня народного мечтания
Заменит все песни тебе!

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

ПОДХОДЯЩИЙ СЛУЧАЙ

Древушка была крохотная, и, что называется, на отшибе. Ютилась она в пустом лесу, вдали от больших дорог.

Немцы, продвигаясь вдоль автострады, прошли и не заметили этой деревни. Там оставалась она больше месяца в глубоком немецком тылу нетронутой.

Сильные мужчины и женщины ушли партизанить, а старухи остались. Они постановили: печай днем не топить, чтобы не обнаружить себя пылом, и никому не разрешали выходить за окопицу, чтобы не было трои. Постепенно дороги занесло снегом, пушнистым, сдобным, нетронутым.

И вот стукнули наши бойцы немцев. Дороги стали проходить на свалку, где вперемежку с разбитыми немецкими танками валялись мороженые трупы солдат. Немцы кипулись в лес. Небольшой отряд их набрел на притаившуюся деревеньку и занял ее. Уже неделю жили немцы в деревне; свою вшивую одежду они выбросили на мороз, оделись во все хозяйское, целыми днями парили в горячей воде ноги с обмороженными, подгнившими нальцами, резали скотину и скрали.

Немцы начали погромы, разбои и расстрелы населения. Они успели расстрелять трех колхозников и одного повесили — Аркадия Григорьевича Мальцева. Повесили в коровнике, потому что на улицу им для этого дела выходить не хотелось — было очень холодно.

Жители деревушки каждый день ждали прихода Красной Армии. Они тайком связывались с партизанами и готовились уничтожить немецких оккупантов.

Ефрейтор Кузьмин тоже случайно набрел на эту деревушку с четырьмя своими разведчиками. Деревушка, затороженная снегом, стояла, так поживая.

— Вот интересно, — сказал Кузьмин, — дома все целые, а людей не видно, словно заклеяли — они тут в снегу.

И, приказав бойцам ждать его, пошел один в деревню.

Не успел он дойти до гумна, как навстречу ему лопаслась пожилая женщина. Она писала на коромысле мокрое белье. Остановил ее Кузьмин и спрашивал:

— Скажите, пожалуйста, граждантка, какая у вас здесь власть?

Женщина сердито на него посмотрела и говорила:

— Известно какая, советская.

Кузьмин обрадовался и спрашивал:

— А где тут у вас отдохнуть и закусить можно?

— А много вас?

— Много.

Женщина задумалась, потом сказала:

— Хорошо, мы согласны вас принять, только вы немногу погодя зайдите со своими людьми, а мы пока хаты приберем.

Кузьмин ушел за бойцами, и когда он слова вернулся в село, то увидел из улице человек тридцать народу и знакомую женщину. В руках у нее было знамя, на нем напись: «Да здравствует 1 Мая».

Кузьмин подошел, поздоровался, и, указав на знамя, спросил:

— Что это, товарищи, у вас за праздник?

Ему сказали:

— Да как же не праздник, когда к нам Красная Армия слова привела. Зовите, товарищ командир, ваших бойцов. Мы все подготовили для их встречи.

Кузьмин, показав на своих четырех разведчиков сказал:

— А вот и все мои бойцы.— И тут он увидел, как граждане, словно расстягившись, стали встревоженно шептаться между собой.

Кузьмин спросил:

— В чем дело?

Тогда женщина ему обиженно сказала:

— Зачем вы нас обманули, товарищ командир? Вы сказали, что вас много, а вас все же много. А мы из-за вас сейчас своих немцев порезали. Чего ж нам теперь делать?

Кузьмин задумался, потом улыбнулся и сказал:

— А чего вы сейчас с ними делали, то и делайте.— Потом серьезно добавил: — Только, я думаю, больше вам хуостничать не придется. Ведь я вас не сильно обманул. И хотя немцы здесь еще бродят, только вы теперь не у них в тылу находитесь, а у нас. Потому что Ильинское давно уже в наших руках, и там наши главные силы.

Все закричали «ура» и после митинга шевели бойцов к себе обедать. А прожилая женщина, шагая рядом с Кузьминым, твердым голосом сказала:

— А ведь я вас тоже по обманывала, товарищ, когда сказала, что у нас советская власть. Хоть немцы у нас тут и были, но я, как председательница, давно их обсудила с народом, только вот подходящего случая ждали. Ну и дождались!

УЖИН НА РАССВЕТЕ

К вечеру немцы были выбиты из села. Первая рота ворвалась с западной окраины, вторая — с юго-восточной, третья находилась в засаде. Но остатки немецкого отряда бросились не к большинку, как рассчитывал командир роты, а, прорвав цепи, ушли по целине.

Командир батальона вошел в первую яблоневую избу, разложил на столе карты и сел за стол, злой, пахмуренный, не снимая шапки.

Хозяйка, прожилая, высохшая женщина, с каким-то молитвенным восхищением смотрела на озабоченное, в трубых, резких морщинах лицо командира и все никак не решалась сказать, что шепух, которого она целый месяц прятала от немцев в подполье, уже зажарен и не пора ли его подавать.

И когда командир, перекладывая листы карты, уронил карандаш, женщина поспешно наклонилась и, шаря по полу в поисках карандаша, жарко, обрадованно зашептала:

— Голубчики вы наши, спасители...

Командир, смущившись, сказал:

— Зачем это вы, трахданочка, я и сам мог...

— Милый ты мой,— загримитала женщина,— да ведь радость-то какая! — И, став вдруг смелой, она сняла со стола карты и, вытащив из печи протиженя с жареным нетухом, все с той же любопытной жадностью, заговорила:

— Кушайте, товарищ командир, поправляйтесь, чтоб извергов, плачей паних...

Командир поморщился так, словно ему не нетуха предлагали, а жареную собаку, и, пробормотав что-то невнятное, вышел из хаты на улицу.

Приказав связному вызвать командира третьей роты Савчука, комбат сел на заснеженную скамью, стал жадно курить.

Ночь была чистая, морозная, и снег сверкал так, словно фосфоресцировал.

Немного погодя пришел командир третьей роты Савчук. Коренастый, широкоплечий, в белом покоробившемся маскокомбинезоне с капюшоном, он походил на водолаза. Но лицо у него было явно встревоженное.

Комбат встал и сказал глухо:

— Люди нас тут хурятины угощают. Почести воздают. А мы что же? Упустили немцев.

— Так ведь штук восемьдесят уничтожили, — сказал Савчук и ловел плечами, отчего весь его маскокомбинезон затрещал.

— А осталенные ушли?

— Ушли, — тихо произнес Савчук.

— А что догонять надо, об этом разве приказа не было?!

— Был.

Савчук задумался, потом вдруг взволнованно сказал:

— Товарищ командир, пришло.

— Что пришло?

— Мысль пришла, — и Савчук, торопясь и захлебываясь, стал излагать свой план. — Нужно в санбате собачьи упряжки попросить — рапеных все равно нет. Усадим на сани пулометчиков, автоматчиков и в дорогу.

Комбат испытывающе посмотрел в глаза Савчука.

— Будьте уверены, — сказал Савчук бодро, — полный расчет будет.

Комбат вернулся в хату.

До рассвета просидел командир, склонившись над картой возле чадящей коптилки, и жевал черные сухари.

Когда на улице раздался собачий лай и тонкий визг полозьев, комбат вскочил и бросился к выходу.

В хату вошел Савчук. Лицо его было багрово-сизого цвета, брови, ресницы покрыты белым ихом инея, но глаза блестели весельем.

Стягивая через голову хрустящий маскокомбинезон, Савчук говорил:

— Подмели вчистую. Прямо на ходу. С нашей стороны потерпеть нет. Двух собак убили гады. Ну, уж это на мою шею — в санбате отчитываться.

Комбат, усадив Савчука к столу, взял ухват, вытащил из печки жареного нетуха и, торжественно ставя его на стол, сказал:

— Теперь у нас совесть чистая. А то что получалось?

— Это верно, согласился Савчук, наливая себе в стакан, — некрасиво получалось. — Потом, глядя на жареного петуха, задумчиво произнес: — А гордая, видать, птица была.

— Ну, будем здоровы, — сказал комбат и первый раз улыбнулся.

И сразу стало видно, что это еще совсем молодой человек с застенчивым лицом, а вовсе не тот человек, каким мы его видели все время, с грубыми морщинами на щеках и ледяными, невозмутимыми глазами.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Во время штурмовки вражеского аэродрома осколками зенитного снаряда лейтенанту Коровкину перебило обе руки, а осколками разбитого козырька кабину жестоко разрезало лицо.

Истекая кровью, Коровкин дотянул поврежденную машину до аэродрома и совершил посадку.

В госпитале он спросил врача:

— Скажите, доктор, я смогу летать?

Доктор посмотрел в глаза молодому пилоту и сказал просто:

— По-моему, летать вам еще нескоро придется.

— Ну, это мы посмотрим, — сказал Коровкин.

Ночью, когда в палате все заснули, Коровкин сунул забинтованную голову под подушку и стал плакать. К утру у него поднялась температура. Доктор, встягнув термометр, сообщил:

— Если будете первыничать, то прав буду я, а не вы.

Шел снег, сухой, чистый, и в воздухе было бело и сумрачно. Погода была неслетная.

Мы сидели в тепло патолептом блиндаже и говорили о Коровкине.

Приборист Вася Бодров, сидя на корточках перед открытой дверцей печи, чинил какой-то аэронавигационный прибор. Низко наклонившись к огню, он сказал печально:

— Коровкин книгу какую-нибудь просил. А где подходящую достать?

Нужна такая, чтоб настроение подняла, а то совсем заскучал парень.

Я стал рыться вкрохотной библиотечке эскадрильи, целиком умещавшейся в железном ящичке из-под ракет. Но ничего подходящего найти не мог.

Волем полтрух Галаджий. Сев на шары, застланные соломой, он спросил, чего я ищу. Выслушав, сказал:

— Книги, конечно, на любой случай жизни еще не написано. Но вот я в одной статье прочел, что, когда Владимир Ильич Ленин был болен и раны его от отравленных пуль открылись, он тоже попросил принести ему что-нибудь почитать. Сочинение американского писателя Джека Лондона принесли ему. И Ленин там один рассказ похвалил: «Любовь к жизни» называется. Интересно было бы такую книгу достать.

— А где достать ее тут, в степи?

— Достать все можно, если надо. — Галаджий вынурил тапиросу, надел шлем и вышел из блиндажа. Когда он откликнулся палатку, повешенную на входе, шахнуло яростным ветром, колючим, сухим снегом.

Бодров, прислушиваясь к тиканию механизма, сказал:

— Коровкин Миша милой души человек, а вот развел — и сдал. Ну, разве от первов помяграют? — Повернув ко мне лицо, осененное красными движущимися бликами огня, он громко произнес: — Галаджий говорит, что кто смерти не хочет, тот должен уничтожать ее, убивая врага.

Зазвонил телефон. Бодров взял трубку.

— Гранит у аппарата! Галаджий?! Да разве он улетел? Нет, еще не вернулся. Доложу, товарищ командир! — Положив трубку, Бодров застыло сказал: — Вот отчаянья Галаджий! В такую пургу вылетел. Тут дров наломать в два счета можно. Видимости никакой.

Трещали в личке сырье дрова. Мирио тискал прибор, исправленный Бодровым. Несколько раз звонил командир полка, осведомляясь, не вернулся ли Галаджий.

И вот послышался стонущий рев мотора. Он то прощадал, то возникал с новой силой.

Бодров схватил полурубок и, натянув его на плечи, крикнул мне:

— Галаджий прилетел! Аэродром ящет. Плутает. Ах ты оглаженный какой человек! — и выскочил наружу.

Минут через двадцать Бодров и Галаджий вошли в блиндаж. Отряхнув с себя снег, Бодров спросил, глядя с тревогой на Галаджия: — Где это вы так извозились?

— Маслопровод лопнул. Всего захлестало, — разподумывая объяснял Галаджий и положил в карман. Когда он вынул оттуда пропитанный маслом, сплющившись ком бумаги, лицо его вытянулось, и он дрогнувшим голосом растерянно произнес: — А я еще библиотекаршу будил. Ругался. Пасику вытащил. И вот надо же случиться такой катастрофе.

Галаджий попытался выжать из книги масло, но бумага только разлезалась. Тогда он взял телефонную трубку и вызывал синоптика.

— Через час меня разбудишь, — сказал Галаджий Бодрову и лег на пары.

— Так вы снова полетите?!

— А ты как думал? За весь город у них один экземпляр, что ли, — грубо сказал Галаджий и, натянув на голову одеяло, сразу уснул.

ГВАРДЕЙСКИЙ ГАРНИЗОН ДОМА № 24

Из окна комендатуры застучали станковые пулеметы. Очередь прошла сперва на головами бешено скачащих лошадей, потом расщепила огоблю, и пули, глухо шлепая, пробили коню брюхо, по-птичьи вытянутую шею.

Вторая упряжка свернула на тротуар и помчалась дальше. Став в сапнях на колени, Горшков метнул в окно комендатуры гранату. Савкин, лежа в сапнях, был вдоль улицы из ручного пулемета. Кустов, памогав на четвую руку вожаки, сбросив с правой рукавицу, свистел. Этот зловещий свист, полный удари и отваги, сильный и трепетный, врезался в сердце леденящим госторгом.

Чугунная тumba пошла люд санги. Бойцов вышибло из разбитых саней. Волоча обломки, лошади ускакали.

Улегшись в калаве, Савкин отстреливался от голубомудриных сандармов, уцелевших в комендатуре. Горшков вскочил в двери ближайшего дома. Через секунду он выбежал наружу, и, прислонясь к косяку, метнул загутрь гранату.

Взрывом выбило стекла вместе с рамами.

Поднявшись с земли, Горшков крикнул:

— Сюда, ребята!

Кустов вошел в наполненное дымом здание. За спиной у него был миномет, два железных ящика с минами висели по бокам. В руках он держал за веревочные петли ящик с патронами. Продолжая отстреливаться, вполза Савкин. Не оглядываясь, он послешно приладил на подоконнике пулемет и продолжал бить горячими очередями.

Немецкий офицер, шатаясь, поднялся с пола. Кустов, руки у которого были запяты, растерялся. Потом высоко поднял ящик с патронами и с силой обрушил на голову немца.

И ящик треснул от удара, и пачки патронов посыпались на пол.

Пули с визгом ударялись в стены и крошили известку. Протирая слезящиеся от известковой пыли глаза, Савкин перебегал от одного окна к другому, меняя огневую позицию. Поставив стол, на него табуретку и забравшись на это сооружение, Горшков стрелял из автомата в круглое отверстие для вентилятора.

Немецкие солдаты вытащили на крышу соседнего здания тяжелый станковый пулемет. Тяжелые пули, ударяясь о каменную стену, высекали длинные синие искры. Но прибежал взволнованный офицер и приказал солдатам прекратить стрельбу.

Дело в том, что немецкий гарнизон, оставленный в укрепленном городе, должен был прикрывать отступление своих сил. Они были обречены, эти солдаты, и знали об этом.

Первым, обеспокоившись наступившей тишиной, угрюмо сказал Горшков:

— Что же такое, ребята, получается! Приехали три советских гвардейца, а немцы, выходит, на них внимания не обращают.

Савкин, зажав в коленях диск и закладывая патроны, оторченно добавил:

— А командику чего обещали? Не получилось шанкки.

— Получится, — сказал глухо Кустов и, взвалив на спину миномет, полез по разбитой лестнице на чердак.

Скоро здание начало мерно вздрогивать. Это Кустов уже работал у своего миномета. Прорезав кровлю, выставив ствол наружу, он вел огонь по немецким окопам, опоясавшим город.

И немцы не выдержали. Они открыли яростный огонь по дому, в котором были гвардейцы.

Горшков, прижавшись к стене, радостно кричал:

— Вот это запаниковали, вот это да!

Брызги дыма поползли из чердачного люка, обдавая утварь теплом.

Командир батальона сказал:

Бойцы, вы слышите эти выстрелы? Это дерутся наши люди. Тысячи, которые обрушились на них, могли обрушиться против вас. Пусть им будет жечь ваше сердце. Вперед, товарищи!

Ельонинский любил говорить красиво. Но в бою он не знал страха. И если бы ~~стакну~~ можно было ходить с развевающимся знаменем в руках, он держал бы это знамя.

Бойцы пошли в атаку.

А крыши дома № 24 уже валил черный дым, и яркое пламя шевелилось на ~~крыше~~, порываясь взлететь в небо.

Спустившись с чердаха в тлеющей одежде, жмурясь от дыма, Кустов приложив к окну миномет.

Немецкие солдаты пытались взять дом штурмом. Взрывом гранаты выбило дверь. Ударом доски Кустова бросило на пол. Напав на дымном мраке автомат, прижав приклад к животу, он дал длинную очередь в пустую дверную нишу, и четыре солдата растянулись на пороге.

Тогда немцы выкатили пушку.

Савкин гордо сказал:

— До последней точки дошли. Сейчас из пушки шуметь будут.

Горшков добавил:

— Выходит, ребята, мы задание перевыполнили.

Кустов, глядя на свои раненые ноги, тихо произнес:

— Уходить даже неохота, до чего здорово получилось!

В грохоте взрывов тяжелые осколки битого кирпича вырывало из шатающейся стены.

Батальон ворвался в город и после короткой, тесной схватки занял его.

Командир батальона выстроил бойцов перед развалинами разбитого дома и стал произносить речь в память трех павших гвардейцев.

В это время из подвального окна разбитого дома показался человек в лымящейся одежде, за ним другой, третьего они подняли и провели под руки. Став в строй, один из них спешно осведомился: «Что тут происходит?» И когда боец объяснил, Савкин сердито сказал:

— Немцы похоронить не могли, а вы хороните.— И хотел доложить командиру.

— Кустов сказал:

— После доложим. Интересно послушать все-таки, что тут о нас скажут такого.

И командир произносил пламенную речь, полную гордых и великолепных слов.

А три гвардейца стояли в последней шеренге крайними слева с вытянутыми по плечам руками и не замечали, как по их утомленным, закопченным лицам катились слезы восторженной скуорби.

И когда командир увидел их и стал упрекать за то, что не доложили о себе, три гвардейца никак не могли слова произнести, так они были изволованы.

Командир, махнув рукой, сказал:

— Ступайте в санбат,— и спросил: — Теперь, небось, загоритесь?

И два гвардейца повернулись, щелкнув каблуками, и, взяв на руки третьего, понесли его в санбат.

ШТУРМАНСКОЕ САМОЛЮБИЕ

Полковник вызвал к себе командира корабля капитана Ильина и штурмана, старшего лейтенанта Фирина.

По тому, как их принял полковник, оба летчика сразу поняли, что предстоит нахлобучка.

Полковник, не предлагая сесть, спросил:

— Вы доложили, что мост через реку взорван?

— Точно, — подтвердил Ильин.

— А что вы скажете на это? — и полковник бросил на стол аэрофотоснимок.

Оба летчика, встревоженно наклонившись над снимком. Выпрямившись, с покрасневшим лицом, штурман Фирин растерянно произнес:

— Курс был точный. Ничего не понимаю.

— А я понимаю, — сухо сказал полковник. — Вы не выполнили боевого задания! Можете идти.

Летчики вытянулись и, резко повернувшись на каблуках, вышли. На улице они остановились.

— История! — печально вздохнул Ильин. — Я же собственными глазами видел. А тут поди ты. Фотография же вратить не может.

— Кости, — возбужденно хватая друга за плечо, сказал Фирин. — Ведь ты помнишь, тебе что! Тебя я веду. И вдруг у меня, у первого штурмана нашей эскадрильи, такая история. Нет, не могу! Пойду, попрошу полковника.

— Да о чём просить? Ты подожди, не волнуйся.

По Фирин уже открыл дверь в хату, где находился командный пункт.

Ильин сел на завалинку, закурил и, печально глядя перед собой, стал жалеть. Скоро Фирин появился. Лицо его сияло.

— Разрешите, — заявил он с воодушевлением. — Разрешите лично проворить. Я за свой курс жизнью отвечаю. Не может этого быть, чтобы мост целым остался. Никак не может...

Вечером Фирин пришел на аэродром. Поверх комбинезона у него была брезентовая сумка, в которой обычно подрывники носят взрывчатые вещества.

Тяжелый бомбардировщик готовился к полету в глубокий рейд над расположением противника.

Фирин показал разрешение полковника и, надев парашют, поместился в качестве пассажира в отсеке бортмеханика.

Тяжелая машина легко оторвалась от земли и ушла в темное, ночное небо.

Фирин часто вставал и выходил в штурманскую рубку, сверить курс. После двух часов полета он обратился к бортмеханику и знаками попросил его открыть бомбовой люк. Когда люк был открыт, Фирин наклонился надhim, пристально разглядывая покрытую дымкой землю. Вдруг он сделал такое движение, какое делает пловец, бросаясь с вышки в воду, и исчез в голубом прояле бомбового люка.

Бортмеханик замер у пульта приборов с поднятой рукой.

Самолет продолжал лететь в сумрачной чаще облаков, даже не дрогнув.

Пришло немало дней. Ильин летал теперь с новым штурманом. Ревнуя к памяти своего друга, он относился к новому штурману неприязненно и говорил с ним только по вопросам, касающимся их совместной летной работы.

И вдруг Ильину говорят:

— Сгорнулся Фирин.

— А где же он?

— А в бане.

Прямо в меховом комбинезоне, в унтах Ильин ворвался в баню. Он сразу узнал тщую фигуру своего друга, усердно мылившего голову из третьей полке, обнял его и прижал к своей груди.

Вырвавшись из объятий Ильина, Фирин сказал с грустью:

— Придется теперь опять мыться, — и снова полез на полку.

Вечером они сидели друг против друга и пили чай.

Фирип рассказывает:

— Ну что ж. Ну, выпрыгнул. Потом пешком лежал. В сумке у меня, конечно, взрывчатка. Раз с воздуха не подорвали, значит, с земли придется. Иду. Ну, конечно, встреча была. Отстрелялся все-таки. Принес к мосту. А его нет. То есть, пожалуй, он есть, но только вроде как не настоящий, фальшивый. Поверх взорванных пролетов они деревянный пластик положили и черной краской под металл выкрасили, а обломки ферм, которые рядом валялись, — покрыли известкой. Вот на фотографии оскорбительная для нас картина и получилась. Сама немцы, конечно, в другом месте переправу навели. Я ее потом нашел. Думал, неудобно домой обратно взрывчатку тащить. Ну, и используя. Потом, конечно, все пешком, да пешком. Летишь, не понимаешь толком, что такое расстояние, а тут, брат, до того ноги сбить, что теперь только летать могу.

— А полковнику докладывал? — глядя с нежностью и восторгом на Фирипа, спросил Ильин.

— Докладывал. Он сказал: «Хорошо! Самолюбие, — говорит, — у летчика — его дополнительная мощность». А я ему говорю: «У летчиков, конечно, тоже огромное самолюбие, но, вы извините, товарищ полковник, вы еще нашего штурманского самолюбия не знаете». А он говорит: «Знаю, теперь очень хорошо знаю. И раз вы себя в наземной ориентировке тоже отличным штурманом показали, я теперь вас с Ильиным по одному интересному заданию пошлю». А я сделал вид, что не очень обрадовался. «Спасибо», — говорю, трясу ему руку, а у самого дыхание и все такое. А он говорит: «Вы не радуйтесь. Вы у меня спачала отдохнете, как следует». — И Фирип грустно залончил: — Должен я теперь отдохнуть. А у меня ноги болят. И по земле мне ходить невозможно. Мне летать надо.

— Ничего, Вася, — сказал Ильин мечтательно, — мы еще с тобой когда-нибудь полетаем. — Потом Ильин взял гитару и сказал: — А я тут про тебя песню сочинил.

Фирип вежливо уверял, что она ему очень понравилась.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ БОЙЦА СИМУКОВА

Боец Симуков с двумя товарищами пробрались к вражескому ДЗОТу, уничтожили всю его команду. Вооружившись трофеем станковым пулеметом, бойцы сняли охранение и открыли огонь по немецкой пехоте. Их окружили фашистские автоматы. Один боец был убит, другой ранен. Симуков вел огонь, пока были боеспособны, а потом двух фашистов заколол штыком, он вырвался из вражеского кольца и вынес своего раненого товарища.

Я разыскала этого человека, совершившего подвиг, чтобы написать о нем в газету.

Мы встретились в лесу, таком белом, словно каждое дерево было сделано из матового стекла. Высущенный стужей воздух был голубым, чистым.

Симуков сидел на снегу. Перед ним была разложена плащ-палатка. А на плащ-палатке лежали золотой грудой патроны, которые он тщательно осматривал, прежде чем заложить в круглые кассеты автомата.

Симуков радушно предложил мне сесть на штац-палатку и сказал:

— Очень во-время вы, товарищ корреспондент, пришли, а то я сам было собирался заметку в газету писать и все боялся, как бы изоряво не получилось.

Потом, вынув кисет, он предложил:

— Вы закуривайте, а я расскажу. Записывать не надо. Если у вас память человеческая есть, тогда все запомните.

Село тут недалеко было от Боровска. В нем немцы. Село это подступом к городу служило. Приготовились немцы к обороны хорошо. На восточной окраине села перед открытой поляной устроили засаду: два миномета, четырнадцать станковых и много ручных пулеметов. Немцев мы решили в клаещи взять. Одна группа пошла с запада, лесом, а другая с востока, через переправу. Переползли мы по льду так ловко, что немцы нас не заметили. Но заметили нас наши русские люди. И вот, глядим, бежит по косогору мальчишечка. Бежит, руками машет, а по нему немцы уже из автоматов бьют. Скатился он к нам с крутого берега прямо на спине. Поднялся, сердитый, красный такой. Вытряхивает снег из валенок и спрашивает, кто у нас здесь командир.

«Иу, я командир», — говорит ему капитан Иванов.

Паренек наступил, сердито так блестят глазами и кричит: «Так куда же вы прете? Не видите, что у немцев там засада? Теперь я вас поведу, как надо».

Командир задумался, потом с беспокойством спрашивает: «Слушай, мальчик, может, тебя подоспал кто?»

«Меяя мать послала, вот кто!» — ответил мальчик, тордо он ответил.

И привел нас этот мальчик лощиной, вывел на другую окраину села, балочной; задворками, по деревне пробрались мы в тыл немецкой засаде, и уличились мы немцев, но не очень шумно — штыками.

Симуков затумался и, подняв голову, сказал:

— Теперь вы мне, товарищ корреспондент, скажите: где еще есть на свете такие матери, которые могут так свою землю любить, как наши русские землины? Ведь она сына на смерть посыпала. Ради нас, бойцов. Вот ведь я-то в чем.

Потом он озабоченно сказал:

— Фамилию и имя шареняка уж вы запишите — Андрианов Иван. Ваше коландование его к ордену представлю. Вот ведь какие интересные люди живут в нашей стране!

ЕВГ. ВОРОБЬЕВ

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

ГВАРДЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Скупой ноябрьский закат отгорел быстро, и все вокруг стало синим — небо, сосны, снег.

Конники выстроились полукругом на лесной прогалине. Раздалась команда: «Шашки к бою!» — и пятьсот клинков сверкнули стальной синевой.

Конники подняли шашки над головой, а затем приложили острия клинков к плечам. Кони переступали с ноги на ногу, стоя в глубоком снегу.

На торжественную церемонию съехалось три эскадрона. Все другие оставались за дальним синим лесом, откуда доносилась канонада.

Генерал-майор Доватор спешился, опустился перед знаменем на колено, поцеловал дрекко и принял его из рук представителя Генерального штаба.

Доватор сказал казакам короткую речь и впервые назвал их гвардейцами. В лесу прозвучала клятва: «Москвы не отдавать!»

Командир эскадрона Георгий Соболь подъехал к генералу на своем Нарциссе. То был темногнедый жеребец донских кровей с золотистой гривой, с лысиной на лбу, которая сейчас казалась синей, и в «чулках», которые были скрыты глубоким снегом.

Соболь вложил в ножны шашку с рукоятью из чернепого серебра, ладную дедовскую шашку, которая переходит от отца к сыну в казацком роду Соболей из донской станицы Усть-Медведицкой.

Он принял знамя, поставил его у стремени на носок сапога, развернул своего дончака и пустил вдоль фронта. На пол-лошади сзади с шашками наголо ехали ассистенты Соболя — Саркисян и Воробьев.

Казаки стояли в строю, держа равнение направо, и провожали глазами пурпурное гвардейское знамя с изображением Лепина.

Знаменосец с ассистентами проехал на правый фланг.

Эскадроны тронулись с места. Кони утаптывали синий снег. Тихо было в лесу. Слышались только приглушенные снегом удары копыт, поскрипывание седел, бренчанье уздеек и ржанье коней.

Синее высокое небо родины стояло над эскадронами.

Конногвардейцы направлялись в ту сторону, где недавно отгорел закат.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

У меня была банка рыбных консервов. Я хотел открыть ее кинжалом, но мой спутник запротестовал:

— Зачем, у меня есть консервный нож.

Случайные знакомые, фронтовые попутчики, мы сидели на обочине дороги, свесив ноги в кювет.

Вместе мы «голосовали» с утра под Дорогобужем, вместе «голосовали» на фронтовых дорогах и добирались в одну и ту же часть.

Спутник мой вытащил из кармана пригоршню всякой металлической дребедени и выложил ее на траву.

Здесь были пляшельные пуговицы, запал от гранаты, мундштук, связка ключей, пистолетные патроны, огрызок карандаша и обещанный консервный нож.

Я взял консервный нож, а спутник мой начал один за другим прятать обратно свой нехитрый карманный скарб.

Когда дешла очередь до связки ключей, мой попутчик подбросил ее на ладони, прежде чем спрятать в карман.

— Ключи от моей квартиры. Минск, улица Горького, дом номер тридцать один, квартира девять.

Он задумчиво перебирал ключи, написанные на кольцо.

— Вот этот, большой — от парадного, узенький — от входной двери, там у нас французский замок. Этот — от Люсиной комнаты, а этот — от моего письменного стола... Знаете, — добавил мой случайный знакомый с грустной улыбкой, — я очень боюсь потерять эти ключи. Возможно, конечно, что дом сгорел. Но это не обязательно. А в Минск я все равно еще вернусь.

И он бережно спрятал в карман ключи от своей квартиры.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

На какое-то мгновенье все стихает. Непрочная, обманчивая тишина будет сить всего несколько минут — до нового разрыва снаряда.

Проселочная дорога изрыта воронками. Опережая меня, по дороге во весь сор скакет всадник. Батальон ушел вперед, связной спешит ему вдогонку. Стрелянная, пепугливая лошадь умело, не замедляя бега, огибает воронки.

Из клубов дорожной пыли вырисовывается силуэт раненого. Даже на каске ет — пыль. Раненый ступает трудно, превозмогая боль, но не бросает винтовки. Он лесет ее не по уставу — ремень на шее, винтовка поперек груди, — он же-таки несет ее, а это самое главное.

Даю ему свою флягу с водой. И пока раненый жадно пьет, ухватив флягу обеими руками, показываю дорогу на медиумент.

На обочине, в голубой дорожной пыли — немецкая каска. Она продырявлена осколком, который, очевидно, пришелся кому-то по темени.

Где похоронен бывший владелец каски? Здесь же по соседству или, быть может дальше у окопицы деревни, где немцы устроили целое кладбище?

Чемев выбили из Березни ужо давно — минут сорок назад.

Батальон прошел вперед, не оставив в деревне никого.

Я отстал, так как шел вместе с медсестрой Марией Ивановной. По пути в Березни она сделала три перевязки.

На юю деревни горит дом, и пожар тушить некому. Березня — как будто вымерша.

Ральш я всегда думал, что пожар — это крики, паника, суматоха. Со свистом подезжают машины. Из окон летят вещи. Выбегают полураздетые люди. На лестницах у самого отня — мокрые пожарные.

А этот дом на окраине деревни горит сам по себе. Это странно и страшно. Крыша уже рухнула. Сейчас занялись наличники на окнах, перила крылечка, лавочка и дверь.

Немцы подрали свой вчерашний кров, который оказался для них столь неприятным и недолговечным.

Через дорогу от горящего дома — остаток русской печи. Он высится по середине черного квадрата, среди углей и золы, — все, что осталось от дома. По кучкам золы на траве можно определить также, где стояли надворные постройки.

Изгородь у палисадника сгоревшего дома и забор спесены. По ворота и калитка стоят нетронутые. Ворота заперты на засов, калитка прихвачена щеколдой.

В палисаднике, как ни в чем не бывало, отцветают подсолнухи. На березе, спаленной энсом пожара, живут в скворечнике скворцы.

Пчелы жужжат, как пули, много бездомных пчел. Немцы разорили ульи на колхозной пасеке.

Цыплята вразброс бегают по улице, одни желтошкуевые цыплята без квочек. Всех кур успели выловить немецкие постельщицы.

Цыплята бегают по безлюдной улице, где, уткнувшись лицом в пыль, лежит мертвый немец.

Он лежит, и рядом с ним не видно даже маленькой стружки крови. Земля высохла до трещин. Кровь впитывается в нее сразу, она не успевает растекаться.

Я прошел всю деревню насквозь, не увидев ни одного жителя. Уже в дальнем конце Березни, за окопицей, я увидел женщину.

Она выбежала на дорогу из нескошенной, щипыней ржи и бросилась на встречу.

Тотчас же во ржи показалось двое ребятишек — мальчик постарше и девочка. Очевидно, они отскакивались во время боя где-нибудь в воронье от снаряда.

Хорошо помню темное от загара, еще молодое лицо женщины и тяжелые, большие руки, брошенные мне на плечи.

— Родненский мой, освободитель жизни! — запричитала женщина. — Год тебе бог здоровья и силушки, стреляй немецких иродов, как сегодня. Спасибо тебе, освободитель наш.

В тот августовский день я не сделал ни одного выстрела. Тем не менее, я не чувствовал прибакой неловкости от того, что меня благодарят за освобождение деревни Березня. Позже я бывал во многих освобожденных селениях и городах, когда еще зола на пепелищах была горячей и рядом отгорал уличный бой. Но Березня была первой отбитой у немцев деревней, в которой мне довелось побывать. Очевидно, поэтому так хорошо запомнился деревенский пейзаж.

Нескошенная рожь, в отчаянии подстукившая к самой окопице.

Ворота, ведущие в чистое поле.

Цыплята, бегающие без квочки.

Горький запах гари, который, казалось, подымается до самого неба.

БЕЗ СНА

Построенный блиндаж набит битком. Начиодив делает инструктивный доклад, сидя на койке. Он часто закрывает глаза и каждый раз с трудом подымает тяжелые веки.

Политруки сидят на пустых ящиках из-под мин, на постели адъютанта в дальнем углу, на полу, устланном соломой.

«Летучая мышь» висит на земляной стене рядом с противогазом и пузатой полевой сумкой. Лампа не столько светит, сколько чадит.

Но политруки сидят с блокнотами в руках и в полумраке записывают указания начальника.

Политрук второго батальона Дорохов сидит, сгорбившись, на ящике около печки. Дорохов держал блокнот на коленях, и никто не заметил, когда блокнот упал на солому.

Дорохов по прежнему держал карандаш в руке и сидел в позе пипущего человека. Но тем не менее он спал.

Я перестал прислушиваться к словам начподива, немного сухим, официальным. Я смотрел на Дорохова, уронившего голову на грудь, как будто он рассматривал свой пистолет и думал о границах человеческой усталости.

Помимо всего прочего, люди на войне очень много работают и смертельно устают.

Люди валятся с ног, подкощенные переутомлением, отыкают от отдыха. Люди спят стоя, сидя в седле, лежа под дождем.

Я видел сапера, который опал под проливным дождем. Это было на берегу Днепра, в нескольких шагах от моста, который сапер строил. Сраженный усталостью, сапер упал на взмокший прибрежный песок. Капли дождя струились по его лбу, щекам, подбородку, затекали за шиворот. А человек крепко спал под холодным сентябрьским дождем.

Я видел, как сон настиг телефониста батареи. На линии работал его сменищик, и батарея могла обойтись без спящего. Для того чтобы войти в землянку, нужно было переступать в полумраке через тело бойца. Телефониста пытались добудиться изо всех сил. Его трясли за плечо, тянули за нос, на конец, выстрелили над ухом из пистолета — напрасно!

Я видел хирурга, который заснул, сидя на табурете, в перерыве между двумя перевязками. Хирург спал, опустив голову на грудь. По руки в мутно-желтых резиновых перчатках он держал в воздухе, на весу, согнутыми в локтях. Даже во сне хирург боялся прикоснуться к чему-нибудь стерильными перчатками.

Я видел лыжников-автоматчиков, которые умудрялись засыпать в минуты остановки отряда для перекурки. Они спали, стоя на лыжах, опершись руками на палки, прямо воткнутые в снег. Ременные щетки шалок охватывали их запястья.

Я видел бойцов батареи в дни, когда они, зачехлив орудия, передвигались по размокшей дороге. Артиллеристы умели спать на передке орудия, на облучке зарядного ящика, под железное промыкание батареи. Они спали сидя, ни к чему не прислоняясь спиной. Выбогна на дороге — орудие с грохотом подскакивает, бойцы просыпаются, чтобы через минуту снова забыться. Жесткая, походная жизнь, о которой сами артиллеристы говорят: «Ходя наешься, стоя выспишься».

Я вспомнил обо всех этих смертельно уставших людях, глядя на Дорохова. Он ровно дышал, уронив голову на грудь. Подбородок его касался рукоятки пистолета, засунутого за отворот шинели.

Кто-то из соседей толкнул Дорохова в бок. Всем было как-то неудобно. На таком совещании, во время доклада начподив — и вдруг заснуть!

Начподив поднял руку.

— Не трогайте. Не спал три ночи. Из разведки, — сказал начподив, беря под защиту спящего политрука.

— Вот и прикорнул. Я его утром отдельно проинструктирую. Передайте его блокнот. В батальон же мы пошлем связного. Предупредим людей. Чтобы не беспокоились о своем политруке.

Он продолжал беседу приглушенным голосом. И даже сухие, холодные слова вроде «недооценки» и «штрафовки» казались теперь теплыми, задушевными.

После беседы политработники задавали вопросы также полуспопотом.

А Дорохова не разбудила бы в ту минуту очередь из автомата, пущенная над самым ухом.

ТРАМВАЙ

Черные стекла. Пустые скамейки. Кожаные петли, не согретые теплом человеческих рук. Нетронутый снег на ступеньке вагона.

В юткой ночной темени, где-то на юге, за поселком Рогожинским, возникают и гаснут далекие отсветы. Они напоминают трамвайные зарницы, отблески вольтовой дуги.

Бьет немецкая батарея. Вспышки опережают орудийные раскаты. Нарастающий вой снарядов. Они рвутся где-то на соседней улице.

Трамвайные стекла дребезжат так, будто вожатый только что резко затормозил вагон у остановки. Но это только кажется. Трамвай необитаем. Рельсы засыпаны снегом. Снег лежит на высокой круглой табуретке вагоновожатого.

Еще недавно моторный вагон № 232 ходил по улице Коммунаров в поселок Рогожинский.

На трамвае можно было подъехать к самой линии фронта. Вез трамвай необычных пассажиров: парней с винтовками на плечо и с веевыми мешками за спиной, девчат с санитарными сумками через плечо.

Потом немцы овладели Рогожинским, и трамвай не стало путь в поселок. Уже в конце улицы Коммунаров поперек рельсов лежал трамвайный столб.

Ночью вагон № 232 покинул трамвайный парк, чтобы совершить свой последний рейс по городу.

Трамвай шел медленно. Стрелочки не было. Вожатый сам сходил с ломиком в руках и переводил стрелки на разъездах.

Я живо представляю себе трагическую картину. Вот вагоновожатый подъехал к баррикаде. Трамвай остановился. Человек сошел с вагона и, сгорбившись, тяжело шагая, пошел прочь, куда-то в темноту. Несметно, впервые в жизни, возвращаться в трампак пешком, оставив свой вагон на черной, зловещей улице у баррикады.

Баррикада! Для молодых туляков она была только символом, романтической подробностью революционных битв. Сейчас она пришла в город «весомо, грубо, зримо».

Если подойти к ней вплотную, можно и почью увидеть амбразуры, рогожные кули, набитые землей, бойницы с козырьками, покрытыми снегом.

Вагон № 232 готовился умереть героической смертью. Он стоял, как часовой на посту, охраняя счастье и будущее своего города...

После памятной ночи прошло полтора месяца, и мне вновь довелось проездом на фронт побывать в Туле.

В поселке Рогожинском подняли и поставили на место трамвайные столбы, заново натянули провода.

Трамвай снова шел, весело позванивая, по улице Коммунаров, по старому, насыщенному маршруту, где вожатому знакомо все — вывески, киоски и вернувшиеся дворники, которые прилежно скалывают сегодня ледок на тротуаре.

К остановке подошел трамвай, и я увидел на моторном вагоне его номер: 232.

Вожатый резко затормозил, и белые заиндевевшие стекла задребезжали так, будто вблизи прогрохотал орудийный выстрел.

Но вокруг все было спокойно. Город жил размеренной, спокойной жизнью.

Через переднюю площадку трамвая входили женщины с детьми на руках. В вагонах — сутолока и толчек, на подиумах — полным-полно «висунов». Мальчишки с нетерпением ждут, когда трамвай отчалит от остановки, чтобы продолжить замазчивую поездку на «колбасе».

Вагон № 232 мчился барrikаду через узкий проезд, пересек квартал, где проходила раныше линия фронта.

Барrikада осталась далеко сзади. Она стоит нетронутая и сейчас, оберегая счастье и будущее города.

СВЕЧКА

Отряд решил переходить реку почью.

В трехстах метрах выше по течению чернел мост. Там стоял немецкий караул. Но нам не было смысла рисковать и тратить последние гранаты ради пропулки по мосту.

— Только предупреждаю, — наставлял старший отряда Костенко, — поплынем медленно. Чтобы без бульканья, без плеска. Сами знаете, как над водой звук бежит. Зубами стучать про себя, не на всю окружность. Выйдем на берег — за берестой. Костер разжигает Махоткин. Обсушимся, пронесем оружие, отдохнем.

Семеро пошли к воде, и один только Григорий Свечка, фотограф дивизионной газеты «Зашитник родины», остался на берегу.

— Мно граця не дозволяє купатися, — сказал, тяжело вздохнув, Свечка.

За пазухой у него лежал ФЭД, и пленка была заснята. Из-за фотоаппарата Свечка и отказался лезть в воду. Он жалел своего «Федю» и кадры, заснятые в бою.

Там был заснят и комиссар Кожухарь. Последний снимок комиссара перед смертным боем. Свечка обещал Кожухарю в случае чего отправить фото его брату, буда-то в Забайкалье...

Я познакомился со Свечкой летом, на правом берегу Днепра, когда он, по его выражению, находился «на партийной работе» — фотографировал принятых в партию. Каждый день Свечка, засунув ФЭД за голенище, ползал к

окопам. Каким-то образом он ухитрялся там, под отпетом, фотографировать людей, которые еще не успели получить партийных документов.

Ничные уговоры не могли заставить сейчас Свечку изменить решение и полезть в реку с ФЭДом. Он отмахивался или отвечал однозначным «НН».

Свечка заверил старшего, что отвинтит борт от кузова грузовика и с помощью шеста переплынет реку на плоту и придет утром на левую опушку рощи.

— Ось свине тричи хтось — це знаєт, що я іду, — памонил Свечка с берега, когда мы уже были по пояс в воде.

В темноте переплыли мы через реку и осторожно выбрались на противоположный берег, окоченевшие, промокшие до нитки.

На том месте, где остался Свечка, ничего нельзя было разглядеть. Ясно, что и он не видел нас. Тем не менее, все помахали на прощание касками.

Мы предполагали разжечь костер почью. Но над рекой почью раздались выстрелы, взрывы гранаты. И костер пришлось отложить предосторожности ради до утра.

Еще не успели обсушиться, как в березняке послышался троекратный свист. Костенко тихо откликнулся.

У костра появился Свечка.

Он пришел в сухой шинели, с непокрытой головой, а каску держал в руках. Свечка сделал еще шаг к огню и бросил каску. Она с дребежанием ударила о корневище.

Мы увидели, что на плече у него вырван клюк шинельного сумна, а рукав пропитан кровью. Из левого уха тоже сочилась кровь.

— Та ось бачитэ, трохи ранен, — виловато сказал Свечка.

— Плот? — спросил Махоткин, осторожно разрезая рукав шинели по пиву. Свечка отрицательно покачал головой.

— С плотом богато мороки. Довелось шукать другу дорогу, чтоб притти панівъде.

— Значит, мост? — вскрикнул Махоткин, остолбенев.

Свечка утвердительно кивнул.

— Подчасок, чертяка, гранату швырнул. Як жахнуло — у меня из каски зробилась пилотка. Вся зморщилась.

Костенко поднял каску. Она и в самом деле «зморщилась». Каким образом Свечка остался жив и отделался ранением — неизвестно.

— Подчасок, бисов сын, — ругнулся Свечка, — слухастый какой! Не забачив я подчаска.

— Подчасок, подчасок, — ворчал Махоткин, билтуя плечо. — Ведь их на мосту двое околачивалось. Часовой-то куда девался?

— Та хиба я вам не казав? — удивился Свечка. — Часового я покарав раныне. Тихесенько. Та ось подчасок, чертяка, напікодив маленько...

Я снял с себя каску, достал из нее пилотку — она выполняла у меня роль подкладки — и отдал пилотку Свечке. За это он обещал меня снять, когда развиднеется, на карточку.

Свечка сообщил мне по секрету, что пленка засията не вся и он еще может зробить три кадра.

ПРОМАХ

Печь раскалилась. В землянке стало жарко.

Люди все сразу начали расстегиваться, откладывали калюшоны, снимали перчатки, каски, подшлемники, и от этой возни и сумятицы землянка показалась очень тесной.

Иней оттаявал всюду — на бревенчатом потолке, на бровях и ресницах Федора Карасюка, на затворах автоматов, на бинокле сержанта Жаркова. В оправу очков, как в чашечки, залилась вода.

Белые маскировочные халаты оттаяли, стали мягкими. Несколько минут назад, когда разведчики входили в землянку, обледеневшие халаты гремели, будто жестяные.

Разведчики быстро отогрелись. Пора бы кому-нибудь забречать котелком, подать голос, откликнуться какой-нибудь шуткой.

Но люди сидели молча. Но всему видно — разведчиков лостила неудача.

Сержант Жарков сидел насупившись, мрачный и с каким-то исступлением подтапливал печь, которая и так уже успела раскраснеться.

Помолчали еще несколько минут.

— Да, — сказал, наконец, Жарков, с досадой сплевывая в пламя, — проморгали мы офицера. Прямо из рук выпустили. И как это тебя, Карасюк, угораздило?

— Затмение нашло, товарищ сержант, — виновато откликнулся из угла молодой боец.

Он прилежно, даже слишком прилежно, протирал замотавший оптический прицел винтовки, не поднимая головы.

— Другой — с него спрос мелкий, — не отставал сержант, — а ты стрелок опытный. Звание снайпера занимаешь. Тебя виноватить следует.

Карасюк молчал, ожидая, что разговор на эту тему иссякнет сам собой.

А Жарков не унимался:

— Проморгали. И как это тебя угораздило?

— Рука дрогнула, товарищ сержант.

— На руку сваливать нечего. Рука сюда не касается. Нечего было мушку под обрез каски наводить — вот что!

Карасюк опять промолчал.

— Другое дело — проморгаться на два, на три пальца. А то — снайпером числится: бьет в ноги, а попадает в лоб! Вот «языка» и угостил. Очень просто. Напомнил.

— Привычка такая, товарищ сержант, виноват, — сознался, наконец, Карасюк, тяжко вздохнув.

— С этой привычкой разведчику не всегда сподручно, — наставительно заметил сержант. — Разведка, она соображения требует; когда в голову, а когда и в ноги немецкие. А то выдумал тоже: рука дрогнула. На руку сваливать нечего. Рука сюда не касается.

Карасюк сидел напротивнему с опущенной головой, расстроенный сверх всякой меры.

Сержанту стало жаль снайпера, и он сказал каким-то сразу подобревшим голосом:

— На зов, Федя, закури лучше перед ужином.

И протянул кисет с махоркой.

ТРОФЕЙНАЯ БАТАРЕЯ

Пушка тоже изнашивается и стареет.

После определенного числа выстрелов нарезка ствола срабатывается, орудие дряхлеет, выходит из строя.

Где-то составляют акт об «износе материальной части», и орудие отправляют на переплавку.

Иногда проходит какое-то время, прежде чем батарея получает новенькие свежевыкрашенные орудия. На щитах у них нет ни одной царапины, а вмятины от осколка не найти и подавно.

Артиллеристы ждут новую материальную часть с острым нетерпением людей, которые временно оказались не у дел. Чувство, хорошо знакомое пищеверу, который остался без машины, кавалеристу, который в бою потерял коня.

Когда часть майора Меликяна вела бой за Маслюрославец, орудийные расчеты Капитонова и Чухнина действовали в пешем строю. Наводчик Пикишин и замковый Суханов числились в саперной роте, Гарцеву и Панкову довелось стать связными, Крючков сделался санитаром, еще кто-то работал тювзочным.

Все они успели смениТЬ свои батарейные карабины без штыков на винтовки, но черных петлиц на гимнастерках никто не спарывал.

На привале у костра артиллеристы обычно собирались вместе, и разговор у них шел, как в прежние времена, главным образом на темы, связанные с батареей.

Уличный бой свел артиллеристов вместе. Стоя у орудий, они привыкли держаться во время боя поближе друг к дружке.

Первым увидел немецкие орудия подносчик снарядов Усачев. Орудия стояли на огороде, позади одного из домов Колодезной улицы.

Командир батареи старший лейтенант Рысьев быстро перемахнул через забор и подбежал к брошенным орудиям. Одно, два, а третье.

Он тотчас же убедился в их исправности. Даже замков не успели снять беглецы.

— Замки? — в один голос закричали издали Капитонов и Чухнин. Они бежали быстро, опережая друг друга, а когда добежали, долго не могли отдохнуть.

— Замки на месте, — успокоил их комбатр.

— А ключи мы к ним подберем быстро. — Он огляделся, увидел ящики со снарядами и отдал команду. — А ну, повертай орудие в немецкую сторону!

С того дня три 105-миллиметровые пушки прилежно бьют по своим бывшим владельцам. Каждое орудие уже успело сделать по врагу около 400 выстрелов.

Снарядов — сколько угодно. Начальник боепитания лейтенант Гачца подвозит снаряды со всей округи.

На лесной опушке около огневой позиции стоят заснеженные птабеля снарядных ящиков.

Там же, на опушке, у коновязи мирно жуют овес трофейные лошади.

Ездовые накрыли могучих коней попонами.

— Не одобряют здешний климат, — сочутственно сказал сэровой Карасев, делая ударение на букву «а». — Организм боязливый, не принимает мороза.

Пришлось Утюгу свою плащ-палатку одолжить. Пусть грееется себе на здоровье.

Артиллеристы уже успели дать клички всем двенадцати брабалисам: «Тиран», «Малька», «Бородавка», «Градусник», «Перчик», «Утюг», «Ранца», «Золотистый», «Вахламон», «Гильза», «Катюша» и «Фриц».

Вороного мерица прозвали «Фрицем» за то, что он был самым зябким и неравным в своей запряжке. Все остальные клички были плодом фантазии артиллеристов трофейной батареи.

Непривычны и таинственные луги, по которым следует воображениеездовых, дающих клички батарейным лошадям.

Но дело не в кличках. Важно, что есть лошади. Эти лошади возят пушки. Пушки стреляют по немцам.

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА

Письмо по прошито пуговками, сургучные печати по стерегут его тайны. С ним не мчался на взмыленном коне фельдъегерь, его не вез в полевой сумке офицер связи.

Оно пришло по почте, обычное письмо без марки, со штампом «Красноармейское».

Письмо в голубом конверте адресовано генерал-лейтенанту Говорову. Генералу вручили письмо поздно ночью, когда он сидел в штабе над картой-полуверсткой.

Карта была испещрена черными и красными кружками, полукружьями, дугами, стрелками — многозначительными штабными иероглифами.

Знаки на карте двигались влево, на запад. Одни шли вслед за фронтом, другие опережали события на несколько дней. Полки еще не знали задачи, которую только что, сидя за картой, разработал полководец.

Генерал урвал минуту, распечатал и прочел письмо.

«Простите, — говорилось в письме, — что в такое время дерзаю к вам обратиться, глубокоуважаемый товарищ Говоров. Вам пишет гражданка Л. С. Сапелкина из Москвы. Вот уже скоро пять месяцев, как я лежу в больнице. Муж в армии. Когда ему довелось по долгу службы побывать в Москве, он свез сынишку в деревню к своей сестре. Вот о сынишке-то я и хочу вас просить. Дело в том, что ребенок лежит на востоке, а остался там, где побывал немец: представьте себе весь ужас этого положения. Ребенок находится в деревне Новинское, в семье учителя Николая Васильевича Наумычева. Товарищ Говоров, не откажите в просьбе и, если возможно, узнайте о судьбе нашего сынишки. Я буду вам благодарна так, как может быть благодарна мать. Может быть, вы сами отец и меня поймете. Сынишку моего звать Мишутка Сапелкин. От всей души желаю вам здоровья и дальнейших успехов.

Уважающая вас Л. С. Сапелкина».

Генерал знал деревню Новинское. Вот она на карте. Его армия выбила из деревни немцев. Это было на днях. Сейчас линия фронта передвинулась на запад, и в Новинском, пожалуй, не слышно сегодня даже далеких орудийных раскатов.

На голубом конверте не было никаких пометок, обычных для корреспонденции, которую привык получать командующий армией: «Срочно», «Не задерживать», «Аллюр три креста» и т. д.

Тем не менее, прочитав письмо, генерал Говоров вызвал адъютанта и отдал приказ — немедленно, во что бы то ни стало, разыскать Мишутку Сапелкина.

Порученец помчался в деревню Новинское с приказом генерала.

Через два дня генералу доложили, что Мишутка найден. Семилетний мальчик вместе с семьей учителя Наумычева все это время скрывался в лесу. Он жил в землянке и благодаря заботам старого учителя избежал встреч с фашистскими посторонними.

Той же ночью, когда вернулся порученец, генерал отправил ответ Л. С. Сапелкиной.

Он сообщил все, что знал о Мишутке — одном из миллиопов Мишуток, ради которых генерал далеко за полночь сидит в штабе, склонившись над картой.

И. РУЧИЙ

В БОЯХ ЗА РОДИНУ

I

Шорох сада. Рассвет соловьиный,
Над рекою темнеющий тай.
Снова синящься ты мие, Украина,
Мой виллиевый, мой солнечный край.
Вновь я вижу степные просторы,
Серебристую синь тополей,
Небеса, голубые, как море,
Золотистые волны полей...
Вот такой я тебя и запомнил.
И нигде не забуду вовек.
Твой простор, голубой и огромный,
Ширь степей и мерцание рек.

II

Ой, Днепро мой, Днепро величавый,
Расскажи мне, что стало с тобой?
Вспомнишь ли прошлую славу,
Или в новый гот вились бой?

Что гремит там над степью туманной?
Запорожские ль скакут полки?

Действующая армия
Северный флот

Блещут сабли, синеют туманы
Или мреют в степях бупчуки?

Или солице туманится мглою,
Половецкие кони пылят?
Или вновь под монгольской ордою
Задымились родные поля?

Нет, прошли времена Тамерлана,
Черный путь их развеян и стерт.
Не слыхать половецкого стана,
След затерян батыевых орд.

Только там, на старинных могилах,,
Где незванные гости лежли,
Кычут совы степные уныло
Да под ветром шумят ковыли.

Да проходит казацкая слава
По днепровским крутым берегам,
Над землей, над рекой величавой
Нам па радость,
На гибель вратам!

НА МИНСКОМ ШОССЕ

Лето 1941 г.

И эти устали маленькие ноги,
Но он послушно продолжает путь,
Еще вчера хотелось у дороги
Ему в романах половых успеть.

Но мать несла его, теряя силы,
В пути минуты длились, словно дни.
Ему все время непонятно было,
Зачем свой дом покинули они?

Зачем старик, их уточавший медом,
На пасеке колхозной ульи жег?
Он многое увидел мимоходом,
Но в первый день понять еще не мог.

Что значат взрывы, плач, дорога эта?
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зеленой у кювета

Раскинув руки, рядом с мамой спят?
Как тяжело выслушивать вопросы!
Могла ли малышу ответить мать,
Что этим детям, спящим у березы,

Что этим мамам никогда не встать?
Но сын вопросы задавал упрямо,
И кто-то объяснял ему в пути,
Что это спали нежные мамы,

От бомбы не успевшие уйти.

И он затих под лязг машин железных, Как за огромным небом ускользнуть.
Как будто торе взрослых полил вдруг, Отец, запомни эту встречу наизу, В его глазах, недавно безмятежных, Я подрасту, я тоже буду мстить!»

Так детство кончилось, он прежним бояться не был, Когда он лежал в атаку, исполнения

И чтобы мать от бомб убийц спасти, Штыком и пулею свой долг отца.

Следил ревниво за июльским небом
Малыш, седой от пыли, лет нести.

Убийцы на дорогу налетели.
Боец в кювете спрятал малыша.
Мать плакала. Вокруг дрожали оли,
Летели бомбы, воя и визжа.

Свой дом боец покинул по тревоге,
С женой ребят оставил семерых,
И этот мальчик, встреченный в дороге,
Ему напомнил одного из них.

В отцовском сердце стволом отзывалось
Биение детских тореостных сердец.
И этот мальчик, так ему казалось,
Взыпал безмолвно: «Отомсти, отец!»

Он будто говорил: «Я с мамой вышел,
Ножинув летский сад, друзей, подруг,
Где нам на радость мирно зрели вишни
И по утрам так звонко пел петух».

Он будто говорил: «Мне объяснили,
Зачем жгут ульи, угоняют скот.
Ты думаешь, что я седой от пыли? —
Нет, я седой от горя и забот.

Мой путь тяжел, в пути несус я
стражу —

Бойца на запад месть вела святая,
И был землистым цвет его лица,
Когда он лежал в атаку, исполнения
Штыком и пулею свой долг отца.

И. РАХТАНОВ

МГУ

Я решил взять с собой только полевую сумку, где в полной боевой готовности лежали: полотенце, мыло, зубная щетка, чернила для вечного письма, блокноты и ИЗ — нетривиальный запас — коробка трубочного табаку, вывезенная еще из Москвы. На неделю всего этого добра должно хватить!

Никогда прежде не ездил я с такой легкостью. Теперь дорога стала для меня родным домом, и, вероятно, после войны мне трудно будет привыкнуть к оседлой жизни. На войне день не приходится на день и ночь не похожа на ночь — никогда утром не знаешь, что будет с тобой вечером, где приключишь ты голову. Мелькает дорога, мелькают деревни на пути, мелькают люди — быть может, ты встретишься с ними вновь, быть может, они уйдут от тебя совсем. Вот мы вместе вытягивали из грязи непослушный буксовавший ЗИС, вместе грызли последний взятый со дна нефтромокаемого мешка черный просоленный сухарь, и когда снова встречаешься с этим человеком, пусть даже незнакомым, оказывается, что твоя жизнь сопряжена с его жизнью и разорвать вас не просто. Перед тем, как расстаться, мы даем друг другу свои адреса и телефоны. Это адреса мирного времени, и мы не знаем, работает ли телефон, не заселил ли управдом в комнату новых тыловых жильцов. Вы всегда найдете меня по телефону, он висит над кроватью, и мне ничего не стоит протянуть руку — звоните, обязательно звоните! После войны... Ох, и никто же будет после победы!

Дорога идет спесом. Русские леса осенью... Никогда не предполагал я, сколько очарования в клевом листке, чуть подернутом первым осенним батрянцем. Задумчивый, величавый, спокойный стоит лес, стоит, как будто люди не ведут войну, будто нет на свете фашистов и Гитлера нет. В этом году весь лес пророс грибами; спрятанные в опавших покалечивших листьях головки белых так и просият — остановись, найди, сорви нас.

Мы обедаем в городе. Этот город стал уже своим; все в нем теперь мило сердцу — и сквер, у входа в который с фанfareми поготовое застыли мраморные пионеры, и редакция местного органа, где печатается наша фронтовая газета.

Перед поездкой падо хорошо и плотно пообедать — кто знает, где будет следующая остановка. Мы едем на самые передовые позиции, с пами комуфлированная в фантастические цвета осени тяжелая передвижная радиостанция. Называется она МГУ — и это не Московский государственный университет, а Мощная говорящая установка. Назначение ее столь же необычно, как и

расшифровка этих трех знакомых каждому москвичу букв. Помоществом этой машины мы будем говорить с немцами. Десять человек обслуживают эту сложную установку. Тут и радисты, и техники, и переводчик, и плеинный, и постоянно хлопочущий насчет горючего начальник. Целая труппа для гастрольных разъездов! Выступление этого театра происходит у переднего края театра военных действий, и амбодисментами ему обычно служат разрывы минных и пулеметных очередей.

Мы готовы к этому. Төкет, который должен прочесть перед микрофоном пленный Ганс Майер из Мюнхена, заключает в себе взрывную силу.

Ганс — пекарь. Я был на первом его допросе. Он вошел в блиндаж улыбаясь. Война для него уже осталась позади, и теперь он радовался жизни, радовался смолистому запаху свежесрубленных сосен, которым облицован блиндаж.

— Как вы представляете себе конец войны? — спросил его переводчик, старший лейтенант.

— Не знаю, — ответил Ганс и улыбнулся широко и открыто. — Я хочу только, чтобы остались живы мои родители.

— Для этого нужно, чтобы не стало Гитлера, — сказал переводчик, старший лейтенант.

Ганс согласился написать письмо солдатам своей роты, больше — он вызывался сопровождать нашу машину в поездке на передовой край обороны.

Мы натаскили в грузовик много сена и сейчас мягко покачиваемся на ухабах улучшенной трунтовой дороги, которая идет к старинному русскому городку Трубчевску, вотчине князей, кажется, Трубецких. Наш путь лежит туда. Там на переправах через реку сейчас бои. Мне эта дорога уже знакома. В прошлый раз я выехал из штаба армии с фельдъегерем, отозванным на легковом автомобиле оперативную сводку в штаб фронта. У нас было в обрез горючего — только чтобы доехать до леса около города, где расположился наш штаб. Шофер, старшина по званию, человек веселый, москвич, много видевший на веку и поэтому наделенный иронией, вытаскивал эмку из грязи, беспрестанно лягавая:

— Пошли машины в яростный поход!

И в самом деле, поход наш был полон ярости. Через несколько километров после Трубчевска мы сожгли все горючее. Эмка остановилась. Кругом было поле, моросил первый осенний дождик, вся окрута одуряющее крепко пахла коноплей, и на дороге, пустой и размытой, не виделось и признака встречных или проходящих машин. Фельдъегерь, ругаясь, завернулся в плащ-палатку и пошел искать ближайший колхоз или МТС, рассчитывая добить там хоть немножко горючего, чтобы заправиться до первой же базы. Ветряная мельница упала вращала неправдоподобными по величине крыльями, и мне вспомнился Дон-Кихот. Я задремал под монотонное пение о яростном походе.

Через полчаса фельдъегерь вернулся насквозь промокший. В МТС не оказалось горючего. Откуда-то издали слышалась артиллерийская канонада, на дороге попрежнему не было ни души.

— Братцы, — сказал шофер, — а где мы?

— По дороге из Трубчевска, — ответил фельдъегерь, — и нам сейчас амба.

— Не то. На чьей мы земле? На своей или на германской?

— Вся земля лапша, — как-то неопределенно сказал фельдъегерь, — я предлагаю спать до стука.

— Раз припято такое решение... — промолвил шофер и зевнул.

И мы действительно заснули. Впереди разгорались спаряды, каждую минуту над нами мог появиться «Мессершмитт» или «Хеншель», но мы спали безмятежно. Так и бывает на войне. Разбудил нас шофер проезжающей мимо машины. У него мы взяли несколько котелков горючего и кое-как, все время оглядываясь на указатель, добрались до деревни, где стояла цистерна с бензином.

Я старался теперь узлать то место, где мы теперь стояли. Прямо против нас была четырнадцатая мельница — за ней возвышался лебольшой бугорок с однокой кудрявой береской. Но мельниц и бугорков встречалось немало, и к вечеру мы приехали в Трубчевск.

Расположились мы на полу у коменданта трубчевского гарнизона. Я заметил, что военная шинель, заменяя и матрац, и одеяло, и подушку, остается шинелью и назавтра выглядит словно из-под утюга. Поставим этой фразой памятник неизвестному изобретателю шинельного сужна и поблагодарим его от лица всей нашей службы. Пятача с шинели уходят как-то сами собой. Мне пришлось однажды ехать на паровозе. Я перепачкался весь, потому что стоял на самом тендере, откуда кочегар шоминутно выбрасывал мелкий приглушенный уголь. На следующий день, хотя щетка и не касалась ее, моя шинель выглядела так же молодо, как и до того, как я по скользким скобам поднялся на тендер.

Комендант Трубчевска, товарищ с чудесной украинской фамилией Добры-вечер, сидел за большой оперативной картой района, когда мы вошли в ком-нату, и черно-красными стрелами отмечал возможные пути движения наших войск.

— Тут, други мои, живая тактика, — сказал он, — и в академиях ее будут изучать. Вот тогда меня вспомните. Знаете, что такое операции в районе города Трубчевска? История! О них писать и писать будут. И, верно, все не напишут. Как говорится, живем мы с вами в историческое время, дорогие товарищи, это чувствовать каждому надо. А в работе бывает, что и забудешь. Потом возьмешь карту, вспомнишь, что по тактике проходил, — и волосы дыбом. Новое, все новое! И всему этому я свидетель, всему соучастник! Вы ужитали? — без перехода спросил он.

Нет, мы не ужинали. Комендант распорядился, чтобы нам выдали сухой пакет. Большие солнечные сенгилебские звезды отражались на банках рыбных консервов. Товарищ Добры-вечер пожелал нам спокойной ночи, полковой комиссар расположился у него в кабинете на полу, а я с Гансом Майером и переводчиком, захватив шинель, пошел на сеновал.

Прежде чем заснуть, мне захотелось поближе познакомиться с нашим переводчиком. До сих пор я встречался с ним только на допросах. Темнота и аромат свежескошенного сена располагают к откровенности. Переводчик рассказал, что война застала его с загранпаспортом, в кармане. Он должен был ехать в Берлин.

— А сейчас вроде как Берлин приехал ко мне, — сказал переводчик.

Ганс Майер спал. Вероятно, он видел счастливый сон — даже и теперь улыбка не сходила с его пухлых мальчишеских губ.

— Знаете, — продолжал переводчик, — война научила меня говорить в повелительном наклонении. Другого немцы не понимают, а это действует безотказно. У него дисциплина прежде всего. Ты повышаешь голос, говоришь, как

подобает командиру, и он слушается. Нужно только приказывать, только диктовать...

Это были последние слова, которые я услышал в эту ночь; возможно, что переводчик говорил еще, возможно, он заснул так же, как и я. Голос его все удалялся — я чувствовал, что проваливаюсь куда-то в глубину думяного сена, и это было приятно.

Утром мы проснулись рано. Звезды еще не успели скрыться с небосклона, когда начальник МГУ убежал. Куда? Конечно, хлопотать о горючем. И дорога продолжалась. Теперь мы ехали полем. Несмотря на приказы, урожай, чудовищный в этом году, убирается не быстро — нехватало рабочих.

В деревнях нас встречали теплым молоком и антоновскими яблоками. Бабы заставляли своих детей искать среди нас отцов.

— Где же наши батька теперь? — говорили они. — Ищи свою батьку. Может, он туточки.

Когда машины подъезжали к деревне, Ганс Майер, уже без улыбки, зарывался в сено — у него были вполне основательные причины не встречаться с нашим населением. Зелено-серая его шинель, голубые глаза, рыжие волосы вызывали неприятность. И трудно приходилось полковому комиссару, уговорившему, что это нужный немец, что он полезен для агитации. Бабы не хотели слушать. Какими только словами не честили они его! После каждой нашей остановки, жуя грушу или яблоко, данные ему от щедроты русского сердца, Ганс грустно говорил:

— Капут, аллес капут!

И в голубых его глазах мелькало что-то похожее на тревогу.

Мы ехали дальше. Ревел мотор, вертелся ветряк, искусно сооруженный из соломенки нашим шофером, километры мелькали быстро.

У встречных бойцов мы стали замечать сигары. Все курили не самокрутки, не козы пижки, не папиросы, а сигары. Почему?

К вечеру нам открылось зарево. Иылало небо, и звезды пропали в ослепительном блеске огня, языковатое пламя вздыпалось ввыгину, падало на землю, на лес, на дома и, словно получив новую силу, снова летело куда-то в черноту и неизвестность. То горел город П., славный на весь Союз своей новой сигарной фабрикой. Мы были у цели. Часть города принадлежала нам, часть захватили немцы.

— Ну, теперь, капут, твоя работа начинается, — сказал шофер Гансу Майеру.

Он уже так прозвал его. Но прежде чем читать приготовленный для немецких солдат текст, нужно было замаскировать хвост машину, установить микрофон, протянуть кабель от станции к лювету, где расположился Ганс Майер.

Было жарко и светло от зарева. Мы вышли к реке, чтобы не мешать радиостанции слышать, когда начнется передача. Теперь видны были дома, улицы, высокая колокольня горящего города.

Огонь всегда действовал на меня неотразимо. С детства любил я зажигать спички — на кончики деревянной палочки вдруг расцветал махровый горячий цветок. Не смотреть на это чудо было выше моих сил, и, каюсь, я извел немало коробок. Часто любовался я тем, как, развиваясь на маленькие раскаленные угольки, сгорают в печке дрова. В пионерском лагере я всегда

разжигал костер, нещекой ценой добиваясь этой части. Но с тех пор, как я увидел горящий город И., огонь перестал манить меня.

Здесь свирепствовал косматый зверь. И все живое бежало от него. Тысячи крыс, кошек, собак пересыпали пепелистую речку. Все, что имело ноги, чтобы дрыгаться, уходило, удирало, спасалось. Люди давно покинули город — никто не тушил пожарища. Мы слышали рев могучего пламени, и пламя долетали к нам с того берега.

— Немецкие солдаты! — неестественно громко загремел по-немецки голос из леса. — Немецкие солдаты! Это говорю я — ваш товарищ Ганс Майер из Мюнхена! Слушайте мою передачу. Слушайте правду.

И вдруг в гуле пламени послышались удары колокола. Это немцы заглушали слова Ганса Майера.

То была поистине фантастическая ночь! Зарево бушевавшего огня, темный сказочный русский лес, крысы, кошки и собаки, виляя хвостами, подружившиеся, церковный колокол, бьющий не в праздник, а в черную годину народного горя, и город, отданный сумасбродству огня...

— Меня нельзя заглушить! — гремел Ганс Майер, усиленный мощными репродукторами, — Гитлер послал нас сюда на верную гибель! Немецкие солдаты! Их огонь, их вода, их воздух не победят России. Для каждого из нас в ней найдется по три метра земли. Бросайте оружие! Переходите на сторону Красной Армии! Я, Ганс Майер, силен и счастлив в пламени. Для меня эта страшная война окончилась! Передаю привет моим родителям в Мюнхене. Жду вас, немецкие солдаты!

И снова Ганс повторил свою передачу. И на минуту не переставал бить колокол на объятой пламенем колокольне. Значит, слова нашего текста дошли, и нужно опять произнести их.

Мы сели в машины, проехали небольшое расстояние, и с новой позиции репродукторы снова послали на шесть километров вперед призыв Ганса.

— Слушайте нас, обманутые и исковерканные Гитлером сыновья германского народа! С вами говорит солдатская правда. Я, Ганс Майер, солдат из Мюнхена...

Больше Ганс не сказал ничего. Мипа разорвалась около самого кювета. Колокол перестал бить.

— Я, солдат Ганс Майер из Мюнхена, — голосом Ганса продолжал переводчик речь Ганса, — призываю вас...

Мы летели на землю. Передача продолжалась. Немцы были вправо, влево от нас, назад, вперед. Поймать, откуда идут звуки, они уже не могли.

Переводчик прочел весь текст. Теперь к визгу минных разрывов прибавилось стрекотание пулеметных очередей. Содрогаясь, лес взбесился, — он визжал, лязгал и громыхал. Дальше оставаться тут было нельзя. Шла охота за нами.

— На сегодня хватит, — сказал полковой комиссар, — завтра опять приедем. Тогда и Ганса похороним.

Осторожно вывели мы из-под обстрела наши машины. Я сидел рядом с шофером в кабине. Мы достали из моей полевой сумки ИЗ — неприкосновенный запас — коробку трубочного табаку «Золотое руно», распечатали ее и закурили. У нас было сознание успешной проведенной операции.

И. РАХТАНОВ

ПИСЬМО

Чуда не случилось — поезд шел по рельсам, не летел, не мчался, а полз медленно-медленно. И все же это было чудо: Башлыков ехал в Москву, возвращался домой. Даже в самые жестокие минуты жизни он не забывал думать об этой встрече.

Конечно, Марина не придет на вокзал, она и знать не будет.

Лучше неожиданно войти в комнату, сказать: вот он я, прямо с фронта, из-под огня, из окружения, смотри на меня, дорогая, любуйся, цел, жив-здоров, а знаешь, бывало страшновато. Ползем мы однажды через большак по-пластунски, а немцы по нас минометами...

Нет, им о чём о таком Марине рассказывать не надо. На войне хорошо, я там полюбил природу, лес, увидел восходы солнца, ведь прежде я мало восходов видел, только в детстве, мальчишкой, когда ходили в ночное.

И об этом не стоит. Марине моя любовь нужна. Еще в дверях, не входя в комнату, надо ей сказать, что мне было горько без нее, что я всегда думал, вспоминал дни наши и ночи. Однако про это как расскажешь? Только она без слов сама поймет! Она — умная. Тоже, должно быть, печалилась, не спала, все гадала: ранен, убит, ранен, убит. А в это время он спал, ел, пил, ему даже весело бывало.

И сейчас он совсем не ранен, он только здоровее стал и просто едет в Москву по делу, так сказать, по казенной надобности, в командировку. Занятно. В командировку, а домой... Но где теперь дом, кто разберет? Его и из домовой книги, люди, уж выписали. Ничего — кончается война, обратно вишут.

Выйдя на перрон, Башлыков постучал салогом об асфальт, хотелось удостовериться, что он действительно в Москве. Прежде, чем Марину, он увидит Москву — как странно, все хорошее в жизни начинается с буквы «М»: Москва, Марина, эмпайя, метро...

Сейчас он поедет по московским улицам, — говорят, они совсем не пострадали от бомбежек, — в трамвае на знакомом семнадцатом номере. Это новые вагоны, похожие на зеленых лакированных жуков в Брянском лесу. Здесь в этих вагонах толкаются сильнее, чем в старых, но так хорошо, когда в трамвае толкают, а если не нравится, можете ехать на такси!

В Москве было солнце и снег. И город — полупустой. Ну да, Башлыков так и думал. Ведь сколько народа отсюда выехало — кто куда, кто на Запад, кто на Восток: сторон на свете четыре — можно выбирать.

А Марина никуда не поехала, она его ждала — из Москвы легче связаться. И еще она верила, если он на фронте — немцы в Москву не пройдут. Но *passat*, шалишь, Гитлер! И было ей страшно, когда радио объявило требовту за тревогой, но она ждала, не плакала, а ждала даже тогда, когда письма совсем прекратились.

Он тогда у деревни Дьячково в окружение попал. Немцы их ловким маневром на переправе обошли. Пришлось по лесам, по тропам выбираться, пти пешком, обходя населенные пункты, где уж пановал враг.

Может быть, когда-нибудь, он об этом расскажет своим детям и будут они слушать про лесную жизнь, как боялись костер разводить, как зажигали огонь стеклянком от бинокля, потому что все спички при переходе через реку пропали.

А сейчас не надо об этом думать.

Вот на площади милиционер девушку штрафует за то, что в неподходящем месте улицу перешла, квитанцию ей выписывает — как это верно, как хорошо... Живет Москва, все в порядке!

Его толкали в трамвае, а он улыбался, и пассажиры не удивлялись. Они видели, едет командир с фронта. И каждый ему готов был место уступить. Какая-то старушка на остановке сказала:

— Вам с передней площадки можно, вы, верно, домой?

— Домой, бабуся, домой, — ответил Башлыков.

Ему хотелось поцеловать старуху. Не уехала она из Москвы, верила в него: если он там, на войне, — значит, все хорошо будет.

Ходят по улицам люди, дворники скапывают с тротуаров лед, подметают снег. А что в кино идет? И здесь «Антон Иванович сердится». Башлыкову стало смешно. Эта картина преследовала его во всех городах, через которые пришлось проезжать, но посмотреть ее ему так и не довелось. Сегодня же вечером он, вместе с Мариной, выяснит, что этот Антон Иванович, на кого и за что он сердится. Но в темноте, когда начнется музыка, Башлыков будет смотреть не на экран, а на лес — какая она. Они ведь и встретились в кино, тогда, в первый раз.

— Зубовская, кто за десять копеек билеты брал, кончились, — сказала кондукторша.

Вот он, дом. Двери, как в церкви, большие. Родной дом! Семь месяцев здесь не был. Интересно, работает ли лифт, он и до войны чудил, то действовал, то нет. И теперь кабинка где-то на четвертом этаже застряла. А лестницы у нас легкие, удобные, только высоко, под самой крышей. И как это Марина в беспокойный час бомбежек не боялась, не шла в бомбоубежище, оставалась дома одна?

— Вы в какую квартиру, товарищ военный? Не в двенадцатую? — спросила почтальонша, догоняя его.

— Туда.

— Возьмите, пожалуйста, письмо, а то замаялась я, сегодня все по этажам бегала.

— Давайте, отдам.

Интересно, кому бы это? Кто из жильцов остался, — с кем коротала Марина страшные зимние дни, вечера?

— А знаете, это письмо моей жене.

— Вот и хорошо, — крикнула почтальонша уже откуда-то снизу с третьего, что ли, этажа.

Письмо без марки, красноармейское. Кто ж это пишет Марине с фронта? И почерк незнакомый, какой-то писарской, с завитушками... надо узнать... И Башлыков засунул письмо в карман гимнастерки.

Он открыл дверь парадной своим ключом. Только бы Марина была дома. Вот она. На стук его шагов встала с дивана и к двери бросилась, чернобровая, высокая, на звонких высоких каблуках, такая, какой на передовых в снах являлась.

— Ты? — сказала она, и вырвала у него из рук чемодан.

Потом, не говоря ни слова, побежала на кухню, вернулась, взяла чайник и опять ушла, и через минуту Башлыков услышал ее голос, громкий радостный, и встревоженный, что-то объяснявший соседке.

Только за часем Башлыков вспомнил про письмо. Он вынул его из кармана и протянул Марине.

— Тут письмоносец на лестнице мне вручил, дорогая.

Марина распечатала конверт: в ответ на ее запрос письмо извещало, что майор Арсений Михайлович Башлыков пропал без вести.

А. ГОРОБОВА

ВОДА

Бойцы долго не могли привыкнуть к его имени, гулкому и картавому, как дробь барабанных шалочек. Потом Курбан-Дурды-Мурда полюбили, по все-таки удивлялись ему. Он, например, разговаривал с головастиком, которого подобрал в лужице. Головастик лежал на ладони, а он гладил его що спинке пальцем. Он разговаривал с камнями, он жалел листья, которые, еще не желтов, облетали с деревьев от грохота пашей канонады. Когда обознуюю лошадь, здорового битюга, возившего походную кухню, ранило осколком, он лечил его землей, сухим павозом, словами, он садился возле него на корточки и плел. Наш полигон Фадеев спросил его: «Что это за песня?» — Оказалось, что это даже не песня, а просто так, мысли. Он пел про облако, про лист, про сурка, вылезшего из норки, про камень, про бригадного комиссара, которого коптузило. Курбан не был трусом, но воевать не умел! Рассказывали, что там, в Туркмении, он был пастухом. Но-русски он говорил почти свободно, но у него был какой-то воркующий, нерусский выговор. Его определили к лошадям.

Однажды тот же полигон спросил его в шутку:

— Курбан, почему у тебя лошадь ржет? Это непорядок!

Он обиделся. Ответил, что это человек ржет, а лошадь кричит.

Рассказывали, что он участвовал в том знаменитом пробеге туркменских колхозников из Ашхабада в Москву.

Бойцы оберегали Курбана. Ему старались найти валенки потеплее, по поге, беспокоились, как он перенесет московскую зиму. Оказалось, что он морозов не боится.



Вдруг, какая-то сволочь дала знать немцам, что мы близко; вот они и решили устроить нам бани за речкой, у холмов, где можно было укрепиться. Пока что они все-таки, не женская, убрались подобру-поздорову с нашей дороги. Мы узнали это по походной кухне, в которой варились какой-то брандзахлыст: он был еще горячий. На прощанье они все-таки успели кое-где напортить. Прикончили горбатенского сторожа из сельсовета и бросили труп на крыльце. Недожгли все избы по той улице, где сельсовет. И когда наша часть вошла в деревню, пламя над этими избами еще бушевало и трепыхалось. От всего этого побои стало живым, оно словно оттаяло. Потом, когда мы уже разместились по избам, потек жидкий снег — белые хлопья поползли с чернигами. Где-то горела колхозная конюшня, — мы узнали это по тому, как запахло горелыми

копытами и палевым конским волосом. Курбан сразу кинулся на этот запах, и мы уже ждали, что он приведет нам коней с опаленными гривами. Но он не пришел и не привел этих несчастных лошадей. Он задержался около одной избы, которая сгорела только наполовину.



Изба стояла на краю деревни, на самом откосе, где взбитым пухом лежал снег. В этой избе жила Ксюша — дочь молочницы.

Ей было четырнадцать лет. Она была безброй, озорной крестьянской девочкой. Юность, которая стояла на пороге, делала ее тощие. Ее голубые глаза, казавшиеся пеглубокими из-за рыжеватых, коротеньких, совсем светлых ресниц, вдруг стали похожи на весенние лужи, в которых отражено ясное небо. Руки, отрубевшие от мороза, от холодной жести молочных бидонов, которые Ксюша носила на станцию, трепетно прижимались к груди. Где-то за оклицией она слышала легкий скрип шагов. Распластав руки в облезлых рукавах старенькой шубки, она птицей летала по откосу и падала лицом в пухлый снег. Иногда ее охватывала тоска. Она скривлялась с лавки (мать кричала: «Ксюшка, куда?») и, даже не покрывшись платком, выскакивала в темные сени, где в бочке замерзала вода, во двор, заспелый пурпурный от луны.

Ксюша так и не узнала, отчего это лед поет на реке ло-птицы, из каких это зимних садов пришла юность и стала на пороге.

В избе еще дым ел глаза, сверху сыпалась сажа, и Курбан-Лурды, подобрав на полу тлеющий ворох платя, старался прикрыть мертвые детские поги Ксюши.



В тот день были жирные щи с торчичкой! Но пам было не до них. Наш полицюк Фадеев вошел в избу, когда мы как раз обедали. Мы думали, он прощи заговорит, а он вот что:

— Вы, ребята, последите, как бы папп Курбан не заболел. Сердце у него, как новорожденное дитя, а его вынесли незаполенутым, прямо на мороз.

Мы сперва не поняли, что это он говорит, а когда поняли — погнали ложки и кинулись к той избе.

Сидит Курбан на корточках возле детского трута, а глаза у него белесые, выела их свет тоска.

— Ну, рехнулся!

Мы стали потихоньку с ним заговаривать. То говорим, другое говорим, а он все свое — совсем забыл русский язык.

— Баджи! Баджи! — значит — сестра, а мы хорошо знаем, что никакой сестры у него нет.

Потом эту девочку мы похоронили над рекой. Сделали ей хорошую, глубокую могилу, даром что земля была как железная, — ее бы нужно динамитом взрывать! Но мы рук не жалели, мы рубили эту землю на сорокаградусном морозе. А Курбану будто с тех пор вложили в грудь свечу, и она там горит, жжет огнем сердце.



Рассвет начался не сверху, а снизу, от снега, от него все было ровным, сипим, как во сне. День начался мирно, — не так, как это было до войны, а

как бывает между двумя боями. Курбан шел от проруби и нес воду, чтобы напоить лошадей. Вода пlesкалась, но через край ведра не переливалась.

В небе появились самолеты. Они летели в беспорядке, и, казалось, это всепугнутые вороны кружатся над деревом, чтобы сесть на него. Они сделали один круг, построились в звено. От переднего отделились черные орешки — бомбы.

Недалеко от кюшиной могилы в снежном окопчике залегли люди полугруда Фадеева. Стрелять было не к чему, они лежали и ждали. Кроме них, и не было другой цели для неприятельских бомб. Впереди стелилось снежное поле и голый, жидккий лес, сквозь который виднелось еще одно поле и дорога. С самолета можно было видеть бойцов. Но бомбы не попадали в цель, все время ложились неподалеку, перед лесом, и взметали снег. Он наполнял воздух стеклянной пылью, хлопьями, оледеневшими комьями. От этого бурана валились в лесу деревья, цепляясь друг за друга ломкими сучьями, смерть двигалась то вправо, то влево, вместе с гудением самолета.

Бойцы лежали в окопчиках и думали — с кем раньше проститься, с женой, или с матерью, или с сыном, и тут вдруг — самолеты скрылись. Потом они снова появились, на этот раз уже без бомб. От переднего самолета отделились два клубочка, летоныих, как одуванчики. Они плыли и покачивались в небе.

— Ничего, голубчики, — сказал полугруп Фадеев, — мы вас скоренько пайдем.

Эти парашютисты были первыми пленными, которых увидел Курбан.



— Мы даже не очень торопились, когда шли за ними к лесу, мы знали, что все равно далеко не уйдут. Они петляли как зайцы, в конце запарились, чуть языки не повысовывали, и, в конце концов, залегли в овражек под кустами. Тут мы их и взяли. Когда их вели к штабу, у них губы пересохли от страха.

— А бомбить нас, песни дети, ничего — не боялись!

Один все время облизывал губы, — проводил языкком, и видно, что язык прилипает к губам, тоже сухой. Один паш боец протянул немцу флягу с водой. Не от жалости, — протянул, просто тошно было из этого немца смотреть, на его подальные глаза, пускай хоть перед смертью выглядит, как человек.... И тут мы увидели Курбана. Он шел от реки прямо с того снежного бугорка, где кюшина могила. Из-за этого бугорка как раз вставало солнце, наше красное русское солнышко.

Курбан подошел к нам, увидел фляжку у немца в руках, и вдруг, — мы даже не думали, что он такой — наш Курбан, паш юнох, — выпил прикладом эту фляжку.

...Всю ту ночь Курбан подкладывал дрова в печурку, которую мы сложили в нашем блиндаже, смотрел на красный березовый уголь, от которого шел жаркий дух, и спал.

Наш полугруп Фадеев еще в гражданскую войну был в Туркмении, сражался там и по то, чтобы хорошо знал ихний язык, но все же кумекал. Он рассказал нам, про что эта песня и вообще про ту сторону. Про песни, где кувыркается ветер, про тауры — гладкую, пустую землю, на которой не

растет трава, а про колодцы с горькой водой. И пока наш политрук говорил, Курбан кивал головой и цокал языком.

— Якын! — значит — хорошо.

Наш политрук говорил, что цепа воде в Туркмении — дорогая, потому что заблудится человек в песках, не найдет колодца и умрет. Когда-нибудь мы пустим в эти пески воду, и они зацветут. А цветы там будут такие: мысалы, розы и, наверное, мати. Курбан слушал, что говорит политрук, и кивал головой.

Это было в 10 часов, а в 12, в самую полночь, мы пошли в атаку. Мы видели, как Курбан шел рядом с пами, а потом ~~впереди~~ пас, и на его трехгранным штык, как яйцо, перекатывалась луна. В последний раз мы увидели Курбана, вернее сказать, его огромную тень. С этим самым штыком наперевес скачками падла она по земле прямо навстречу врагам.

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ ВЕСНА НА ФРОНТЕ

Весна на фронте... Ветер чистый,
И торопливая капель
С ветвей сырых в лицо танкиста
Летит сквозь смотровую щель.

Уже оттаяли полянки.
На тополях кричат грачи...
В село вступают наши танки
Через канавы и ручьи.

И, лук открыть, короткой речью
Селян встречает шолтирук,
К нему бегут уже навстречу...
Его качают сотни рук!

Пусть долг луть маш был и труден,
Но вот — награда за войну:
Мы принесли сегодня людям
Свободу, счастье и весну!

ЛЕОНИД ЕЛИСЕЕВ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Обычный день. Весенний день войны. Но долгожданная ракета поднялась,
Сейчас бы почкам наливаться соком. И враз три батареи загремели.
Но черен ствол обугленной сосны,
Еще недавно стройной и высокой.

Обычный день. И, может быть, сейчас
Грачи бы на опушку прилетели,

И, может быть, об этом дне весны
В вечерней сводке и не написали,
По мы еще версту, до сваленной сосны,
Пусть голой, но родной земли отвоевали.

ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ МОСКВА ВЕСНОЙ

Опять весна!
И дворники привычно
На улицах сражаются со льдом.
Москва как будто выглядит обычно,
Но чуть построже смотрит каждый дом

Лучи весны на льды ведут атаки
И золотят Москвы пригожий день.

А вдоль по улицам проходят танки,
От башен их бежит косая тень.
И ястребки, показывая ревность,
Над крышами летят, как ураган.
...Москва стоит — незыбленная

крепость —
На страхе врагам.

В. ГРОССМАН

НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ

(Очерки)

ДРУЖБА

Чувство дружбы связывает участников нашей великой войны за свободу. Дружба в бою, дружба в походе, дружба на отдыхе. Всюду, во всем видна она. Посмотрите, как укладываются бойцы спать, натягивая шинель на товарища, как уступают друг другу место у огня, как охотно делятся они друг с другом едой, как угощают друг друга табаком. Посмотрите на командиров и комиссаров — это уж вечно в землянке слышишь: «Да ложись ты к печке, ты ведь простужен», «Опять ты у шапки уши на ветру не спустил». «Дай-ка я тебе ворот подниму». Сколько раз приходилось видеть командира, который с веселой торжественностью говорил: «Сегодня у нас праздник, комиссар письмо от жены получил» или, наоборот, услышать огорченный шепот: «Беда с моим майором, принесли сегодня письма, опять для него нет ничего». Сколько приходилось читать совершенно семейных писем от товарищей к раненому, от раненых в часть. Чувство единой семьи связывает армию. Видели ли вы, с каким уважением слушают украинцы и волжане заунывную песню, которую заводит заскучавший вечером боец-узбек? «Тише, Рассолов поет», — скажет чей-нибудь сердитый голос, и все молча глядят на полузакрытые глаза и смуглое печальное лицо певца.

Но нигде, пожалуй, я не видел такого сильного проявления фронтовой дружбы, как в 1-м батальоне гвардейской танковой бригады. Механики-водители рассказывают о своих башеных стрелках, командиры тяжелых танков — о замечательных заряжающих мотористах, стрелки-радисты — о старших механиках-водителях, и все они вместе — о рыжем, внешне медлительном майоре Карпове, бессменном командире троцкого батальона. Да и как может быть иначе? Этих людей действительно связала железная дружба. Дружба сердца, крови, металла. О своей любви к танку очень хорошо сказал мне синеглазый, большеголовый, огромный двадцатидвухлетний механик-водитель Михаил Криворогов. «Я из Башкирии юмбайнер, я ее до армии с роду не видел. И как увидел, она мне сразу ужасно понравилась, и полюбил я ее по невозможности».

Он повернулся ко мне свою большую, тяжелую голову и веско объяснил: «Танк. Очень красив. Она мощная своим огнем. Мощная своей силой. Она золотая машина». И, улыбаясь, сказал мне: «В атаку ити на третьей скорости хорошо». Да, страшная эта сила — и машина, и скорость, и огонь, и

большеголовый великан Михаил Криворотов. Товарищи рассказали мне о нем такой случай.

Под Штеттвокой его машина семь раз ходила в атаку, уничтожая германские пушки, артсистемы, огнеметы. Неожиданно в левый бак ударили снаряд. Танк запыпал — масло, краска хорошо горят. Экипаж выскочил из пылавшего танка. Криворотов из пылающим танке продолжал атаку один. Он шел все вперед, а танк горел, он уничтожил германскую батарею, раздавил ее, а танк горел... Он развернулся, доехал до своих и лишь после этого выскочил через верхний люк из машины. За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза. Сам он об этом подлинно гостелловском деле сказал:

— Да что рассказывать, немного спину потрепло, — и добавил, усмехнувшись: — По выскочил я среди рычагов, как щука. Раньше в верхний люк не мог среди рычагов пролезть.

Машины и люди — все связано здесь трепко, извечно, — в войне моторов, молодых зорких глаз, смелых голов и опытных крепких рук.

Вот водитель танка товарища Криворотова, ленинградец Александр Богачев. Небольшого роста, с бледным, худым лицом, с холодными светлыми глазами северянина. Он начал войну еще за Львовом, прошел в жестоких боях тяжкий иуть отступления нашей армии. Весь этот путь отмечен разбитыми германскими пушками, раздавленными повозками, сожженными грузовиками, крестами над могилами убитых германских солдат. Это вехи дорог нашего наступления. Эти вехи ставил и он, Богачев. Эти дороги отмечены его кровью. Он никогда не забудет этих дорог. Он никогда не забудет людей, с которыми прошел эти дороги. Он с ними спаян потом и кровью битв. Богачев водит машину Андреева, того, что «попадает в немецкий танк со второго снаряда». До этого он водил машину лейтенанта Крючкова, того, который, увидя пять тяжелых немецких машин, вылез из люка и закрикнул: «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим». — «Давай», — сказал Андреев. Во время одной из атак немецкий снаряд попал лейтенанту в грудь. А танк его друга Андреева в следующий атаке сразился один против шести немецких машин. Механик-водитель Богачев вел на этот раз танк Андреева. Им внове было штии вместе, по кровь погибшего лейтенанта сроднила их. И, глядя на шесть мчащихся немецких машин они одновременно вспомнили Крючкова. В их ушах снова прозвучал голос лейтенанта: «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим». И они ударили одной машиной по шести так же, как били двумя по пяти. И Богачев говорит теперь об Андрееве: «В бригаде такой еще один командир танка — со второго снаряда бьет немецкую машину».

Сила любви и дружбы полней всего познается в разлуке. Михаилу Богачеву дважды пришлось измерить полноту своей любви к друзьям. Первый раз это было летом.

Он был одновременно контужен и ранен в бою под Казатином. Оглохший, с паскоро перевязанной раной, он вылез из подбитого танка и побежал в штаб дивизии просить помощи. Ему хотелось вытащить машину из боя. В штабе посмотрели на его мертвенно-бледное лицо, на блуждающие после контузии глаза, на кровоточащую сквозь рану и сказали:

— Тебя самого надо из боя вытащить, — и отправили его в госпиталь. Он не хотел ити, весь еще охваченный мыслями о сражении, товарищах, машине, исподавленных немецких орудиях и пьяной фашистской пехоте, лежащей навстречу...

В госпитале он провел две недели. После страшного напряжения боев, после печного гудения машин было необычайно приятно и странно лежать на спокойной койке у открытого окна и глядеть на зелень деревьев. Он еще не начал скучать по друзьям, от еще не успел ощутить себя одиноким. Его лишь тревожила мысль, не забыли ли его, ведь они все время в боях. Он писал им письма, чтобы напомнить о себе, но отправить их нельзя было — адрес бригады беспрерывно менялся. Когда он просыпался почью и бормотал: «Ну, яспо, кто теперь обо мне помнит, идут, верно, в машине — и новый механик у них, заряжающий свои шуточки заводит». И он даже начал сердиться: «Ну, яспо, забыли».

Он выписался из госпиталя и долго объяснял коменданту, что его, механика-водителя Богачева, нужно отправить в батальон майора Карпова. Комendant усмехнулся его настойчивости. «Чего так добиваться, они уже забыли про вас, верно», — сказал он, но направление дал ему. «Яспо, забыли», — думал Богачев. Он шел пешком, часто отдыхая. Мимо уничтожались машины, груженные боеприпасами. Неожиданно одна из машин остановилась, шофер махал рукой, подзываая Богачева: «Садись, товарищ Богачев, тут до нас еще пятнадцать километров осталось, подвезу». Первым его увидел полицюк Мартынов. Он вскрикнул: «Эй, гляди, наш Богачев вернулся!» И по этому удивленному и радостному голосу Богачев сразу понял, что его не забыли, и не могли забыть. Волнение, радость охватили его. Он почувствовал, как волна тепла разлилась в его груди, такое чувство испытывал он в детстве, вернувшись после скандала из больницы домой. Эта двухнедельная разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал наслаждение, снова увидев знаменитого Шашло, механика Дудникова, Андреева, Криворотова. Они окружили его, и на их лицах он читал ту же радость, что испытывал сам.

— Да бросьте вы, — отвечал он на их расспросы, — ну, что мне-то рассказывать, вы лучше расскажите.

И действительно друзьям его было что рассказать.

Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом. Его водили обедать, насиливо укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где устроить ему ночлег, «чтобы не хуже, чем в госпитале». Чем только не угостили его в этот день! Все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Вероятно, если бы он спел, выпил, выкурил десятую часть того, что ему преподносили товарищи, ему бы вновь припнулось отправиться в госпиталь. Почью он лежал сильным сердцебиением и не спал, а рядом слышал он дыхание товарищей, — он уже знал, как кто из них спит, ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто хранил, кто произносит неизвестные фразы и отдает команду, кто спит по-младенчески тихо. «Да, а я боюсь — забыли», — подумал он и даже засмеялся от удовольствия. «Ты не спиши, Богачев?» — спросил его лежавший рядом Андреев. «Нет». — «Пойдешь завтра на моей машине?» — «Яспо, майор Карпов сказал». — «Вот и хорошо». Они тихо заговорили о танке. Это был долгий разговор.

И снова началась боевая жизнь. И казалось Богачеву — не было на свете ничего более захватывающего интересного и в то же время трудного, чем эта жизнь. Почти сто дней воевал он после первого своего ранения.

Темным осенним вечером танк поддерживал кавалерийскую атаку. Лил

дождь, было очень темно и грязно. Машина шла с полуоткрытым люком. Липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Богачеву показалось, что он сидит внутри гудящей, вибрирующей гитары, лю которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо, лишь в ушах продолжало булькать, свистеть, звенеть. Товарищи окликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из машины. Он попробовал встать — и упал в грязь. У него отнялись ноги. Несколько километров несли его на руках по липкой, цементной грязи, в темноте, рассекаемой трассирующими снарядами и пулями. «Богачев, Богачев — окликнули его. — Ну как ты?» — «Ничего, — отвечал он, — хорошо». В уме его стояло одно слово: пропал. На этот раз, ему это казалось совершенно ясным, он уже не вернется в батальон. И несколько раз он говорил: «Потише, чего вы так быстро идете». — «Больно тебе?» — спрашивали товарищи. «Да, больно», — отвечал он. Но ему не было больно, он не чувствовал отнявшихся ног. Ему было страшно навсегда расстаться с товарищами и хотелось, чтобы этот печальный совместный путь продолжался подольше. Ведь они шли рядом, несли его на руках — все добрые друзья его. Они сопели и тихо ругались, оступаясь в грязь, и спрашивали: «Больно тебе, Богачев?»

Он пролежал в госпитале около трех месяцев. В бессонные ночи он тосковал — ему все представлялась большая танковая атака. Машины идут развернутым строем: Шашло, Криворотов, Дудников. Он следит в смотровую щель за командирской машиной майора Карпова. Туман мешает ему. Он маневрирует на месте, чтобы не дать немцу пристреляться. «Пушка на левом фланге», — кричит он в микрофон. И вот машина майора вырывается вперед: «Следовать за мной!» Он идет на третьей скорости. Широким фронтом идут они по равнине. Навстречу немецкие танки. Да, это и с чем то сравнимо: быстрая, смертная борьба танков на широком поле — сколько хитрости, сколько зоркого расчета нужно, чтобы ползти на железном брюхе среди минных полей, избегать ям, препятствий. Что может сравниться с тем мигом, когда танк, ревущий, гудящий, многотонный, отважно мчится на ядовитую противотанковую батарею? Теперь Богачев знал, товарищи не забыли его, он проверил их дружбу. Теперь он знал другое — никогда в жизни не забудут они его, никогда в жизни не забудет он их. И неужели же он не вернется в батальон?

И он вернулся во второй раз. Это было совсем несложно. Он пришел пешком — сила снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю и все казалось ему необычным — выкрашенные в белый цвет ткани, белые автомобили, белые тягачи. «Интересно, — думал он, — проехать по такому глубокому снегу. На какой скорости лучше всего идти?» Он очень устал, но не садился отдохнуть. С чувством растущего волнения прошел он по улице деревни. Его пугало, что ни одного знакомого лица не встретилось ему. Он вошел в избу, где был штаб. Все чужие, незнакомые люди. Несколько мгновений он оглядывался. Что такое? Он поискал страшное чувство человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему двери и разнодушино спросил: «Вам кого нужно?» И в эти несколько мгновений он снова измерил всю глубину и силу своей любви.

Сидевший за столом техник-интендант перевернул страницу ведомости и посмотрел на него.

— Майор Карпов здесь? — спросил Богачев и облизнул губы.

— А зачем вам майор Карпов? — спросил техник-интендант и, оглянувшись на полуоткрывшуюся дверь, вскочил.

В двери стоял майор Карпов.

«Богачев!» — крикнул он, и Богачева потрясло, что майор Карпов, медленный, размежеванный в движениях и словах, сейчас подбежал к нему, сспешностью, которой никто никогда за них не знал. Да и голоса такого у него никогда, казалось, не было. «Богачев!» — во второй раз сказал он.

И снова пришли все друзья его — командиры танков, механики-водители, заряжающие, стрелки-радисты, мотористы.

Пришел старый друг Андреев, Бобров, Шашло, Солей, Дудников. На их замасленных гимнастерках сверкали ордена и золотые звезды. Они вспомнили прошлое — эти молодые парни, ставшие ветеранами великой войны. Они вспоминали бесстрашного Крючкича, Соломона Горелышка, которому посмертно присвоили звание Героя, многих потибших друзей, которых немыслимо забыть.

И снова великое тепло дружбы пахнуло в лицо Богачеву, и он измерил драгоценную струю ее. Рассказывал он. Рассказывали ему. Они сидели, утешая его, хотя он был силен, тутали в шапель, хотя в избе было жарко, и спорили, куда его положить спать. Ночью он лежал на толстом матрасе и отдувался от жары, — его настолько закрыли несколькими одеялами и шинелями. Он слышал дыхание товарищеской, он их узнавал по этому дыханию: ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто хранит, кто произносит невнятные фразы и грозно отдает команду, кто спит по-младенчески тихо.

СЛОВО О ШАХТЕРСКИХ ПОЛКАХ

Они ушли из Донбасса, взорвав шахтные копры, вентиляторы, насосы. Оставленные ими шахты мертвые. Штреки и продольные заполняются водой. В тяжелой чёрной тишине слышатся лишь мерные всплески капежной воды да нетромый шорох угольных частиц, отрываемых гремучим газом. Вода заполняет не только нижние горизонты шахт, вода подошла к подземным шахтным дворам, медленно заполняет ствол. Иногда тишина парушается грохотом обвалов — рушится крепление, и порода оседает. Влажный горячий воздух невентилируемых шахт смешался с углекислотой и взрывчатым метаном — малейшая искра может вызвать страшный, всеразрушающий взрыв. Один вдох этого воздуха смертелен.

Они ушли из Горловки, Макеевки, Стальино, Рутченковки. С их уходом умер подземный Донбасс: знаменитая «Смолянка 11», «Софья Цаклонная», «Иван Лидневка», «17-бис», шахта Ленина, «Буденновка». Великая армия сурогового труда ушла из Донбасса. Ушли славные забойщики, крепильщики, запальщики, ушли машинисты врубовых машин, мастера отбойного молотка, глеевщики, шахтные электрички, газовые десятиники, столовые. Они ушли, оставив врагу мертвый Донбасс. Они ушли, унося в душе любовь к своему тяжелому, опасному и прекрасному труду. Они ушли в тоске, каждый из них унес видение своей сурогой подземной работы, своей шахты. По ночам они видят во сне высокие коренные штреки, залитые электрическим светом, тихие, темные забои, мерцающие огоньки бензинок и круглый яркий глаз надзорской аккумуляторной лампы. Мягкое и теплое дыхание могучей вентиляционной струи касается их

лиц. Все они члены великого братства шахтеров, братства подземных людей. Опасный и тяжкий труд выковывает железные характеры, каждый из них знает великую власть рабочего товарищества, готов по колеблясь войти в горячий штурм, наполненный густым, как сметана, дымом, каждый из них не дрогнет, если нужно для спасения товарища ринуться в пламя, в тьму, в стремительный поток ворвавшейся в шахту воды.

Они идут в снегах, они несут в своих сердцах тоску по своей работе, по своей шахте. Сияя, грозная тоска! Сколько суворости в этих людях! Дивизия шахтеров! «Черная дивизия» — зовут их немцы. С ужасом говорят о ней немецкие пленные. В октябре, в тяжелые дни отступления, железный дух шахтеров преградил путь немцам, идущим на юг. В первом же бою шахтерский парод выдержал жестокую проверку. Испытание было неслыханным. В мрачное осенне утро немцы тучей пошли в наступление. Низкие осенние облака спустились к самой земле, туман поднимался вдоль дорог. В штабе дивизии молчали. Выдержат ли, устоят ли рабочие? Но каждого из них приходилось по нескольку немцев. Немцы шли. Они вырастали из-под земли, они двигались как загипнотизированные. Тревожно полискивал телефон. Полки доносили все одно и то же: немцы рвутся вперед, они хотят задавить дивизию огромной тяжестью своих тел. И вот телефон принес страшную весть. Из тумана и дождя вырвалась мощная колонна германских танков. Сто машины прорвались на фланг дивизии. Казалось — это катастрофа. Командир дивизии, Герой Советского Союза полковник Зинновьев вскочил на лошадь и помчался на поле боя. В эти роковые минуты нельзя было думать об осторожности. Лошадь мчала Зинновьева перед передним краем обороны. Привстав на стременах, он кричал: «Вперед, шахтеры!» И сквозь вой снарядов, сквозь гул германских машин сотни голосов ответили ему: «Шахтеры назад не идут!» И они не пошли назад. «Вперед за Донбасс!» — кричали они. «Не бойтесь танков», — говорили им командиры. «Чего их бояться? — отвечали шахтеры. — Они вроде врубовок, в шахтах страшнее, чем здесь!»

Германские танки, прошедшие по Европе, заставившие покориться Париж, здесь оказались бессильными.

Они повернули назад.

Пусть вечной будет память о шахтерах, погибших в этих мрачных осенних боях. Пусть не забудут отсекра комсомола Еретина; умирая от тяжелых ран, окруженный врагами, он слабой рукой не мог уже бросить гранаты, он взорвал себя в ту минуту, когда немцы подошли к нему вплотную. Пусть не забудут 4-ю батарею: до последнего патрона стреляли шахтеры по немцам и все до одного пали у своих орудий. Большего сделать они не могли. Когда земля, отщепенная от фашистов, расцветет, когда зажжется свет и ночью спящие поднимется на свободными городами, пусть не забудут тех, что не пошли назад в холодное октябрьское утро, тех, что отдали всю свою кровь до последней капли.

Три месяца держали шахтерские полки оборону волье северного Донца. Они жили в землянках и блиндажах, в глиняных мазаных хатах. Они тосковали в степных просторах среди камышей. В мире земли, дерева, соломы жили эти люди, привыкшие из царства металла и угля, привыкшие к вечному зареву завода, к лязгу стальных цепей на врубовых машинах, к скрежету конвейера, к свисту пара на котлах. Их суровая трудовая дружба не ослабела, она не могла стать сильней, ибо нет ничего в мире сильней и крепче рабочей дружбы.

бы. Душа Донбасса жила в степи, вместе с ними и среди них. Душа великого Донбасса не могла оставаться там, где мертвые шахты и заводы.

Утром, просыпаясь в землянке, бойцы говорили: «Пошли, ребята, на-гора умываться». В их землянках и блиндажах висели аккумуляторные и бензиновые шахтные лампы. Они называли землю, в которой были вырыты блиндажи, «породой», а столбы, поддерживающие свод, — «крепью». По вечерам они спорили, на чьей шахте лучше «уголек», разбирали качества отбойных инструментических молотков и врубовок тяжелого и легкого типа, обсуждали работу знаменитых мастеров угля, шутили, смеялись, вспоминая всякие смешные случаи. Душа великого Донбасса жила среди них. Часто в одном подразделении находились люди одной и той же шахты. В бой шли плечом к плечу, там же как плечом к плечу изо дня в день спускались в клети, как работали в одной продольной, в одном забое, каждый день, из года в год. Разве есть в мире сила, которая может порвать эту дружбу, скрепленную тяжкими трудами великой отечественной войны?

Немцы называют шахтерскую дивизию «черной дивизией». Их ужасает сурое бешенство шахтеров.

Много знаменитых имел, много прославленных воинов в шахтерских полках. Рассказывая о них, наряду с новой военной профессией обязательно назовут и старую, наряду с описанием их боевых дел вспомнят и о славной их подземной работе. Так их и величат: Сычева — доблестным автомотчиком и забойщиком, Савелия Денисевича, выдвинувшегося из рядовых в командиры взвода, — отличным подземным электромонтером, Григория Изерского — лучшим учеником знаменитого Рыбоплавки и разведчиком, не знающим страха, Михаила Савенкова — стахановцем-машинистом шахтного электровоза и первым разведчиком в дивизии.

Это он, Михаил Савенков, вместе со своим другом Сулименко, тоже машинистом шахтного электровоза, попал в окружение немцев и, закопавшись в снег, до ночи отбивался от танков и пехоты противника гранатами и пулеметным огнем. Так в полках и не узнали, кто из друзей крепче в бою, как не узнали, кто внее в работе, в то время, когда они соревновались на электровозах и за их упорным и стремительным бегом по короткому штраку следила вся шахта.

Воюют люди одной шахты, воюют целые шахтерские семьи — отцы, сыновья, дочери. Хорошо знают в полках семью Красноголовцевых. Отец 25 лет проработал на шахте «Центральная № 1». Сын его, крепильщик Александр — помощник командира взвода. Сын Яков, шахтный электрик — хороший стрелок; он был дважды ранен. Сын Петр водил по шахте электровоз, теперь он — водитель танка; Петр участвует в знаменитой битве под Новоград-Волынским. И дочь Анна — военфельдшер. Члены шахтерской семьи следят за боевой работой друг друга. «Молодец, Шура», — пишет сестра брату. А когда-то она писала Петру: «Как мы все радовались, когда узнали, что ты водишь электровоз!»

Да, душа Донбасса не умерла, она здесь, в шахтерских полках. Три месяца держали они оборону в степи, среди снегов, три месяца крепла и росла их тоска по оставленным шахтам, крепли гнев и смертная обида. Партизаны, приходившие из родных мест, рассказывали о страшном быте в захваченных немцами шахтных и заводских поселках. Донбасс погружен в молчание и тьму. В Донбассе голод. В Донбассе рабство — людям запрещено передвигаться

ся, рабочим приказали на одежду носить номера — указатели их мертвых заводов.

И, наконец, день настал. День наступления. Они прошли мимо станции Преддонбассовское. Тысячи глаз прочли это название, тысячи сердец застучали сильно и радостно. Весь день шли они; было 35 градусов мороза. Ветер ударял в лицо. На ресницах нарастал лед, мешал смотреть, от мороза сжимало в груди дыхание. К вечеру они сошли с дороги и вошли в лес. Они шли среди запесенных снегом деревьев, молодой месяц плыл над ними. Сыпучая снежная пыль голубыми клубами поднималась вокруг них. Ледяная кора, освещенная луной, сняла словно море. Ночь они провели в лесу. Костров нельзя было разводить: дул ветер. Всю ночь они, собравшись в кружки, пели, плясали, проверяли оружие. В пять часов утра загремели первые залпы артиллерии. Шахтерские полки пошли в наступление. Их грозная, колившаяся сто дней тоска пашла свой исход. Один за другим рушились узлы вражеской обороны. Они врывались в села и поселки, безудержные, не знающие слабости и страха. Словно торжественный набат, гремели в их ушах названия занятых ими поселков — Донецкий, Червонный шахтарь, Заводской... В поселке Петровская кто-то из них крикнул: «Товарищи, братья, шахта!» Сотни бойцов в молитвенном молчании окружили шахтный копер. Им хотелось снять шапки и стоять с обнаженной головой. Они стояли на белом снегу вокруг успевшего копра — забойщики, машинисты врубовок, крепильщики, газовые десятники, запальщики. Там, в глубине, под белым снегом, под толщей земли был уголь. Они чувствовали его, физически ощущали. И никто из них неironизес ни слова. Вскоре они сновашли вперед по снежной степи. Они знали: враг железными когтями впился в их землю, враг стянул в Донбасс десятки днепризий, борьба лишь начиналась, страшная, смертная борьба. В этой борьбе — их жизнь, смысл, гордость, счастье их существования. В ней исход из грозной тоски. Вечная, живая душа великого Донбасса с ними. И шахтеры знают — она победит!

КРАСНОАРМЕЕЦ

Было это 3 июля 1941 года. Вечером пришел он с работы и перед ужином вышел во двор наколоть дров. Большие рабочие руки его заносили топор высоко над головой, вязкое, суковатое полено от сильного, быстрого удара охало и расплюзгалось. Он нарочно выбирал поленья потяжелей, с большими сучками, которые не под силу было бы разрубить жене или двенадцатилетнему сыну.

— Эй, Канаев, ты дома, что ли? — окликнул его председатель сельсовета. Он посторончиво положил топор, подвинул ногой к куче парубленных дров отлетевшую крупную щепку, вытер тыльной частью ладони лоб и пошел к забору. Шел он спокойно, улыбаясь, но сердце его билось быстро и тревожно.

— Ну, чего тебе? — спросил он.

— Сам знаешь, — сказал председатель.

Стоявшая у забора соседская девочка быстро побежала к избе и закричала:

— Мам, мам, Ивану Семеновичу повестку принесли с военкомата.

Председатель усмехнулся.

— Вот тут распашись.— И он темным от махорочного дыма пальцем указал на лист разлинованной бумаги.

Пока Канаев расписывался, председатель говорил:

— Что же, Ваня, желаю тебе побить врага и здравым домой вернуться.

— Ладно,— сказал Канаев,— побить врага,— я это сам знаю, а вот у меня дома жена беременная, да стариков двое, да ребята. Понял ты, председатель?

Одно мгновенье они смотрели друг другу в глаза — двое рязанских, ведущих хороло и тяжесть труда, и долгую зиму, и бабы заботы, и немоиц стариков.

— Понял,— сказал председатель.— Спокойн будь, придишь с войны, тебе жена скажет, понял ли председатель советский или нет.

— Ладно, верю. Ну, попрощаемся.

Он пошел к избе, а председатель ему крикнул вслед:

— Лошадь к тебе в шесть часов будет.

Канаев постоял некоторое время посреди двора и огляделся.

— Эх, не успел я им дров наготовить, течет-то ведь крыша, еще в тот выходной я собирался, да аккурат этот проклятый налетел, Гитлер. Думал успею. Вот и успел.— И в голове его поднялись беспокойные мысли о жене, стариках, детях, о шеоконченной работе — он был дорожным мастером. Казалось, десятки мелких дел надо исправить. Эх, не успеет он ничего.

Он залез в избу и громко сказал:

— Ну, жена, зови гостей, беги в магазин за вином, иду завтра.

Мать и жена заплакали.

— Ну, чего ты, чего,— строго спросил он,— знаете ведь, куда иду.

— Гитлера бить папаня идет,— сказала девочка.

Он погладил ее по голове и печаль ежала ему сердце.

Хорошо проводили его. Песни, даже старинки подтягивали: «Одна возлюбленная пара всю ночь сидела до утра».

Много песен спели. Канаев показывал свою темную рабочую руку и говорил гостям: «Я стрелять умею, служил уже, не бойся, не промахнусь, когда надо».

Были и объятия, и поцелуи. И слезы были. Все было. Ведь нешуточное это дело: большой тридцатипятилетний человек, муж своей жены, отец детей, сын славных стариков, неутомимый работяга уходил на войну — защищать свою землю.

Утром поехали. Какое утро было! Роса играла на лугу, Ока блестела, ясная, гладкая, широкая, как мирная жизнь. Ехал Канаев и думал о родных своих Дубровичах. Сколько он здесь поработал — и грузчиком на пристани, и на кирпичном заводе, и на торфоразработках, и лодочником пять лет был при фабрике — по пятьсот пудов возил, выгребал против течения. Сурово было его лицо в это время, ни слова не сказал от подводчика, пока не доехали они до Солотчи, где находился сборный пункт. Большое сердце у русского человека, много добра в нем, много любви в этом сердце — и к близким своим, и к друзьям, и к земле своей, и к не легкому труду. И, уходя на войну, думал он о том, что оставалось за его плечами, что уходит с каждым шагом лошади. Да, было за что восхвать Канаеву. И в эти грозные летние дни, когда небо стояло ясным и прозрачным, а по земле с запада тяжело двигались железные тучи, миллионы Иванов Канаевых шли так же выезжали на колхозных лошадях с востока на запад, чтобы встретить и отразить врага. В чем сила красноармейца Канаева? В чем сила таких, как он?

Его зачислили в мотострелковый батальон Сталинской танковой бригады. С этим батальоном приехал он на фронт, с этим батальоном прошел он тяжелый, не имеющий себе равных в истории, поход, с этим батальоном воюет он сегодня. Здесь пашел он друзей по боевым трудам, здесь сыграл он себе юную любовь и уважение, здесь стал он старым, опытным солдатом, спокойным, мужественным, суровым и добрым одновременно. Здесь раскрыли он югатства своей чистой души — русский солдат, человек высочайшей и строгой морали. Здесь вступил он в партию. Его суровый и чистый образ народного воина, солдата-ленинца противостоит солдату-гитлеровцу — сладострастному насильнику, обжоре, убийце старых и детей, как ясный день противостоят тьмой осенней ночи.

Ехать на фронт было страшно. Много болтали разные люди о немецкой авиации, о немецких танках. И в воображении Канаева рисовались картины, пожалуй, еще более уродливые, чем грозная действительность тех тяжелых дней. Особенно жутко бывало ночью, когда эшелон стоял на станциях, в темноте. Словно тени проплывали вагоны, лучи прожектора быстро и бесшумно опускались на темное летнее небо, люди говорили вполголоса. И вдруг вой сирен и паровозные гудки взрывали тишину.

Первый бой батальона был первым боем Канаева. Произошло это под Липовкой. Ночью батальон занял рубеж обороны. Утром, когда взошло солнце, противник открыл на левом фланге пулеметный огонь и зажег баки с бензином. Батальон вошел в лес и начал стрелять. Сперва все казалось Канаеву непонятным и странным. Он кланялся и своим и чужим снарядам, свист пуль, летавших высоко над головой, заставляя его ложиться, он не мог отличить орудийного выстрела от разрыва снаряда, от взрыва мин юдало его в тоску. Но постепенно боевой азарт охватил его, он ощутил радость, веселье боя. Правда, в первом своем бою он действовал полусознательно, словно опьяненный. Туман стоял в его голове, он сам не мог вспомнить, что говорил и делал. Ему напомнил политрук, как в один из самых тяжелых моментов боя он подбежал, держа в руках магазины разбитых немецким огнем пулеметов и крикнул: «Товарищ политрук, давайте биться до конца!» Ему рассказали, как перед вечером он первый ворвался в немецкие окопы. «Может, и было, — смущенно говорил он, — а я не помню».

Ночью после боя он долго не мог уснуть, да почти никто не спал — все рассказывали наперебой, смеялись, хвастались. В эту ночь впервые Канаев сказал: «Эх, у нас в батальоне народ хороший!» До этого он говорил: «У нас дома, у нас в Дубровичах». А сейчас он почувствовал, что люди, связанные с ним великим общим делом, кровью, так же близки ему, как друзья детства, товарищи по работе. Особенно понравился ему стрелок Селиванов, тульский рабочий и второй номер пулеметчика Мещанин. «От него весь взвод наш хохочет, и в бою, и после боя. Веселый парень, юнгот, выполнительный — такого пулеметчика нигде не найти, только у нас в батальоне», — говорил он. Он долго и тщательно чистил свою выпуклую, пытал затвором, прищурившись, заглядывая в канал ствола. А потом уж, укладываясь спать, он все время ощущал ее и бормотал: «Важная мне винтовка досталась, теперь уж до конца войны со мной воевать будет». Он к ней почувствовал уважение и нежность, какие из поколения в поколение передавались в его роду к орудиям труда — топору, пиле, плугу. Здесь, в трудах войны, она была

его единственным орудием. В эту первую ночь после первого боя он стал красноармейцем.

В жестоких беспрерывных боях шла жизнь мотострелкового батальона. Много ярёви прорвали красноармейцы, защищая свою землю. И пролитая кровь навек спаяла их в единое целое. Батальон закалялся, батальон обогащался боевым опытом. Канаеву иногда казалось, что он воюет всю свою жизнь. Он принимал участие в бесчисленных маршиах, десятки раз ходил в разведку, десятки раз участвовал в жарких перестрелках, 35 раз ходил в атаку. Однажды ходил он в штыковую атаку, но немец ее не принял. Как только крикнули «ура», немец поднялся и побежал.

Под Богодуховом Канаева ранило. Вот его дословный рассказ: «Там мы с немцем лицом к лицу встретились — нас человек пятидцать было, а их целый взвод, впереди офицер. Очень меня заинтересовало, помыслил я его в плече забрать. «Стой!» — кричу. Он же мне оторвёт. В руку мне попал. Ну, думаю, не хочешь сдаваться? Я же нем приложился, — все равно моя веселей, — он и упал. Тут я крови потерял много, рука ранена, и вижу — мальчишке деревенскому попало шальной пулей. Ну, как быть, у самого ведь дети есть! Затратил на него бинт из своего пакета, плечо славно ему перевязал, а из самого течет. Тут баба вышла, кринику молока мне вынесла. Я пошёл, и кружение в голове прошло, а паник ребята подошли, перевязали меня. Недели две рука болела, но я из батальона не пошел, чего зря по гостиницам пугаться, да и неохота из батальона уходить».

Он рассказал мне этот случай обычным своим голосом, не подозревая намека своего подвига: отдал в бою безвестному мальчишке бинт, — «а из самого течет».

Там, в Богодуховке, с ним был еще один случай: уронил он винтовку в грязь. «Эх, думаю, оно ведь умное, родное оружие, никогда не отказывает. Испугался я страсть, думал — пропадет. Нет! Берусь за затвор — ходят!»

Пришла зима. Пришли в батальон пополнение — молодых ребят. Столкнувшись с ними, Канаев понял, что он уже старый солдат, хладнокровный, опытный. Сколько замечательных знаний оказалось у него! Как-то само собой получилось, что Канаев превратился в роте как бы в учителя, советчика, дядьку. Стоит послушать его разговоры с молодыми красноармейцами, как отвечает он на их вопросы. В его словах и суровая боевая опытность, и высокая житейская мудрость солдата.

— Раньше было и у меня чувство, когда в бой шел, а теперь я в бойхожу весело, просто. Как на работу, в бойхожу, как на фабрику. В наступление лучше всего идти утром, пораньше. На рассвете, словом, хорошо воевать, ну как работать. Темнечко еще, все его точки видать, где пулемет, откуда трацирующие пускает, словом все примечаем, откуда бьет он. А уж как ворвешься в село, светло становится. А в себе при свете легче, — не путаешься, все ходы разберешь. Всехие, ребята, скажу, бояться нечего. Привычка. Дома мы все воротного скрипа боялись, а здесь ничего не боямся. Ну, вот, к примеру. Пулемет его в цель не очень бьет. Если мимо — иди, не бойся. А по тебе ударит — заляжь сразу. От пулемета каждый бугорок, каждый овражек выручит. Пока он строчит, ты лежи да выматривай, чтобы потом знать, где укрыться. Замолк он, беги вперед. Не жди, сразу беги! Автоматчики ихние, те уж совсем бесцельно бьют. Орудийный огонь немец редко теперь дает, очень даже редко, и вот больше перенес

лёт, это уж верно. Авиация—это многие из молодых опасаются; я тоже когда-то боялся. А вот раз налетело на нас тридцать шесть, и все пикируют, гады, а нас тысяча человек, в маленькой рощице. Рассыпались, залигли. Сорок минут он утижил. Я думал — половина пропала наших. А потом оказалось, одину бойцу руку ранило. Шум, конечно, большой от нее, но если рассыпаться и, главное, бегать не будешь, ну что она сделает может? Вот миномет, я считаю, у немца самый отвратительный, сильней у него оружия нет. Меня миномет и сейчас в тоску кидает. От него один способ уйти — вперед во всю силу жать. Он сразу прицел теряет. А если ты назад пошел, конец тебе, догонал! И лежа от мин не убережешься. Это вы крепко помните — от мины только вперед.

Он рассказывает о законах и обычаях, установленных в батальоне:

— У нас первая моральность для бойца — выноси не только раненого, но и убитого во время боя. Вот меня на днях оглушило, очумел, не знаю, куда итти, — боец-товарищ подоспал и вывел меня из боя. Или я, к примеру, под Штеповкой семерых вынес. Хороший товарищ тот, кто не скрывается, идет до конца с тобой вместе. В бою это первая помощь — вместе итти — и все.

— Командир хороший? — спрашивает молодой черноглазый боец.

Канаев усмехнулся.

— Ты раньше спроси, что это значит — хороший командир.

— Ну, что?

— А, то-то. Хороший командир — этот, прежде всего, все трудности с нами выносит. Раз. И с обращением хорошим. Это два. Третье — правильную расстановку в бою делает. Четвертое — зря не заводит, куда не следует, бережет кровь своего бойца. Ну, и с нами всегда впереди. Такой майор Некуткин был. Такой есть наш Козлов — капитан.

Вот он, красноармеец Иван Канаев, боец мотострелкового батальона, укладывает перед пятидесятикилометровым переходом свою вещевую сумку.

— Если со здравыми ногами итти, но так уж трудно, — говорит он, аккуратно укладывая чисто отмытые портнянки. В сумке ничего лишнего нет — хлеб, «чтобы в пути пошамать», несколько кусков сахара, мыльце, тетрадочка с карандашом, пара белья, моточек ниток.

— Эх, — вздыхает Канаев, — иголочки у меня нет. Выбили из хида из деревни, баба сна у меня иголочку выпросила — кемцы, говорит, иголку забрали. Я и отдал ей, а в последний бой без хлястика ходил.

В это время пришел замполитрука и сказал:

— Канаев, а Канаев, ты с почты ничего не ждешь?

— Чего, чего? — спросил Канаев, и, вздруг поняв, взволнованно крикнул: — Давайте, товарищ политрук, неужели письмо мне?

На темном, бронзовом лице его, каленном зимним солнцем и страшными степными ветрами, выступил румянец. Он читал письмо вполголоса, морщаась, и, встречая неразборчивое слово, кряхтел от нетерпения. И вокруг него стояли верные друзья его — тулак Селиванов, второй номер пулометчика Мещанин, все бойцы его роты и слушали. Лица были серьезны, и у всегда смеявшегося пулометчика сейчас было торжественное и даже какое-то суровое выражение.

— Сын народился, — говорил Канаев. — Слышите, ребята, сын у меня родился.

И все видели, что на глазах у него слезы.

— А председатель, пишут, часто заходит к нам, и не беспокойсяся, — читал Канаев.

И все улыбались, и были довольны, так как все знали, какой разговор имел Канаев с председателем перед уходом на фронт.

Окончив письмо, Канаев сложил его и спрятал.

— Знаешь, ребята, — сказал он негромко, — баловства я и в мирное время не любил, а теперь и вовсе. Не немецкий кобель, к бабам я чутье потерял. Ах, но ребяташек видать хочется! Особенно тою, что теперь пародился. Полчасика бы посмотреть только, и воевал бы до конца. Ну, да это разговор пустой.

Почью батальон выступил. Машины не могли пройти в глубоких стених снегах. Мотопехота шагала пешком. Дул жестокий морозный ветер, лица красноармейцев побагровели от мороза, белый иней нарос на поднятых воротниках шинелей. Хотелось от усталости дышать полной грудью, но нельзя было — лютый мороз перехватывал дыхание. Канаев шел своей широкой легкой походкой, снег скрипел под его сапогами. Иногда он подходил к отстающим и говорил: «Шагай, шагай, ребята! Ничего не поделешь, что тяжело, — за свою землю воюем».

В два часа ночи были призваны. Уставшие люди лежали на снегу, отвернувшись от ветра, закуривали. Зимние звезды мерцали над ними; казалось, что и там, в страшной высоте, дует зимний ветер и колеблет звездное небо.

Возле Канаева собралось несколько человек.

— Что, Канаев, устал ты восемь месяцев воевать? — спросил чей-то приступленный, хриплый голос.

— В деревне я тоже работал, — сказал он, — то три тысячи торфяного кирпича в день выбрасывал. Вот только промерз за эту зиму крепко. Это да! Спишь на снегу, огонь, мины рвутся — ничего, хранишь. Челезко, это так. Да что говорить — война-то какая, народ на все решился. Я вот столько насмотрелся в деревнях, где немец зло делал над жителем, такого послушал от баб и стариков, что пет во мне усталости. Я немца не милую. Нет у меня к нему жалости.

И снова шел батальон.

Шагает красноармеец Иван Канаев, старый солдат войны за свободу. Много пройдено километров. Сурово и спокойно лицо Ивана. Шел он под пальящим июльским солнцем, лежал под ясным месяцем в лубовом лесу, выстаяв из долгие часы в намокшей шинели в осенние туманы, жег его лютый мороз.

Долгую ночь пролежал он в снегу у Петрищева под страшным немецким огнем, а потом встал и сказал спокойно: «Поднимайся, ребята, смелого пуля не берет». И пошел с ротой в атаку.

Приложился Иван по пулеметчику, который, как злой петух, стрекотал с соломинкой крыши, сказал свою любимую поговорку: «Все равно — моя веселее». Замолк пулемет, — шепала пуля немцу в правую бровь. Первым вошел Иван в Петрищево. Зашел в немецкий склад и ахнул:

— Ну, добра, ту-ту! Не то, что детям моим, внукам и правнукам хватило бы. Часов одних пять дюжин.

И вот, шагает он дальше.

— Что, Иван, взял что-нибудь на память себе? — спрашивал товарищ.

— Что ты! — отвечает Канаев, — моя натура не позволяет. Мне отвратительно к его вещам прикасаться. Я день в бою не ел, а из его офицерского

запаса ничего не тронул. Только из рук товарища кусочек хлеба взял. Я ведь в эту свой смертный бой.

И он шагает все вперед, вперед. Полупустая вещевая сумка болтается за его плечом. Сурово его лицо. Он шагает вперед.

РИСК

Каждую ночь часовые из комендантского взвода, прохаживаясь возле блиндажа, где noctуют командир и комиссар дивизии, слышат негромкие, оживленные голоса. Иногда из блиндажа слышится смех, тогда часовой останавливается и тоже посмеивается. Ему приятно слышать этот смех, спокойный, негромкий, когда вокруг напряжение военной ночи: где-то поднимается зловещая зеленая ракета и медленная белая строчка трассирующей пули прошибает толстый бархат неба. Когда сменяют часового, каринач шепотом спрашивает, кивая в сторону сарая:

— Не спят?
— Нет, разговаривают, — даже смеялись аккурат, как немцы ракету пускали.
— Жизнь свою друг другу рассказывают, — объясняет каринач.
— Верно, так, — в один голос соглашаются часовые, тот, что сменился, и тот, что пришел на смену.

В эту ночь командир и комиссар разговаривали особенно долго. Но в эту ночь они не смеялись.

— Засел крепко немец в Голубовке, придется идти на риск, — говорил Первухин, командир дивизии.

— На то и война, — отвечал комиссар.
— Окончательное решение приму завтра. Видно, будем полком Когана заходить в тыл.

— Я с ними пойду, — сказал комиссар.
— Тут ведь все от быстроты зависит.
— Обеспечу, будь спокоен.

На рассвете они оба вышли из блиндажа без гимнастерок, и к ним подошли порученцы с жотелками воды и с полотенцами. Порученцы в это время сердито переглядывались — у порученцев сложная и длинная вражда. После мытья они вытирались: командир дивизии мохнатым большим полотенцем с кистями и вышитым красным тестухом, а комиссар — маленьким вафельным. В это время подошел лысый майор, из оперативного отдела, о котором известно, что он никогда не спит и всегда беспокоится о флангах.

— Товарищ Первухин, — говорит майор, — ночью немец опять проявляет активность левее Высокого. Доложит разведка, что моторы шумели все время. И он протягивает опертводку.

— Танки, паверное, готовит, — говорит комиссар и подмигивает майору. Майор вздыхает и с ядовитой почтительностью говорит:

— Бывает, товарищ Маковенко. Я слышал, что в немецкой армии есть танки.

— Михеич, — строго говорит командир дивизии, — ты на морозе в одной рубахе стоишь. А капыял всю ночь.

— Верно, товарищ полковой комиссар, — говорит комиссарский порученец, — ветерок сегодня зловредный, вроде и не холодно, а нос мерзнет.

Пока Первухин и Маковенко завтракают, порученцы тихо ссорятся.

— Связь с полками есть?

— Есть, товарищ полковник, — с Коганом полчаса назад установили.

— Ну, как — поехали? — спрашивает командир дивизии.

— Время, — говорит комиссар, — ведь в семь поль Сабуренко начинает.

Они едут в полк.

Дорогой они молчат, слушают гул артиллерии; потом командир дивизии говорит:

— А ты прав, Михеич, Чирышекий большак надо было минировать — я еще вчера приказ отдал.

И вот они на поле боя. Командир дивизии с наслаждением вдыхает морозный воздух. Все многообразие, весь хаос звуков — треск пулеметов, визг гвардейцев, мин, гул разрывов, гром пушек, минометная пальба — для него не хаос, ему все здесь понятно.

— Что это Зотов делает, быстрей надо выдвигаться, — говорит он, — передайте: пулемет на эту высотку выставить.

Он приглушивается и, улыбаясь, говорит:

— А, вот уже и Сергеенко заговорил.

Он словно слышит в стрельбе пушек певучий, спокойный голос артиллериста Сергеенко.

Узел немецкого сопротивления держится упрямо. Сломить его необходимо. Это развязает действия правого фланга наступающей армии.

Штаб армии ждет решения с часа на час. Первухин знает, что из штаба фронта дважды звонили по поручению командующего.

— Сегодня будем в Голубовке, — говорит Первухин.

Майор из оперативного отдела печально докладывает:

— Получены данные разведки, немцы подводят резервный полк и до двадцати танков по Чирышекому большаку. Огонь немецких автоматов и ручных пулеметов настолько плотен, что наша пехота с большим трудом подвигается вперед.

— Задегла пехота, — говорит Первухин, — на обоих флангах. — Он стоит молча, нахмурившись. И в эти короткие минуты никто не подходит к нему, не обращается с вопросами. Подбежавший командир полка остановился и молча ждет, поглядывая на Первухина. Во всей фигуре его, в сжатых губах, в серьезных, одновременно быстрых и задумчивых глазах словно соединилось все то, что происходит на поле боя. И все командиры, стоявшие возле него, чувствовали и понимали: вот этот человек на снежном пригорке должен был в эти минуты решить исход боя, в котором участвовали тысячи людей. И он решил его.

— Товарищ Сабуренко, — сказал он, — выдвиньте артиллерию вот на этот рубеж, быть прямой наездкой. Когану приказываю перерезать Чирышекий большак и со стороны мельницы перейти в атаку.

Телефонист побежал к аппарату.

— А комиссар где? — спросил командир дивизии.

— К Когану поехал, товарищ полковник, — ответил порученец.

Первухин покачал головой.

— Удивительно, — сказал он и спросил у подошедшего телефониста. — Передали?

— Нередал, товарищ полковник, сам товарищ Коган говорил: есть перерезать Чиринский большаш и перейти в атаку.

Первухин представил себе, как сверкали черные глаза Когана во время этого разговора, и, улыбнувшись, спросил:

— А голос какой у него был?

Телефонист сказал:

— Голос, товарищ полковник, известно какой: веселый. Это ведь на всю армию самый веселый человек. Он всегда шутит.

Первухин прошелся и спросил:

— Ну, как, товарищ майор?

— Рискованно очень, товарищ полковник, — наклоняясь к уху командира дивизии, сказал майор, — вы поглядите, ведь с тыла немец подходит. — И он показал на карту.

— Конечно рискованно, — весело сказал полковник. — Вы словно убеждать меня сбирались. Я лучше вас знаю, что рискованно.

В это время совсем рядом оглушительно загремела артиллерия. Слова разговора не были слышны, и все невольно улыбались, глядя на спокойное и веселое лицо командира дивизии. Грохот пушек словно приветствовал и подтверждал это решение.

В два часа дня было получено донесение, что Коган перерезал дорогу, по которой шли немецкие резервы, а еще через час телефонист сообщил, что полк перешел в атаку тремя батальонами.

— Как тремя? — спросил майор, — ведь второй должен занять оборону на хуторе вдоль дороги. Свяжите меня либо с Коганом, либо с комиссаром дивизии.

Но в это время подошел полковник и сказал:

— Я только что говорил со штабом полка. Комиссар пошел со вторым батальоном в атаку, — и добавил: — Вы говорили о риске. И я согласился с вами, товарищ майор, риск есть.

— Есть, есть бесспорно, — сказал майор.

— Но если уж рискуешь, то самый большой грех в риске проявлять нерешительность и действовать полумерами. Когда рискуешь, надо действовать со всей решимостью, и действовать быстро. Верно ведь?

— Верно, товарищ полковник.

Он отошел в сторону.

Стоявший рядом фотокорреспондент сказал:

— Не за то отец был сына, что рисковал, а за то, что рисковал наполовину.

Полковник ответил:

— Отец был сына за то, что тот рисковал без смысла. Вот вы, кстати, ходили с автоматчиками, много снимков сделали?

— Нет, не удалось ни однoro, — оживленно сказал фотокорреспондент, — где там, ведь почь была.

— Вот как раз за это отец был сына, — сказал полковник.

— Бегут немцы! — крикнул лорушенец. — Глядите, как куры выскакивают, мечутся!

Толпы немецких солдат выбегали на дорогу, бежали полем, собирались кучками, снова разбегались.

— А бежать-то некуда, — сказал майор и снова раскрыл карту.

Преследуя бегущих немцев, на окраину села начали выбегать красноармейцы. Видно было, как двое торопливо тащили на приторок пулемет.

— Голубовка занята, — сказал торжественно связист. — Только что по телефону сообщил Коган.

Полковник пошел к машине, замаскированной между двумя скирдами неубранного снега. Прежде чем сесть, он повернулся к майору и сказал:

— Да, жстали, вы знаете, что Чиринский большак нами почью замаскирован?

— Знаю, товарищ полковник.

— Знаете, что других путей подхода, кроме этого большака, от станции у немцев не было?

— Знаю, но все-таки, товарищ полковник...

— А вот «все-таки» — это уж не тодится, — сказал полковник, — возвратить надо без «все-таки».

Вскоре Первухин встретился с комиссаром.

— Жив, голубь? — спросил он и обнял комиссара.

— А как же, — ответил комиссар, — а как же, жив вполне.

Лицо его было красно от ветра, он то и дело вытирая пот, выступавший на висках.

Полупнубок его был прострелен в трех местах. Комиссар оживленно рассказывал Первухину об атаке.

— Все это очень хорошо, Михеич, — сказал Первухин, — только посмотри на себя: шарфа моего опять не взял, варежек теплых, что совал тебе, опять не надел. А вчера температура была у тебя тридцать семь и две десятых — бессмыслицо ты рискуешь своим здоровьем, не люблю я ужасно этого риска. Вот увидишь, дорогой мой, десиграешься ты до гриппа.

Старший политрук НИК. ШВАНКОВ

В ПРИИЛЬМЕНСКИХ ЛЕСАХ

1

По кронам сосен невидимыми волнами пробегали порывы ветра, и глухой невнятный гул, словно шум прибоя, плыл по окутанному белесым сумраком сосновом лесу. Люди, молчаливо шагавшие среди вековых деревьев, чутко вслушивались в шорох ветвей, в тихий скрип снега под ногами товарищей. Порой командир, шедший впереди колонны, подавал знак, и все останавливались, ждали. Потом из-за черных стволов выныривали тени — неизвестно откуда взявшиеся люди. Перекинувшись с ними парой слов, командир подавал знак, колонна снова двигалась.

Лес, видимо, кончался: ночь словно пасмурела, с одной стороны деревья пропали, и глаза упирались в мутнобелую стену ночных мрака.

Когда люди собрались в одно место, их оказалось очень много. На середине круга стоял среднего роста человек; в темноте можно было только различить на его лице бороду да усы, выбеленные морозом.

— Цель наша — вот она, рукой подать, — говорил он, указывая в открытое поле. — Напоминаю: гранаты швырять, только как сигнал услышите. Не мешкать: пару подарков в окно — и подавай дальше, к следующему дому.

Он говорил коротко. Видимо, говорил то, что уже давно было сказано этим же людям раньше.

Слева послышался крик совы, и вскоре из-за деревьев появился невысокий подвижной человек. В руках у него, словно скрюченный уж, черной толстый, свернутый в баранку кусок немецкого лужевого кабеля.

— Семен Михайлович, — доложил пришедший, — задание выполнено. Связь перерезал в нескольких местах.

— Прекрасно. Теперь — по местам! — И Семен Михайлович с группой партизан направился в поле.

Невдалеке зачернели избы села. Продолговатые темные полоски строений были слепы — ни одного огонька. Видимо, немцы спали. Только в центре села на улице поскрипывал снег — вероятно, там ходили немецкие часовые.

Коротко и громко ударила автоматная очередь. И сразу же, словно вторая ей, загрохотало, загромыхало сразу в трех местах деревни.

Три человека одновременно побегали к избе. Двое, став у окон, швыряли большие, словно консервные банки, противотанковые гранаты и сразу же от-

бегали в сторону. Слышался странный скрытый грохот, вылетали из улицу рамы окон, простенки, и в зияющие отверстия зданий было яркое пламя.

Первой из порога избы тянулись белые фигуры с автоматами в руках. Но третий партизан был на-чеку. Коротко и грозно стучал автомат, и немец, роняя оружие, валялся на пороге.

А рядом уже гремело в других избах — другие тройки выполняли свое дело с такой же быстротой.

Немецкий офицер, разбуженный канонадой, взобрался на груженый и неподступными, трясящимися руками стал торопливо поворачивать миномет в сторону того конца деревни, где особенно часто гремели взрывы. Вблизи пропорционально автомат, и офицер грузно свалился с кузова в снег.

Второй фаннист в одном белье, с автоматом выскочил из лед реки и стал строчить в сторону села. Немца сняли так же быстро, как и первого.

Разрывы умолкли так же неожиданно, как и начались. Партизаны, сделав свое дело, бесшумными темами стекались к лесу, из сборный пункт отрядов. В селе не было слышно выстрелов — очевидно, не кому было стрелять. Восемнадцать домов, в которых жили немцы, выгнавшие из села крестьян, были разворочены.

Но в соседних селах еще лопались частые взрывы. Партизанские отряды громили немцев. Где-то за лесом зиял большой пожар, и кровавые отблески легли на снежные просторы.

2

Новыми путями отряд уходил из района, на который был сделан этот внезапный, дерзкий ночной налет. Бледный зимний рассвет застал партизан в густом зынцевевшем лесу. Людям нужен был хотя бы короткий отдых, но в селе стоял немецкий гарнизон и везде на окраинах вились стаковые пулеметы.

Под обвещанным снегом елями партизаны сделали короткий привал. Семен Михайлович, коренастый, ладный в плечах, рыжебородый и рыжеусый партизан, комиссар бригады, а в недавнем прошлом районный партийный работник, с неизменной веселой улыбкой обходил отряды. Настроение у людей, уже несколько суток участвовавших в тяжелом походе, было все так же приподнятым, бодрым, и это радовало комиссара.

Под деревом, заботливо укутанные теплыми ватниками, лежали двое тяжело раненных — Сергей Иванов и Тюленков. Это были единственные партизаны, пострадавшие в ночном бою, если не считать еще одного легко раненного человека, который мог ходить. Иванова же и Тюленкова всю дорогу партизаны несли на руках.

Первый из них получил ранение, когда тройка, в которую он входил, громила уже вторую избу. Иванов вынырнул из гранату, но не рассчитал силы броска, и круглая болванка, ударившись в фронтона, отскочила и разорвалась на улице. Партизану перебило руки, изуродовало лицо. Он молча переносил страдания, и только когда его поднимали с земли после привала, тихо стонал.

Второй тяжело раненный, Тюленков, пострадал почти при тех же обстоятельствах. Он замешкался у окна, в которое были брошены сразу две гранаты.

Раны были смертельные, это знали все, но люди несли товарищем по бездорожью, целиком, проваливаясь в снегу, изнемогая. Их нельзя было оставить на поругание врагу, даже почти мертвых.

Семен Михайлович, закончив обход отрядов, уже хотел вести людей дальше, как с двух сторон ударили выстрелы, и пули тонко засыпали над головой. Стреляли немцы, преследовавшие отряд, нагнавшие их у этого села.

Все залегли — кругом был враг. Конда над снежным полем мелькала зеленая шинель, гремел выстрел, и немец зарывался посом в снег. Партизаны стреляли редко — берегли патроны, но каждая их пуля попадала в цель.

Весь день отстреливались. В вечерних сумерках Семен Михайлович поднял людей в контратаку и прорвал кольцо. Партизаны унесли с собой и двух раненых товарищей.

3

Схватка почты на день задержала партизан. Пришлось изменить маршрут, итии новым путем, глубоко обходя селения, проходивая чуть по самой земной глуши приильменских, широких, как море, лесов.

Отряд находился в пути уже четвертые сутки. На последнем коротком привале партизаны доели остатки сухих, черствых сухарей, и теперь всех мучили голод и страшная жажда, которую снегом нельзя было утолить. А путь был еще далек, труден и опасен.

Тяжелое всего приходилось тому, кто шел впереди. Потя выше колен уходили в сырчий снег, и человек вытащив их с трудом. Илечи вожака скоро начинали дымиться от испариньи, и человека приходилось сменять.

Чаще всего теперь впереди колонны шел сам комиссар бригады. Он двигался все той же размеренной, спокойной, даже медлительной походкой, на привалах широко улыбался в рыхие усы и шутливо веселил много, как в первый день.

Но на сердце у Семена Михайловича было неспокойно. Он знал и видел, как люди устали за эти суровые дни. Тяжелым грузом легли на их плечи трудный поход по лесной глухомани, почная схватка, неизвестенный обходный маршрут.

Лица партизан осунулись и словно закоптели. В глазах появился болезненно-лихорадочный блеск. На мимолетных остановках многие засыпали мгновенно, стоя, не успев еще приставить вторую ногу. Многие передвигались с трудом.

В заицевом сосновом лесу, у сковавшой льдом речушки партизаны оставили двух товарищней... Их положили на свежеизломанные, пахнущие смолой сосновые ветки, и каждый долго смотрел на покривелые, почти лишенные признаков жизни лица боевых товарищней. Молчаливым и горестным было это прощание.

Шестьдесят девять человек — люди трех старорусских отрядов — должны были жить, чтобы снова громить оккупантов, и комиссар любил их вперед.

Солнце медленно уходило за кроны сосен. Померкла белизна снегов. Синие вечерние тени легли на сугробы. Снежные одежды деревьев заалели, словно их облили малиновым соком.

Краски зимнего заката оживили молчаливый, величавый и прекрасный, как в оканье, лес, и воображению смертельно усталых, полодных людей начали мерещиться фантастические картины...

— Семен Михайлович! Я стучу-стучу в то окно, а она воды не выносит...

— Кто, где?

— Да хозяйка, хозяйка же, вот в этой избе!

Мучимый каждой партизан указывал рукой на огромную ель, опустившую вниз ветви под тяжестью снежных пластов.

Начальник штаба лежал в снегу у куста и кричал простуженным голосом:
— Я вас к своим базам не пущу!

У него с трудом отыгли автомат.

Галлюцинация распространялась, как эпидемия страшной болезни. Люди сбрасывали верхнюю одежду, развесивали ее на сучья деревьев и усаживались в кружок вокруг сугробов: им мерещились теплые избы, застланные белыми скатертями столы, полные яств и напитков. Самым желанным среди них была вода.

Когда в наступивших сумерках комиссар, чтобы проверить маршрут, наклонился с фонариком над картой, на свет крохотной лампочки тянулись десятки озябших рук. Люди хвалили тепло и начинали сбрасывать шапочки.

Комиссар ощущал, какая страшная угроза нависла над отрядом. Обессиленные, галлюцинирующие люди могли разбрестись во все стороны и либо замерзнуть в бескрайних лесах Приильменья, либо попасть в лапы немцев. Семен Михайлович собрал коммунистов — тех, кто еще держался твердо на ногах, встrevожил их. Подверженных галлюцинации теперь вели под руки. Замыкающими или самые крепкие, выносливые и следили, чтобы никто не отстал, не остался спать в сугробе. Но часто проводники тоже теряли ощущение реальности, надо было следить и за ними.

Комиссар теперь действовал за десятерых. Он поспевал везде, ободрял ослабевших товарищей, организовывал поиски тех, кто в момент сумрака сходил с протоптанной тропинки и оставался в лесу, моментально засыпая. Комиссар исхудал, глаза его стали глубже, тубы почернели, потрескались, и он часто ловил себя на трудно преодолимом желании растягнуться на снегу и уснуть... Уже приятная теплота разливалась по измученным, палитым синцом усталости членам, но комиссар ловил себя на малодушной мысли, гнал ее прочь. Он натирал виски снегом, глотал его жаждыми губами, и рассудок, готовый померкнуть, снова светел. Усилием воли комиссар заставлял себя идти вперед и вести других. Каждый километр давался с невероятным трудом, но каждый километр приближал отряд к цели. Ради этого стоило напрягать все силы и делать невозможное возможным.

На закате шестого дня из-за покрывающего леса показались крытые снегом хаты. На кровлями вились струйки дыма. Селение, где людей ожидали отдых и сон, вода и пища.

В эту минуту чудовищное напряжение, державшее комиссара шестеро суток, спало. Последние сотни метров показались ему труднее всего пройденного пути. Комиссар шел теперь в косых лучах заходящего солнца, шатаясь, хмельной от бессонницы, голода, жажды, хмельной от великой радости человека, одержавшего нелегкую и большую победу.

Подполковник Н. ДЕНИСОВ

ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ ВОЗДУШНОЙ ТАКТИКИ

Лет пятнадцать назад в Германии значительным тиражом была издана книга с популярным названием: «Что должен знать немец об авиации». Автор этого труда, скрывшийся под псевдонимом, но, несомненно, авиационный специалист, на страницах своей книги изложил основные положения боевого применения военно-воздушных сил. В то время Германия, ограниченная в созидании вооруженных сил Версальским договором, уже рассчитывала на возрождение своей авиации, и ее военные специалисты усиленно разрабатывали оперативно-тактические формы использования военно-воздушных сил. Примечательно к этому намечались также пути развития и строительства самолетного парка.

Взгляды, изложенные в упомянутой памя книжке, высказанные в соответствии с уровнем авиационной техники тех лет, конечно, впоследствии были существенно пересмотрены. Но все же ряд основных положений сохранил свою силу и по сегодняшний день. Эти основы оперативно-тактического применения авиации были проверены в «тиробных» воздушных боях и операциях против республиканской армии Испании (там действовал специальный фашистский воздушный корпус «Бондор»), а затем, в более крупных масштабах, они были испытаны при

нападении гитлеровских полчищ на Польшу и Францию, в сражениях на Англии. Тактика германских ВВС в основном осталась неизменной и при развертывании операций на советско-германском фронте.

По взглядам немцев, основное назначение воздушного флота состоит в непрерывном тесном взаимодействии с наземными войсками. Однако это отнюдь не означает распыления воздушных сил по всему фронту или придания авиационных частей командирам наземных войск для использования их на поле боя. Основные силы авиации управляются централизованно. Они используются для нанесения противнику массированных ударов на главных направлениях действий наземных войск. При нападении на страну противника авиация, составляя первый эшелон наступающих войск, совершает нападения на ближайшие к границе аэродромы, авиационные базы, промышленно-экономические центры, военные заводы, центральные силовые станции, важнейшие коммуникации и крупные населенные пункты, стремясь сорвать мобилизацию вооруженных сил противника, вызвать панику среди мирного населения и войск первой линии и обеспечить тем самым быстрое продвижение своих подвижных войск в тыл противника. Другими словами, авиация прокладывает

нуть танкам и моторизованной пехоте, находясь при проведении операций как бы на самом острие вбывающих в неприятельскую страну «клиньев».

Немецкое командование не ставит своей авиации самостоятельных задач стратегического значения. В основном она использовалась по объектам на поле боя и в прифронтовой полосе. Но вместе с тем часть авиационных сил всегда направлялась в глубокий тыл противника для бомбардировки столицы и крупнейших промышленных и политических центров. Подобные налеты имели целью воздействовать на моральное состояние населения в глубоком тылу.

Строительство авиационных сил германской армии развертывалось в соответствии с оперативно-тактическими взглядами на их использование. Гитлеровская клика, следуя своей военной доктрине, стремилась создать «самые мощные в мире воздушные силы». Этую программу в меру сил и возможностей старались осуществить основные авиастроительные предприятия Германии. С момента прихода Гитлера к власти и сформирования воздушного министерства под руководством Геринга особым вниманием были окружены работы фирмы «Юнкерс». Ее авиационные заводы образуют один из крупнейших в Германии комбинатов, который еще более расцвел в предвоенные годы благодаря коммерческой заинтересованности руководителя фашистской авиации Геринга, бывшего служащего фирмы и связанного с ней свыше десятка лет.

Комбинат «Юнкерс» подготовил для немецких летчиков два основных типа бомбардировщиков. Один из них — «Ю-87», одномоторный моноплан, со скоростью до 350 километров в час и потолком в 8100 метров. Самолет может брать на борт бомбовую нагрузку до 500 килограммов и доносить ее до целей, расположенных на удалении 400 километров от аэродрома взлета. Этот пикирующий бомбардировщик по

своим летно-тактическим данным предназначен для действий не на очень большой глубине от линии фронта и входит в категорию ближних бомбардировщиков.

Вторым образцом предвоенных работ фирмы является двухмоторный бомбардировщик «Ю-88». Он рассчитан на дальность полета до 2200 километров, обладает скоростью около 400 километров в час и может брать на борт запас бомб весом до 1200 килограммов. Этим типом самолета фирма пытается обеспечить немецким авиационным частям возможность нанесения ударов на значительную глубину. В отличие от «Ю-87», двухмоторный «Ю-88» приближается к разряду дальних бомбардировщиков, но он не отвечает полностью всем требованиям, которые предъявляются авиационной тактикой к категории дальних бомбардировщиков.

Другая, не менее значительная в авиационной промышленности фирма Дорнье, в свое время строившая серию дрижаблей, известных под названием «Граф Цеппелин», выступила к началу войны с двумя типами бомбардировщиков: «До-17» и «До-215». Оба эти самолета обладают крейсерской скоростью порядка 385—390 километров в час; способны взять на борт бомбовую нагрузку до 1000 килограммов и имеют запас горючего на четыре-четыре с половиной часа полета. Как видно из приведенных данных, и этой фирме удалось удовлетворить части немецкой авиации хорошим типом дальнего бомбардировщика. Выполнение этой задачи взял на себя довольно молодой авиаконцерн Фокке-Вульф-Альбатрос, созданный в 1931 году в результате слияния двух фирм. С заводов этого концерна вышел тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Фокке-Вульф-200», которому фирма присвоила еще и наименование «Курьер». Обладая дальностью полета до 3200 километров, развивая на высоте 5000 метров ско-

рость портала 450—465 километров в час и загружая свою люки бомбами с общим весом в 2500 килограммов, этот самолет по своим летно-тактическим данным больше всего подходит к разряду современных дальних бомбардировщиков.

Чтобы закончить о бомбардировочной группе немецкой авиации, следует остановиться на выпущенном известной фирмой Хейнкель двухмоторном бомбардировщике «Хе-111». Слегка уступая в скорости уже упомянутому паки «Ю-88», этот бомбардировщик превосходит его в дальности полета и бомбовой нагрузке и предназначен для действий по объектам, отстоящим на значительной глубине от фронта.

Истребительная авиация фашистской Германии к моменту вступления в войну с СССР была вооружена преимущественно машинами, изготавливаемыми фирмой Баерше Флюгцайтвэрке (BFW) при участии главного конструктора фирмы инженера В. Мессершмитта. Речь идет о неоднократно битых паками летчиками в воздушных боях самолетах «Ме-109» и «Ме-110». Первый из них — одномоторный моноплан, вооруженный пулеметами и пушкой, развивал скорость до 460 километров в час. Второй — «Ме-110» относится к классу самолетов многоцелевого назначения. Эта двухмоторная машина, оборудованная пулеметно-пушечным вооружением, может брать в полет до 600 килограммов бомб, имеет дальность полета в два раза большую, чем «Ме-109», и чаще выполняет бомбардировочные задачи, нежели участвует в воздушных боях как истребитель. Более усовершенствованным, с современной точки зрения, немецким истребителем, несомненно, является «Хейнкель-113». Фирма оборудовала его первоклассными пилотажными приборами (этот самолет задуман как типичного истребителя), хорошо вооружила и, поставив линийный мотор, довела скорость полета этой маши-

ны на высоте в 5000 метров до 610 километров в час.

Таковы данные главнейших типов самолетного парка немецко-фашистской авиации, который она имела к началу войны против СССР. Надо сказать, что в составе ее частей действуют авиационные подразделения вассальных государств — Румынии, Финляндии, Венгрии и Италии. Однако вооружены они самолетами отнюдь не превосходящими по своим качествам или оснащением уже упомянутые немецкие машины и сколько-нибудь существенным образом повлиять на оперативно-тактическое использование авиации, конечно, не могли.

В авиации, как известно, не меньшее значение, чем конструкция самолета, играет и конструкция мотора. Фашисты, делая главный упор на вооружение самолетов пулеметами, пушками и бомбардировочным оборудованием, в моторостроительной промышленности заняли несколько оттличную от других государств позицию. Мировая моторостроительная промышленность все последние годы усиленно занималась разработкой высотных авиационных двигателей, в предвидении воздушной войны на больших высотах. Фашистским конструкторам, напротив, подобная задача, по-видимому, не ставилась, ибо подавляющее большинство немецких бомбардировщиков и истребителей снабжены низкоточных моторами; подавляющее большинство немецких самолетов своих наилучшие летные качества показывают на средних, а не на больших высотах. Этот прием — превзойти в массовых воздушных операциях своего противника летными качествами на определенных высотах полета и тем самым известным образом свести на нет некоторые преимущества противника в скорости, высоте и маневренности, конечно, не мог не оказаться и на тактике применения авиации.

Что представляли собой кадры фашистской авиации к началу войны с Советским Союзом? Незначительное число старых летчиков, участвовавших в войне 1914—1918 годов, имея солидный летный опыт, на руководящие посты Гитлером и Герингом допускалось с трудом, ибо они не являлись по существу ярыми поборниками фашистского режима, предпочитая придерживаться старой яркой школы. У руководства воздушными флотами Геринг ставил своих людей, пусть даже и не в полной мере компетентных в вопросах авиации. Одним из таких «варягов», скажем, являлся бывший членовинец пехотной службы Штумпф, которому за несколько лет пребывания в министерстве авиации присвоили звание генерал-полковника и поставили во главе целого воздушного флота. Другим, не менее показательным фактом в этом отношении может послужить и «авиационная» карьера артиллерийского офицера Кессельринга — ныне фельдмаршала фашистской авиации и также командующего одним из воздушных флотов.

Основной состав немецких авиационных частей, вступивших в войну, — летчики, штурманы, стрелки, бортрадисты и техники — преимущественно молодежь, в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет. Кое-кому из них выпало пройти «практику» в экспедиции корпуса «Кондор» в Испании, многие участвовали в налетах на Польшу и Францию.

Опыт, приобретенный основными авиационными кадрами в этих операциях, всячески пропагандировался среди всего летного состава. Германия готовилась к большой войне. Пройти мимо особенностей современной воздушной войны, которые выявились в боях над Испанией, Польшей и Францией, гитлеровское авиационное командование не могло. Были приняты некоторые меры организационного порядка, выразив-

шиеся в перестройке авиационных частей, системы обучения пилотов и наблюдателей в летных школах, были пересмотрены отдельные тактические приемы воздушного боя, построения боевого порядка отрядов бомбардировщиков при следовании к цели, установлены новые нормы в соотношении сил при сопровождении бомбардировщиков истребителями, издан ряд инструкций по боевому применению скоростных самолетов и использованию их вооружения. Танкисты вкратце были «внутренние» приготовления фашистской авиации к войне с СССР. Внешние же легкие воздушные победы тех лет всячески подогревались немецко-фашистским бюро пропаганды с целью укрепить созданный фашистами миф о «непобедимости немецкой авиации». Некоторые из молодых летчиков стараниями той же гебельсовской кухни были провозглашены чуть ли не национальными героями, их щедро осыпали «железными крестами» и другими знаками отличия, ставили на довольно ответственные посты командиров частей или главных инспекторов. Таким образом, не обладая действительно солидной летной выучкой, воспитанные на легких победах кадры немецкой авиации в свои тактические приемы не могли не внести известной доли наглости, нахала, первой подменяя ими настоящую воздушную отвагу и мастерство. И не случайно, что в первые же месяцы войны с советской авиацией фашисты лишились целой группы своих «ассов», как, например, Мельдерса Удта и многих других. Впервые столкнувшись с настоящими воздушными воинами, эти выскочки сразу умерили свой пыл, и в конце концов они быстро погибали, оставляя свои места еще менее подготовленным летным контингентам.



Войну с Советским Союзом в ночь на 22 июня прошлого года началась фе-

шистская авиация. Следуя своей доктрине, гитлеровское командование хотело рядом последовательных ударов с воздуха сразу парализовать жизнь в нашей стране, сорвать мобилизацию Красной Армии, оперативные перевозки войск из глубинных районов к государственной границе, нарушить панику среди населения столиц союзных республик — Киева, Минска, Риги, Кипиниева, вывести из строя важные промышленные и военные объекты в ряде таких пунктов, как Севастополь, Одесса, Винница, Житомир, Могилев, Гомель, и многих других. Ясно, что при всех сопутствующих внезапному и вероломному нападению обстоятельствах за один палет фашистам все равно не удалось бы выполнить свой замысел. Зная, что они имеют дело не с такой армией, с которой им приходилось встречаться при нападении на Польшу, где фашистским самолетам польское правительство могло противопоставить лишь устаревшие машины типа «ПЗЛ» и крайне слабую зенитную артиллерию, гитлеровские за-правили свой первый удар направили по двум основным группам объектов.

Одновременно с моральным эффектом неожиданной бомбардировки ряда городов, врагу было важно попытаться взять с первого же дня в свои руки инициативу в воздухе. Господство в воздухе они падались завоевать после первых же ударов по нашим аэродромам и авиабазам. Этой части воздушной операции, кроме того, они хотели обеспечить успех и второй половины задуманного плана — срыва мобилизации Красной Армии, отсечения ее кадровых частей от приграничных районов и полную изоляцию последних от всей страны. Поэтому основные усилия брошенных на Советский Союз воздушных флотов гитлеровское командование в первые два дня войны направило на уничтожение нашей авиации, расставленной как в приграничных районах, так и несколько глубже. Действия же

по городам и промышленным центрам в эти дни имели характер преимущественно беспокоящих палетов однотремя самолетами.

Оправдался ли расчет немцев? Естественно, что внезапность первых палетов на наши аэродромы несколько сковала наши авиа части, некоторым из них был нанесен известный урон. Но и потери фашистских эскадр в этой операции были огромны. Наши летчики, героически защищая свои аэродромы, отважно вступали в воздушные бои, расстреливали фашистов из пушек и пулеметов, а когда кончались боеприпасы, шли на таран. Этот новый непривычный фашистам прием воздушного боя нашими истребителями был применен в самый первый день войны. Летчики одного из приграничных аэродромных узлов с гордостью вспоминают имя младшего лейтенанта Бутелкина, который, отражая палет немецких «Юнкерсов» на свой аэродром, сбил огнем две вражеские машины, а третью проторанил, самоотверженно отдав свою молодую жизнь за счастье и свободу нашей родины.

Чтобы показать, сколь велики были потери немцев в этой первой их операции, достаточно привести только один пример из многочисленных воздушных боев, разыгравшихся 22 июня на всем протяжении государственной границы. Это случилось на краине юге. Полк истребителей, которым командовал майор Рудаков, за первый день войны отразил восемь попыток немцев бомбардировать прикрываемый им аэродромный узел. В воздушных схватках за несколько часов наши истребители сбили тридцать вражеских самолетов и взяли в плен командира группы — фашистского полковника. За этот день полк потерял только один экипаж. Подобных примеров можно привести много.

Не удалось фашистам полностью реализовать свой план еще и потому, что наше авиационное командование, как

только прозвучали сигналы тревоги, немедленно предприняло широкий аэродромный маневр. Многие бомбардировочные, штурмовые и истребительные части благодаря этому невредимыми вышли из-под удара и, сменив свое место базирования с постоянных, известных немцам аэродромов, на полевые посадочные площадки, в свою очередь, нанесли ряд чувствительных контрударов с воздуха по вторгнувшимся в пределы страны немецким войскам.

Рассчитывая, что советская авиация «уничтожена» уже на третий и на четвертый день войны, немецкая военно-воздушная машина переносит свои усилия на другие цели. Теперь в центре внимания фашистских летчиков находятся железнодорожные магистрали, станции, автомагистрали, шоссе. По аэродромам и городам немцы действуют меньшими, чем в первые дни войны, силами и, кроме того, часть своих соединений используют для промежуточной поддержки перешедших границу и героически задерживаемых нашими пограничными отрядами танковых и моторизованных колонн. Такова примерно была картина воздушного вторжения фашистов на нашу территорию.

В последующем, ведя наступательные операции и имея некоторое преимущество в артиллерии, фашистское командование на первом этапе войны свои военно-воздушные силы использовало следующим образом. На направлениях главного удара (по отдельным участкам фронта) сосредоточивались крупные воздушные группировки, доходящие до 400—500 самолетов. В их задачу входило сильное воздействие с воздуха как на передний край нашей обороны и ближний войсковой тыл, так и на большую глубину порядка 300—400 километров. Основными целями фашистской бомбардировочной авиации были войска в боевых порядках, на марше и биваках, железнодорожные станции, районные центры и города, перепра-

вы, аэродромы и т. д. Фашистские истребители использовались как для прикрытия своих войск, так и для атак с воздуха на наши обороняющиеся войска. На второстепенных направлениях преимущественно действовали редкие группы самолетов, главным образом с разведывательной целью.

Характерными в этот период времени были тактические приемы немецких летчиков, продолжавших с первого дня войны преследовать все ту же идею вязкости нападения. Воспитанные на принципах наглости, ударов исподтишка, они широко применяли различные уловки и хитрости. Например, их действия по нашим аэродромам изобиловали следующими приемами. Делая ставку на неожиданность и злую, что сколько-нибудь значительная группа их самолетов не сможет проникнуть в район наших аэродромов незамеченной, фашисты под прикрытием сумерек пролетали на одиночных самолетах в наши тылы и производили посадку в поле, вдали от населенных пунктов. Едва расставало, эти самолеты-диверсанты вылетали и бреющим полетом подходили к той или другой посадочной площадке. Если такой пилот не бывал тут же сбит огнем зенитных пулеметов или патрулирующими истребителями, то все равно существенного ущерба нанести нам он не мог. Обычно для этой цели фашисты использовали не бомбардировщики, а истребители «Ме-109», или, как это часто случалось на Южном фронте, самолеты вассальной Румынии — «ПЗЛ-24», вооружение которых, как известно, главным образом приспособлено для воздушного боя. Бомбовая же нагрузка этих самолетов столь незначительна, что говорить о серьезном поражении материальной части на аэродроме безусловно нельзя. Этот прием практиковался фашистами исключительно с целью вызвать суматоху в расположении части, посеять панику, создать впечатление о якобы повторяющихся ударах по нашим аэродромам.

В первые недели войны фашисты передко прибегали к помощи своей агентуры для наведения экипажей бомбардировщиков на цель. В таких случаях высаженные в определенном районе парашютисты-диверсанты ложью широко применяли световые сигналы — ракеты, подаваемые с земли в нескольких местах в направлении объекта бомбардировки. В светлое время суток диверсанты практиковали самые различные способы сигнализации. Скажем, при нападении на военный объект около села Кулевча фашистские летчики ориентировались по расположенным на поле в определенном порядке сполам.

Выбирая время суток для штурмования на аэродромы, враг в первый период войны старался действовать либо в сумерках, либо на рассвете, причем подобный налет обычно рассчитывался им с большой точностью. Делалось это, конечно, для того, чтобы обезопасить себя от противодействия наших истребителей, либо при следовании к цели (утром), либо при уходе на свою территорию (вечером). Днем, да еще при ясной погоде нападать на аэродромы фашистские летчики остерегались и даже напротив, следуя по курсу над нашей территорией, стремились обойти их стороной.

Обычно к объекту намеченного удара они подходили на средних высотах (2000—2500 метров), а затем, приглушив моторы и применяя обычную воздушную хитрость, — появление со стороны солнца, из-за облаков и т. п., ложились на боевой курс. Вот один из типичных примеров действий фашистской авиации. С утра над полевым аэродромом у местечка Сухой Ташлык прошел фашистский разведчик. На исходе дня, когда уже группа наших иочных самолетов перерулила с дневной стоянки на поочной старт, из-за облаков появились четыре немецких двухмоторных «Ю-88». Онишли с заглушенными моторами на высоте 600—700 метров.

С хода сбросив две серии зажигательных и осколочных бомб по району командного пункта, они несколько доверили в сторону находящихся в северной части аэродрома самолетов и сбросили еще несколько серий бомб. В действиях фашистов ясно проступала нервозность и торопливость. Большинство сброшенных ими бомб легло в чистое поле, за пределами аэродрома. Весь ущерб, нанесенный нам этим ударом, выразился в одном разбитом прямым попаданием бомбы самолете и несколько поврежденной учебной машине. Из личного состава пострадало несколько человек, легко раненных осколками. Из четырех же нападавших «Юнкерсов» из района аэродромного узла ушло двое. Два других были «наказаны» тут же нашими истребителями.

Однако следует заметить, что удары вражеской авиации по нашим аэродромам не имели успеха преимущественно там, где фашистам была противопоставлена хорошая зенитная оборона. Борьба с немецкими налетами на наши базы и аэродромы была делом трудным и весьма серьезным. Враг усиленно готовился к нападению, его маршруты и сама методика ударов были тщательно продуманы.

Примечательной и очень характерной чертой для всей воздушной тактики немцев в период их наступательных операций было стремление озадачить наши воздушные и наземные силы всякого рода хаверзами. Они, как и другие приемы фашистов, преодолевали все ту же излюбленную ими неожиданность, внезалность. Скажем, бомбардировочная авиация немцев часто применяла вместо обычных футасных или крупноснарядных бомб так называемые (благодаря зрителю впечатлению) «черепашки». Они представляли собой мелкие осколочные бомбы замедленного действия, построенные своеобразной воздушной мишней. Сброшенные с самолета в большом ко-

личестве, они терялись в траве и кустарнике. Взрывы этой «черепашки» проходили в момент нажима нанее ногой, колесом автомашины или легкого удара.

Вражеские истребители, появляясь над расположением наших войск, затевали между собой «воздушный бой». Зная лепреложный закон наших летчиков всегда идти на помощь товарищам, фашисты этой хитростью пытались заманить их в ловушку. Стоило одному-двум нашим истребителям подойти в район подобного «боя», как на них со всех сторон набрасывались «Мессершмитты» или «Хейнкели»!

Много было зарегистрировано и других случаев. Например, стрелки фашистских бомбардировщиков под атаками наших истребителей частенько обозначали поднятием рук или выкладыванием белого флага о готовности сдаться в плен. Но стоило лишь нашему истребителю выпотьную приблизиться к бомбардировщику, как с борта последнего открывался сплошной пулеметный огонь. Нередко немцы, чтобы избавиться от преследования, посредством особого приспособления, пытались оградить себя от атак наших истребителей струями ядовитого дыма. Рассеиваясь в воздухе, он мешал летчику вести прицельный огонь, вызывая легкое головокружение и даже тошноту. Подобных примеров много. Все они говорят о том, что ставка фашистов в первые недели войны была рассчитана на запугивание нашей авиации и написание ей ударов истребителей, любыми незуитскими способами.

В немецкой степени, эти приемы, посягшие по сути дела характер форменного воздушного разбоя, наблюдалась и при действиях фашистской авиации по наземным войскам, близким тылам и коммуникациям Красной Армии. Во время своих налетов немцы отнюдь не стремились поразить или вывести из строя какой-то определенный важный объект. Их усилия были направлены главным образом на то, чтобы посеять

панику, создать ложное впечатление о силе своей авиации, якобы беспрестанно появляющейся над нашими коммуникациями и узловыми пунктами. Боеевой опыт лета 1941 года изобилует многими эпизодами, подтверждающими, что фашистское командование имело так старалось использовать свою авиацию. Например, пац большинством дорог прифронтовой полосы обычно «висели» неприятельские истребители. Целью их была непрерывная охота за отдельными автомашинами, мотоциклистами или группами бойцов. Для контроля за движением по грунтовым дорогам в более глубоком тылу (изначая с 10—15 километров от фронта и далее) немцы преимущественно паряжали бомбардировщики. Здесь они появлялись с периодической последовательностью, один за другим, или с разными интервалами во времени. Если по дороге происходило движение транспорта, то иногда одиночные самолеты заменялись небольшими группами, которые старались пануть на колонны сзади, со стороны солнца, па бреющем полете из-за складок местности. Если колонна своеобразно встречала фашистов огнем, бомбардировщики, не сбрасывая своего груза, немедленно отваливали в сторону и уходили па поиски менее защищенной цели. Надо сказать, что наиболее излюбленными объектами для бомбардировок и пулеметных обстрелов с воздуха для фашистов в те дни были группы беженцев, эвакуирующегося мирного населения, гурты скота и т. д. Это как нельзя более полно характеризует трусившего врага, все повадки и приемы которого сводились к тому, чтобы застingнуть врасплох, создать панику и по-разбойничьи быть из-за угла.

Подобный метод действий еще отчетливее проступал при налетах немцев па населенные пункты и города, находящиеся в воинском тылу или прифронтовой полосе. Создаваемые немецким командованием крупные авиагруппы па направлениях главного удара

отнюдь не прокладывали свои маршруты к объектам военного значения, а подвергали бомбардировке весь населенный пункт. Так было во время налетов на большие города — Минск, Киев, Ленинград, Одессу, Харьков, Смоленск, Запорожье. Так было и во время нападений на менее крупные города. В некоторых случаях разрушение городов шло с методической последовательностью, как, например, при многочисленных нападениях с воздуха на небольшой бессарабский городок Бельцы. Там фашистские летчики бомбили буквально квартал за кварталом. Подобный прием был применен ими во время налетов на Первомайск. В течение ряда ночей, а затем и дней над городом через определенные промежутки времени появлялись вражеские бомбардировщики и сбрасывали груз бомб куда попало, на любые, притягившиеся фашистским штурманам улицы города. Так, создавая пожары, грохота разрывами бомб в нашем тылу, враг пытался посеять панику, устрашить наши войска и сломить их сопротивление. Однако, как мы знаем, его расчеты в этом не оправдались.

Разбойничья тактика устрашения, которой придерживалось фашистское авиационное командование в первые месяцы войны, оказалась п в том, как применялись им парашютные десанты. Пресловутый план «молниеносной» войны уделал им большое место. Следуя замыслам руководящих операций фашистских генералов, подчиненные им воздушные флоты целями пачками сбрасывали парашютистов на нашу территорию. Не останавливаясь на известных фактах выброски групп немецких парашютистов, переодетых в гражданское платье, военную или милиционскую форму, разберем одну весьма показательную для фашистской воздушной тактики десантную операцию, происходившую в сентябре прошлого года. Задумав глубокое окружение одной крупной нашей группировки, по не-

имя для этого достаточных средств, немцы решили прибегнуть к помощи авиации. В один из дней несколько групп самолетов, одновременно появившихся в довольно глубоком тылу наших войск, выбросили отряды автоматчиков и минометчиков около районных центров и узлов дорог. С налета заняв ряд пунктов, эти парашютисты развивали, как только могли, бурную деятельность по наведению паники в нашем тылу. Нерезая телеграфные провода, нападая на отдельные автомашины и поезда, грабя мирное население, они пытались создать впечатление, что здесь действуют крупные части. На самом же деле численность этих отрядов была весьма незначительной — по 30—40 солдат. С ними быстро разделялись местные истребительные отряды, и хитрый замысел врага был сорван.

Следуя своей доктрине воздушной войны, фашисты ровно через месяц после начала военных действий приступили к воздушным операциям, направленным на нашу столицу — Москву. Что пытались бомбить немцы здесь? Авиазаводы? Промышленные предприятия? Определенные военные объекты? Отнюдь нет! Отдельные, прорывавшиеся сквозь кольцо противовоздушной обороны столицы фашистские бомбардировщики беспорядочно разбрасывали бомбы по всей огромной территории города. Вражеским штурманам, повидиму, не ставилась четкая задача разрушения того или другого объекта. Они торопливо освобождали люки своих самолетов от бомбовой нагрузки над жилыми домами, парками, пустырями. Фашисты важно было достичь не столько огневого, сколько морального эффекта своего воздействия с воздуха на красную столицу. Успели ли они в этом? Факты говорят обратное. Москвичи не были поколеблены этими налетами, дух и воля советского народа не упали, а, наоборот, еще более ожесточились, сопротивление пагубному врагу росло с каждым днем все больше и больше.

Итак, этот первый период войны, период наступательных операций гитлеровских полчищ, которым в силу гибелиности и вызвавшего ее некоторого перевеса в силах удалось потеснить наши войска и временно оккупировать часть территории нашей страны, в отношении оперативно-тактического использования воздушных сил кратко характеризуется следующим. Расчитывавшее на молниеносную войну гитлеровское авиационное командование, ведя воздушные операции на широком фронте, мобилизируя свои воздушные силы на направления главного удара, во всех своих действиях придерживалось тактики устрашения, стремясь вызвать панику и замешательство, озадачить наши военно-воздушные силы различного рода каверзами и тем самым легкой ценой завоевать господство в воздухе.

Воздушные флоты фашистов, действовавшие на различных участках фронта, получили не только мощный отпор, но и понесли огромные потери. Наша авиация, отважно сражаясь с врагом, применяя метод активной обороны в воздухе, непрерывно громила немецкую авиацию и в небе и на земле. Только за лето прошлого года, то есть за период наиболее активных наступательных действий немецко-фашистских армий, их авиа части и соединения лишились более 20 000 человек летного состава. Он был уничтожен в воздушных боях или выбит при налетах наших истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков на вражеские аэродромы. Добываемое немцами частное превосходство в воздухе на редких участках фронта по переросло (как этого хотел гитлеровский верховный штаб) в полное господство. Хозяевами в советском небе оставались геройически сражавшиеся с врагом, своевременно разгадывающие все его уловки и хитрости храбрые и умелые советские лётчики.



К осени, с развитием операций, которые по гитлеровским планам должны были закончиться захватом Москвы, немецкому авиационному командованию пришлось срочно перестраивать свою воздушную тактику. Потери в самолетном парке и личном составе благодаря нашему воздушному контраудару были столь велики, что планировать дальнее действия своих воздушных флотов на широком фронте фашисты были не в состоянии. Отказавшись от этого, попав и то, что их пресловутая разбойничья тактика устрашения потерпела фiasco, фашистские авиационные заправы во всем ходу событий были вынуждены принять ряд мер, во многом определивших и характер дальнейших воздушных операций. Поскольку в этот период времени — октябрь, ноябрь — основные усилия захватчиков направлялись на окружение и овладение Москвой, — на этот участок фронта было стянуто большое количество авиационных групп. В известной мере оголяя другие участки фронта, немцы большинство своей авиации сосредоточили на западном направлении. На других участках фронта в это время наступило некоторое затишье в воздухе. Там полеты производились преимущественно одиночными самолетами или малыми группами по несколько раз в день, главным образом с разведывательными целями. Этими силами немцы только «поддерживали» свой воздушный престиж, в некоторых случаях даже пытаясь проникнуть редкими самолетами в глубокие наши тылы (вплоть до Волги). Мы уже упоминали, что, вступая в войну, фашистская авиация не имела в своем самолетном парке большого количества дальних бомбардировщиков. Аэродромы, находящиеся за временно оккупированной немцами территории, позволили им приблизить свою авиацию к линии фронта и тем самым к глубинным районам. Организуя разведывательные полеты (с одиночным бомбометанием)

над глубоким тылом нашей страны, немцы старались создать неуверенность у населения, локолебать прочность советского тыла. Ведь они производились как раз в тот момент, когда гитлеровские полчища оголтело рвались к Москве. Опасность, грозящая столице, появление вражеских самолетов над Волгой — все это, по мнению немецкого командования, должно было сильно воздействовать на моральную устойчивость нашего населения, на организацию обороны и ослабить отпор, оказываемый захватническим операциям немцев.

Как действовал собранный целой оголтелая других участков фронта ударный воздушный кулачок немцев на западном направлении? Здесь боевую работу своей авиации немцы подразделили на два основных участка. Значительная часть сил была применена в тесном взаимодействии с наступающими пехотными и танковыми соединениями, непосредственно поддерживая их на поле боя и пытаясь путем непрерывных бомбардировок ближних коммуникаций отсечь подходящие к фронту резервы, обеспечить продвижение к столице танковых колонн. Одновременно на эту группу алиасоединений немцы возлагали и задачи борьбы с нашей авиацией путем подавления ее на аэродромах.

Другая часть сил, также сосредоточенных на западном направлении, имела своей основной задачей ежедневно подвергать бомбардировкам Москву. Если раньше, в первый период войны для этих нападений немцы могли использовать только самолеты, обладавшие необходимой дальностью полета, — «Хейнкель-111», «Юнкерс-88» и побольшее количество самолетов типа «Фокке-Вульф-200», то теперь приближение аэродромной сети к фронту и сравнительно малая удаленность цели от него позволили им в состав нападающих групп включать не только другие типы бомбардировщиков («Ю-87»,

«Дорнье»), но и истребителей. Преимущественно для этой цели ими использовалась многоцелевой «Ме-110». Операции «московской» авиа группы фашистов в это время достигли своего пика, высшего напряжения. Любой цепой немцы добивались прорыва на Москву, поднимая в воздух эшелоны по 50—60 машин в каждом. В отдельные дни на город направлялось до 300—350 самолетов самых различных марок. Стремясь обеспечить им прорыв сквозь барражи наших истребителей, немецкое командование так раз в эти дни бросяло на Западный фронт несколько отрядов, вооруженных модернизированными, улучшенными в ходе войны истребителями «Ме-109» или, как их часто называют, «Ме-115». Этот вариант основного немецкого одномоторного истребителя обладал по сравнению со своим эталоном несколько повышенной скоростью, был оснащен лучшим вооружением. Так как на нем установлен не высотный мотор и свои наилучшие летные качества эта машина показывала на малых высотах, немцы строили воздушные бои на них так. Сопровождая идущих на значительной высоте бомбардировщиков, эти истребители при встрече с нашими воздушными патрулями старались увлечь их в нижние слои воздушной сферы и вести бой чуть ли не на бреющем полете. Этот тактический прием парировался нашей истребительной авиацией путем создания многоярусного патрулирования, и «ловкие» истребители немцев бывалибиты каждый раз.

Октябрьско-поярьские падеты на Москву помимо массовости и эшелонирования действий характерны еще и тем, что здесь имели место не только ночные, но и дневные нападения на город с воздуха. Но достигли ли немцы желаемого ими результата этими бомбардировками? Конечно, нет! Редкие разрушенные дома, выбитые стекла, десяток-другой быстро заделываемых

воронок на улицах и площадях, очень немногочисленные, случайные жертвы среди нескольких миллионов жителей столицы — вот, пожалуй, и весь итог многих сотен произведенных немцами самолетовылетов. Недаром московская молодежь, правильно оценивая боевой эффект их налетов, назвала фашистских летчиков «стекольщиками», так как наибольший ущерб в городе был нанесен не строениям или другим важным объектам, а оконным рамам, из которых под действием взрывной волны вылетали стекла.

Не добившись ожидаемого эффекта от налетов на Москву, немцы в то же время понесли весьма солидные потери от огня наших истребителей и зенитной артиллерии. О размерах этих потерь говорит хотя бы следующий факт. 27 октября (а подобных дней было много) на подступах к городу было сбито 47 вражеских самолетов. Сюда надо прибавить еще и те самолеты, которые уничтожались фронтовой авиацией при следовании на маршрут, до подхода к московской зоне противовоздушной обороны, тогда картина непомерных потерь гитлеровской авиации в этих операциях будет еще более яркой.

Усилия взаимодействующих с пехотой и танками немецких авиационных частей, как мы уже говорили, были направлены на непрерывное воздействие с воздуха на систему нашей обороны. Однако надо отметить, что условия осенней погоды, размокшие аэродромы и посадочные площадки не позволяли немцам достигнуть непрерывности действий авиации. Несколько сковывало их и то обстоятельство, что при отходе оставляемые нашими частями аэродромы приводились в негодность. Летные поля пропахивались и обычно выпавшие дожди делали нормальную летную работу с них невозможной. Кроме того, места базирования фашистской авиации ежедневно навещались нашими бомбардировщиками, штурмови-

ками и пистолетами, сжигавшими немецкие самолеты, расстреливавшими фашистских летчиков и техников пулеметным огнем.

Осенние месяцы воздушной войны характерны большой интенсивностью действий на сравнительно узких участках фронта. Можно сказать, что они для немецкой авиации, так же как и для всей германской армии, были месяцами наивысшего напряжения. Ценою любых потерь фашистское авиационное командование пыталось облегчить прорыв своих наземных войск к Москве, закончить войну до наступления зимы. Поэтому оно стремилось не только стянуть большинство воздушных сил на западное направление, но концентрировать их по отдельным участкам этого фронта. В проведении самих операций и воздушных боев немцы в этот период не внесли сколько-нибудь существенных тактических новинок. Убедившись на опыте первых месяцев войны, что их прием «воздушного устрашения» не вызывает такого морального воздействия, на которое они рассчитывали, немцы перешли к тактике ударов мощными воздушными кулаками по отдельным объектам как в тылу, так и на поле боя. Но, как показала жизнь, их авиация и таким методом не сумела проложить дорогу своей пехоте и танкам и не только не завоевала господства в воздухе, но и с каждым днем все больше и больше теряла частное превосходство в силах, которое ей иногда удавалось получить на отдельных участках фронта. Причиной этому были, с одной стороны, колоссальные потери, понесенные в предыдущих операциях, а с другой, все более возрастающая мощь советской авиации, пополняемой новой материальной частью, людьми и приобретшей в схватках с немцами богатый боевой опыт.



Осенний кризисный период войны закончился полным разгромом немцев

под Москвой. Откатываясь под ударами наших войск на запад, фашисты были вынуждены в корне перестроить свою воздушную тактику.

Теперь немецкая авиация ограничила радиус своих полетов, преимущественно работая над полем боя. Появление вражеских самолетов над тыловыми районами стало явлением довольно редким, а если они и имели место, то, видимо, с ограниченными разведывательными целями. Вся немецкая бомбардировочная и истребительная авиация была привлечена для штурмовых атак наших наступающих войск с тем, чтобы как-нибудь задержать их и помочь своей пехоте выходить из боя, вызвать танки, артиллерию и на грабленное имущество.

Все более и более усиливающиеся холода также сказались на действиях немецкой авиации, на ее оперативно-тактическом использовании. К злому гитлеровской авиации не была готова по целому ряду причин. Немецкий технический состав не имел практики и опыта ухода за самолетами и моторами при низких температурах. Да и многие из конструкций вовсе не были рассчитаны для полетов в зимних условиях. Например, один из лучших образчиков немецкой истребительной авиации — «Хейнкель-113» охладительную систему мотора имеет в виде паропроводных трубок, расположенных в плоскостях и фюзеляже. Как только на грянули русские морозы, эта система немедленно стала отказывать в полете, участившись случаи вынужденных посадок этого самолета, а «Хейнкель-113» и вовсе перестал появляться в воздухе. Глубокий снег, покрывший прифронтовые немецкие аэродромы также сковал действия авиации. Колесные шасси машин затрудняли, а иногда и вовсе воспрепятали вылет. Лыж к самолетам немецкая авиа промышленность заранее подготовить не успела. Изменчивая зимняя погода не могла не

сказаться и на технике пилотирования и самолетовождения. Оставшиеся кадры немецких летчиков и штурманов не умели летать в сложных метеорологических условиях, в снегопад, в туман, при обледенении самолетов.

Количество вылетов в декабре резко упало. Редкие самолеты, перелетавшие линию фронта, придерживались на своих маршрутах железных дорог, шоссе и других ярко заметных ориентиров. Оторваться от них, отойти в сторону для немецких экипажей, не имевших навыков в зимней навигационной работе, означало потерять ориентировку. В основном они летали эпизодически, бросая бомбы на случайные, попавшиеся на пути объекты. Во всех налетах чувствовалось отсутствие продуманного и преследующего какую-то определенную цель действий.

Особенно сильно сказалась русская зима на вопросах эксплоатации. Зима застала фашистских техников и механиков на аэродромах, которые не были снабжены необходимыми средствами для разогрева воды и масла. Горючее доставлялось с трудом из-за снежных заносов на дорогах. Работные площадки аэродромов расчищать было исчем: механизированных снегоочистительных приспособлений не было. Все это заставляло фашистов поистине варварскими способами пытаться как-нибудь подготовливать самолеты для вылета. Например, на Юго-западном фронте на стремительно занятом нашими войсками немецким аэродроме бойцы увидели подготовливавшуюся к вылету немецкую машину. Убежавший экипаж разогревал ее мотор с помощью пакаленных на костре камней. Очистку аэродромов от снега немцы производили вручную. Понесли они это не сами, а выгнали на работу местное население. Полураздетые и полуутолые старики, женщины и дети должны были на морозе часами убирать снег, готовить взлетные и посадочные полосы для фашистских са-

мометов. Но все эти меры, как и выданные летнему составу в язваре плюшевые куртки, не помогли немецкому командованию выспутаться из создавшегося положения и продолжать свои боевые действия в воздухе с той же активностью, с какой они проделывали это летом и осенью.

Говоря о характере воздушной войны в зимний период, было бы ошибочным считать, что ослабление действий фашистской авиации вызывалось только морозами и непогодой. В действительности, дело обстояло иначе. Первой и самой главной причиной ослабления активности немцев, несомненно, была огромная убыль в самолетном парке и личном составе, особенно во время разгрома гитлеровских полчищ под Москвой. Ставшие сюда большие авиационные силы в полной мере извергали здесь всю мощь Красной Армии и советского воздушного флота. Подмосковные земли еще и сейчас усеяны бесчисленными остатками сгоревших и разбившихся фашистских самолетов. От собравшейся в октябре воздушной армады осталось очень немного машин, немногие экипажи благополучно унесли свои шкуры из-под красноармейских ударов.

Эти обстоятельства привели гитлеровское командование к выводу о необходимости временного прекращения активных действий в воздухе и принятия ряда ограничительных мер. Немцы отвели значительную часть боевой авиации на свои глубинные аэродромы для ремонта, «переобували» колесных шасси на лыжи, тренировали летного состава в пилотировании применительно к зимним условиям. Часть авиаединений, кроме того, была переброшена в южные районы фронта, где тогда позволяла летать более интенсивно. В частности, в это время более активным в смысле воздушных действий со стороны фашистов был Крым и прилегающие к нему районы. На других участках фронта

были оставлены небольшие воздушные заслоны, состоящие из более или менее опытных старых летчиков. Отведена была в тыл и «московская» авиагруппа, налеты на Москву прекратились. Этот маневр является третьей причиной ослабления действий немецкой авиации.

Однако затишье в воздухе в середине зимы сменилось затем попытками активизировать действия авиации на ряде участков фронта. Частично перевооружив свой самолетный парк (вернее, поставив часть машин на лыжи), пополнив растрепанные части новой материальной частью и свежеспечеными гилотами, сняв ряд частей с запада и юга, фашисты приступили к более или менее интенсивной деятельности на своем Восточном фронте. Характер приводившихся в то время поземными войсками оборонительных боев, отступлений немцев на тыловые рубежи, попыток вырваться из окружений предопределяет и оперативно-тактическое использование авиации. Первое, что вновь попытались сделать фашисты, — это вновь ударить по нашим аэродромам, чтобы как-нибудь сковать действия наших военно-воздушных сил. Примерно с начала февраля, сосредоточивая на отдельных базах большие группы самолетов, немцы предприняли ряд атак на наши аэродромы. Днем эти налеты были по сути дела безрезультатными. Вражеские бомбардировщики встречали еще по пути к аэродромам патрули наших истребителей и зенитные батареи, и редким фашистским самолетам удавалось достичь своей цели. Тогда немцы стали широко применять ночные бомбардировки. Тактика их сводилась к тому, чтобы, выследив по световым сигналам, подаваемым с земли нашим самолетам, незаметно подойти к аэродрому и бомбить его мелкими и крутыми бомбами. Зарегистрировано много случаев, когда фашисты, приехав в район аэродромного узла, миганием бортовых огней запрашивали разрешения на посадку

в надежде, что им выложат посадочные зна-
ки, ориентируясь по которым они
будут бомбить аэродромы. Напыщие
ловушки! Достаточно опытные в этом
отношении наши авиационные коман-
дирсы зажигали огни, но только на...
ложных аэродромах. В результате фаши-
сты частенько бомбили пустые, покры-
тые сугробами поля. Особое беспокой-
ство фашистского командования вызы-
вали глубоко прорвавшиеся сквозь
вражескую оборону наши подвижные
группировки. Боясь окружения, немцы
большую часть своей авиации исполь-
зовали для контратак по этим группиро-
вкам с воздуха. Причем для подобных
действий привлекались не только бом-
бардировщики, но и истребители. Мы
видим по целому ряду удачных опера-
ций наших войск, окружавших многие
вражеские группировки (хотя бы 16-ю
армию в районе Старой Руссы), что эта
мера воздействия с воздуха не дала
немцам желаемого результата.

Действия немецких летчиков на
фронтне и в ближнем тылу примечательны
еще и тем, что они за вторую поло-
вину зимы дважды меняли свои такти-
ческие приемы. Первым из них было
стремление действовать на широком
фронтне мелкими группами. Этим немцы
хотели отвлечь наших истребителей,
распылить их силы и обеспечить срав-
нительно беспрепятственное прописование-
ние к тем или другим военным объек-
там. Попеся большие потери и увидев,
что сквозь завесу прикрывавших поле
боя воздушных патрулей одиночкам
пройти трудно, фашисты в конце зимы
прибегли к другому способу. На авиа-
ционном языке он называется «при-
ципом силы». Их тактика в последнее
время сводится к тому, чтобы проложить
себе дорогу к намеченным объек-
там бомбардировкам большими группами
бомбардировщиков, сопровождаемых истребителями. Такие группы в своем со-
ставе имеют до 25—30 самолетов.
Однако наши летчики прекрасно справ-

ляются с задачей охраны с воздуха пол-
я боя и неизменно бьют фашистов. Ярким примером здесь может послужить известный бой семерки истребителей капитана Еремина с 25 лемешими са-
молетами. Наш воздушный патруль в этой схватке уничтожил семь немецких самолетов, не понеся со своей стороны никаких потерь. Подобные бои велись на многих участках фронта — Северном, Ленинградском, Калининградом, Западном, на Юге и в Крыму.

Сильно озабочены фашистов и непре-
кращающиеся удары наших почных
бомбардировщиков по их аэродромам и
опорным пунктам обороны. Для про-
тиводействия им они прияли ряд мер,
вплоть до вызовов из системы ПВО
Берлина специальных отрядов почных
истребителей. Эти «ассы» встречались
несколько раз нашим летчикам на За-
падном Фронте, но, как и следовало
ожидать, их боевая работа, лишенная
взаимодействия с зенитчиками и про-
жекторными подразделениями, на фронте
успеха не имела.

Для действий фашистской авиации
зимой характерно также довольно широ-
кое применение транспортных самоле-
тов. Это вполне естественно. С помощью
этих машин немцы пытались спасти
продовольствием, боеприпасами и лод-
ками пополнением своих окруженные
гарнизоны. Значительная часть их ис-
требителей также привлечена к этой
транспортной работе — «Мессершмит-
там» приходится сопровождать тяжелые
транспортные «Ю-52», так как подразделения последних несут огром-
ные потери от огня наших истребите-
лей, зенитчиков и даже отдельных
стрелков и пушечников.

К концу зимы фашистское команда-
вание попыталось еще раз показать
«мощь» своего воздушного флота, пред-
принимая несколько налетов на Москву.
В этих налетах они применяли ту же
тактику. Одиночные самолеты, прорвав-
шиеся к городу, беспорядочно сбросили

несколько бомб, не причинив серьезного ущерба.

Итак, наступление Красной Армии и русская зима окончательно вырвали из рук фашистской авиации инициативу в воздухе. Попытки вернуть ее в последние месяцы зимы не увенчались успехом. Превосходство в воздухе все более надежно стало закрепляться за советской авиацией.



Таковы вкратце основные этапы воздушной войны между советской и фашистской авиацией. Воздушным флотам фашистов нанесены тяжелые потери. За прошедшее время они потеряли многие тысячи самолетов, у них выбито около 40 000 человек из состава летных экипажей.

Это достигнуто ценой большого напряжения наших военно-воздушных сил, отважной и самоотверженной борьбой с немцами всего коллектива советских летчиков от рядового нижнегенерала до генерала авиации. Борьба с гитлеровской военно-воздушной машиной — это главная страница в истории отечественной войны. Мы имеем известные потери, авиационное превосходство завоевано упорными кровопролитными воздушными боями. Но в этих боях ковалось высокое летное мастерство и тактическая выучка нашего летного состава. Опыт этих боев помог нам создать новые прекрасные отечественные самолеты, усилить их вооружение. Добытый в боях успех получен в результате большой и настойчивой работы с наименее летными кадрами, боявая выучка которых растет и закрепляется с каждым днем. Кадры нашей авиации возмужали и окрепли в боях. Кадры немецкого воздушного флота, напротив, ослабели.

Сейчас части гитлеровской авиации укомплектованы скороспелыми летчиками

ми и штурмлами. Достаточно опытных кадров осталось мало. По своему составу гитлеровскую авиацию можно назвать авиацией ефрейторов и фельдфебелей, ибо она почти вся состоит из пилотов и наблюдателей, носящих эти первые военные звания. Несомненно, что подобный служебный стаж не может не определять летной и тактической выучки кадров немецкого воздушного флота.

Однако было бы ошибочным считать, что немецкая авиация полностью истощена. Она представляет собой еще довольно мощную силу, борьба с которой потребует большого напряжения и немалых жертв. Самолетный парк Германии за зиму, несомненно, пополнился. Германская авиапромышленность готовит новые типы самолетов — «Юнкера», «Хейнкеля» и «Мессершмитты». Летные школы выпускают сотни летчиков. Но воздушный боец не пехотинец. Если весенние резервы можно составлять из стариков или безусых мальчиков, то с такими эрзац-летчиками много не таююешь.

Фактор внезапности фашистами уже утерян. Коварные приемы вражеских летчиков нам известны. Советские боевые машины по своим боевым и техническим качествам далеко превосходят фашистские самолеты. Наш летный состав обладает высокой боевой и летной выучкой, он проявляет невиданную отвагу, мужество и смелость в воздушных схватках. Его не пугает и численное превосходство, которое фашисты пытаются создать на том или ином участке фронта. Советские истребители смело вступают в бой и неизменно побеждают. Все это является залогом того, что мы и втрети будем крепко удерживать инициативу в своих руках и безусловно победим в трядущих воздушных сражениях.

ЮРИЙ ВЕБЕР

СЛАВА РУССКОЙ ГВАРДИИ

Кто не хвалит гвардию? И как не хвалить ее по справедливо-сти?

А. Ермолов, «Записки»

В зимних сумерках 1941 года рождалось у нас запово огненное слово «гвардия». Сквозь дымку морозного тумана, среди сугробов, по которым пляшет русская метелица, встают во весь огромный рост победители великой битвы за Москву — отборные пехотные дивизии Красной Армии, выкованные в напряженных сражениях; лихие кавалеристы в мохнатых бурках с красными и синими башлыками за спиной; танковые бригады, сплоченные в гигантский бронированный таран; артиллерийские батареи, взметающие смерч огня и стали; летчики, подзывающие врага смертоносным дождем... Это наши гвардейцы. Лучшие сыны своей родины, покусившиеся мастера военного дела, спланные, смелые, не ведающие страха.

Воображение переносит нас и в более отдаленные времена, когда в дыму исторических битв мелькали разноцветные муниципы русских гвардейских полков, когда ходили в бой под грохот барабанов и громкие сигналы труб. И в ту эпоху гвардия означала цвет армии, ее образцовую часть, окруженную ореолом мужества, гордости и военной славы. Гвардеец — значит самый сильный, самый храбрый, самый дисциплинированный и выносливый воин. Он — носитель лучших боевых традиций своего народа. А линии этих традиций протягиваются в далекое прошлое, в те глубокие века, когда только создавалась русская военная сила и не было еще известно само слово «гвардия».

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Уже первые великие князья Киевской Руси создали у себя постоянное и отборное войско — дружину. Это не была обычная рать или вои, набираемые из городского и сельского населения на случай только одного похода. Дружинник был настоящий воин. Ратное искусство являлось делом его жизни. Он был свободный человек и шел к князю по собственному выбору, заключая с ним договор на свою службу. Ловкость и сила, меч и доспехи были сначала единственный достоянием таких людей. Это была сплоченная военная семья, проникнутая высоким боевым духом и хранящая в своих рядах прекрасные воинские традиции. Готовясь к битвам, они выходили в открытое поле и там

упражнялись в своем искусстве. Учились владеть оружием, прикрываться от ударов щитами, устраивали военные игры.

Но лучшей школой для княжеской дружины были непрестанные и жесточенные битвы с врагами земли русской. Русские дружины не раз на протяжении столетий спускались по великому днепровскому пути, чтобы подойти затем к столице Византии и погрести ее жителей боевым кнутом, который был «грозец, как шум моря». Они присели Олегу в 907 году громкую победу над греками и в знак ее повесили княжеский щит над вратами Царьграда. Они плавали с Игорем в ладьях и уничтожали в странах Каспийского и Средиземного морей. Они достигали со Святославом самых подножий Кавказа, переходили через Балканский хребет и воевали в классических местах античной истории — Фракии и Македонии. Они проникали в Армению — страну древней культуры, много раз били немецких рыцарей Ливонии, держали в страхе венгров и величое царство Болгарское, совершили зимние походы в леса Финляндии. Русские дружины побывали даже в немецких областях Силезии, куда их привел Владимир Мономах, этот полководец, совершивший в своей жизни 83 похода и лишь один раз познавший горечь поражения. Не раз приходилось русской дружине отбивать набеги печенегов и половцев, которые, впоследствии, возникали из злойного марева южных степей и столь же быстро исчезали после грабежа и насилий.

Сила и воинское искусство дружиныиков были столь велики, что они, не задумываясь, шли против многочисленного врага и побеждали, либо находили гибель себе в честном бою. Так, в 968 году, прослышиав о том, что вся киевская дружина ушла в дальний поход против болгар, тучи печенегов подступили к стенам Киева, где оставались только женщины и дети, а на противоположном берегу Днепра лишь небольшая сторожевая застава дружиныиков с воеводой Претичем. Но не дрогнуло сердце Претича. Горстка его дружиныиков садится в лодки и та вишу всего неприятельского скопища, громко трубя в боевые рога, плывет прямо к Киеву. В ужасе отступают перед такой дерзостью толпы печенегов, припамая этих смельчаков за передовой отряд всей рати киевского князя. Сохранилось сказание, что в 970 году 10 тысяч русских дружиныиков разбили на голову 100 тысяч греческих войск, доказав этим подвигом, что не множество, а искусство и храбрость побеждают. Пришлося русской дружине встретиться и с чужеземной гвардией. Это был знаменитый «легион бессмертных» византийского императора Цимисхия, напавший внезапно на город Переяславец. Втрое был сильнее по своему числу враг, но не мог одолеть дружины в открытом бою и заставить ее положить оружие. Отбив первое нападение «бессмертных», остатки русской дружины отошли в городской дворец и мужественно отражали натиск многочисленного неприятеля. Тогда Цимисхий велел поджечь дворец. Даже охваченные пламенем дружины не изменили своим традициям: они все погибли в огне, но не сдались. А в начале XII века, когда финская знать организовала первые два крупных нападения на русские земли, финнов оба раза жестоко били небольшие дружины Ладоги и Новгорода, так что не ушел ни один человек, — исторический счет неизменных поражений финнов от русского оружия был открыт.

Старая Русь знала немало полководцев, достойных своей дружины. Таков Игорь — герой первого русского поэтического памятника «Слово о полку Игореве». Таков Олег, прозванный «вепсом» и воинственным величайшим русским поэтом. Таков Святослав, храбрый и талантливый вождь, который «суворой

жизнью укрепил себя для трудов воинских, презирал хлад и нечастье северного климата, не знал шатра и спал под «водом леба». Ему принадлежит незабываемая фраза: «Мертвые сраму не имут!» С этими словами пошел он в челе своей дружины на решительный бой с многочисленным врагом, и дружины отвечали ему: «Наши головы лягут вместе с твоей!»

Дружины любили свое оружие, приносящее им победу. Они украшали рукояти своих булатных мечей, посыпали доспехи из дорогой кольчуги и железные шлемы с острым верхом. Они высоко чтили свои боевые стяги, на которых в языческие времена разрисовывали изображения зверей, чудовищ, истрюкапов. В дни войны знамена считались выше идолов, им отдавались божеские почести. В дружине царствовал культ храбрости. Худшим ескорблением было слово «трус». Дружины не сдавались в плен, а захлывались мечами, если у них нехватало более сил драться. Этот обычай был освящен даже религиозным воззрением: считалось, что после смерти пленный будет вечным рабом своего врага. Страх рабства был сильнее страха смерти.

Военная слава русских дружины гремела на всем пространстве к востоку от Эльбы. Их знали и боялись все соседи. Об их подвигах рассказывали и писали греки, арабы, армяне и все европейские народы. Недаром слово «Русь» означало сперва княжескую дружину. Князья соперничали друг с другом, чтобы привлечь в свою дружину храбрейших воинов. С теми князь ходил на войну, на охоту, с теми пировал и с теми думал об управлении землей. Но дружины не был простым телохранителем князя. Он часто менял одну волость на другую, переходил от одного князя к другому. Он созидал себя слугой не отдельного лица или семьи, а всей земли русской, «передним мужем» своей страны.

Почти в течение трех столетий длился этот блестящий период расцвета русской военной силы, пока не разменила ее на мелкие дели междоусобица удельных князей, когда много крови лилось, но не чужой, а своей, русской. Открылись благодаря взаимной вражде ворота для татарского нашествия, и в XIII веке огромную часть Руси наводнила «кровавая грязь монгольского ига». Но дух славных предков не умер в народе. Он лишь ушел на время в более глубокие тайники, ожидая удобного случая, чтобы проявить себя вновь с яркой силой. И каждый раз, как находился способный вождь, который умел ставить общие интересы отечества выше своего оторванного участка, так русская дружины вились еще одну достойную страницу в летопись своей родины. В самое тяжкое время татарского ига дружины Александра Невского разбила в 1240 году на берегах Невы во много раз превосходившее ее по численности пиведское войско. Спустя два года та же дружины сокрушила на льду Чудского озера «великую свинью» немецких псов-рыцарей, зажав ее в русские кляпцы. В январе 1268 года русская дружины разбивает лучшую часть войска ливонских рыцарей, их гвардию, «железный немецкий полк», павший на русский потрясающий город тотчас после заверений магистра ордена в миролюбивых намерениях. Так русские дружины многократно громили мечепосечь Ливонского ордена, который нарушил мирные договоры ровно столько раз, сколько заключал их.



Сила татарского войска была в его коннице. Трудно было бороться пешему с прекрасными пеездниками, налетавшими, как вихрь, со всех сторон. Это

орудие своего порабощения русские сумели превратить в могучее средство освобождения от чужеземной тирании. В XIV столетии конь становится на Руси неприменимым спутником и другом каждого порядочного воина. Если бы мы взглянули на русскую рать на поле брани IX—XI веков, мы бы увидели море голов, среди которых единокими утесами возвышаются фигуры всадников. Совсем иная картина представилась бы нам уже в XIV столетии — конные массы, как молчущий бор, застилающие горизонт, являясь ее основным фоном. И твардию того времени составляют конные полки, лучшие по своему составу и вооружению. Их называли тогда «кованой ратью».

Именно эта «кованая рать» решила участь Куликовской битвы в 1380 году, когда русское войско под водительством Дмитрия Донского нанесло сокрушительный удар монгольским завоевателям. Накануне битвы отряд «кованой рати» проникает под самую татарскую сторожу и ухитряется захватить в плен татарина из свиты самого Мамая. Показания этого пленного помогли Дмитрию Донскому уяснить обстановку и принять правильное решение — перейти за Дон и атаковать орду. А в день самой исторической битвы, начавшейся словами Дмитрия: «Лучше честная смерть, чем позорная жизнь», дружины «кованой рати» образовали засадный полк, спрятанный в зеленой дубраве. И в самый решительный момент боя словно ураган вырвался из засады этот отборный конный полк, стремительно ударили в тыл врагу, смял и сокрушил его, а затем гнал на протяжение сорока верст, устилая своей путь преследования тысячами неприятельских трупов. Враг, 150 лет угнетавший русскую землю, был разгромлен. Призрак былой непобедимости татаро-монгольских орд исчез навсегда.

Отборную конную дружины мы видим и в рядах войска Ивана Грозного. Она всегда сопровождала государя и шла на войну, когда он сам участвовал в походе. Поэтому и название этой дружины было дано «царский полк». В него назначались воины, отличившиеся храбростью в битвах, ловкостью и красивой наружностью. Иван Грозный берег свой полк, располагал его обычно в главном резерве «для помои во все стороны» и пускал в бой лишь в решительную минуту. Так было под Казанью 2 октября 1552 года. Русские войска бросились на штурм крепости и цепью огромных усилий ворвались в город, оттеснив татарские полчища Едигера. Но в самый напряженный момент силы русских ослабели, они начали отступать, а часть уже побежала с криками: «Секут! Секут!» Тогда царь Иван велел готовить своего конного полка: спешиться и идти на подмогу. Десять тысяч отборных воинов, с прекрасным оружием и в дорогих доспехах, направились беглым шагом по заливному лугу в гору, к крепости. Появление этих свежих войск, облитых на солнце сияние блестящего металла, воодушевило русских и внесло смятение в ряды татар. Царский полк быстро докончил разгром врага, взяв в плен самого Едигера и его ближайших военачальников. Город, поставленный на высоком берег Волги еще Батыем, стал отныне русским.

П в более поздние времена в составе русских войск существуют особые отборные части. Царский полк, государев полк, рынды — таковы и названия. Они набираются из московских дворян, наиболее знатных и приближенных к двору. На конец появляются стрельцы — представители эпохи огнестрельного оружия и зарождения идеи постоянного войска. Среди них также выделяются лучшие стрельцы — стремянные, несущие охрану царя и пра-

вительства. А царевна Софья создает из московских стрельцов ладворицу, то есть прицврную, пехоту, подвергая их тщательному отбору.

По папрасю мы стали бы искать в военных действиях этих избранных частей той вершины опытности и боевого духа, какими славились их предки — первые русские дружинники. Нет уже былой школы непрестанных битв с вспесившими врагами, когда кровь не успевала высыхать на мечах и щитах русских дружинников почти жили на полях сражений. Слава эта потускнела в медлительном быте царских палат с характерными для этих фигурами рынд, в уюте родовых вотчин и поместий, куда так охотно разъезжалось дворянское ополчение после войны и где ржавело в дальнем углу притупившееся оружие. Конечно, не способствовали развитию военного искусства торговля и различные промыслы, которым с таким рвением предавались стрельцы в мирное время.

Русские вооруженные силы пуждались в коренном преобразовании. Надо было привыкать им совершенство иное устройство, отвечающее усложнившимся условиям войны и новой тактике, немыслимой без строгой выучки и постоянных упражнений. Пужна была какая-то твердая рука, которая, подобно искусному ваятелю, могла бы высечь из трапита народного материала образ великого воина. И такая рука нашлась, такой ваятель привел. Это был Петр I, создавший не только регулярную армию, но и настоящую боевую гвардию на удивление всему миру.

«ЧАДА МОИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ!»

Гвардия Петра I создалась из «потешных», с которыми он в юности занимался военными играми в рощах села Преображенского. На зов Петра записываться к нему в «потешную» службу 30 января 1683 года явился статный, широкоплечий копюх Сергей Бухвоевтов. Он стал первым солдатом русской армии и первым гвардейцем. В честь его Петр приказал выпилить бюст из бронзы.

С первых же шагов Петр придал своим «потешным» правильную организацию. Он одел их в единообразную форму — зеленые кафтаны, дал им в руки современное оружие, повел строгое систематическое обучение. На реке Яузе выросла «потешная» крепость, построенная по всем правилам тогдашней фортификации. Здесь петровские солдаты привыкали вести осаду и ходить на штурм. Была создана артиллерия и специальная бомбардирская рота. Велись упражнения по метанию ручных гранат и конному строю. На больших двусторонних маневрах войска привыкали действовать крупными массами — в наступлении и обороне. На маневрах под селом Боломенским было сосредоточено 55 тысяч человек всех трех родов оружия — пехоты, кавалерии и артиллерии. Это была настоящая военная школа, поставленная на уровень передового опыта России и зарубежных стран. И среди всех выделялись два полка, которые Петр называл «мои полки» или «лейб-рégименты». Это были Преображенский и Семеновский полки — старейшие в русской гвардии. Саксонский генерал Лаптев, посетивший в то время Россию, так писал о первых русских гвардейцах: «Люди рослые и молодые, по старее 40 лет, хорошо обученные и обмундированные и к стрельбе так искусны, что поступают лучшешим немецким солдатам».

Пришло время перейти от потех к делу. И первое же оружейное крещение показало, что петровские итепцы заслуживают право носить почетное звание гвардии и являются продолжателями всех лучших боевых традиций русского народа и своих предшественников.

В пасмурное холодное утро 19 ноября 1700 года молодые гвардейские полки встретились под крепостью Парва с лучшей тогда в Европе армией шведского короля Карла XII, умудренной многими походами и гордой своими громкими победами. Неопытная еще армия Петра должна была уступить воинскому искусству сильнейшего противника и поспешно покидала поле боя, устремившись всей массой к единственному пути отступления — к мосту через реку Парову. От сильного шалора мост обрушился, и, казалось, неминуемое истребление ждало русских. Но тут на смену выступили Преображенский и Семеновский полки. Они не дрогнули в эту трогенную минуту и явились спасителями русской армии. Гвардейцы заняли место у переправы, окружили себя повозками, устроив ватаги; гвардейские пушкари перетащили сюда же шесть орудий, и эта тонкая преграда стала на пути шведов, как твердая скала. Напрасно шведы бросались на нее густыми толпами. Гвардейцы стояли неподвижно. Им нужно было продержаться, пока русская армия, починив мост, не успеет перейти на другой берег. Сам Карл XII, окруженный своими знаменитыми драбантами, прискакал к месту этой ужасной схватки. Шведы кинулись с удвоенной энергией. Но горсть русских гвардейцев с отчаянной решимостью отбивала атаки. «Каковы мужики!» — воскликнул Карл с невольным восхищением. Так стояли преображенцы и семеновцы, не отступивши ни на шаг, и все русское войско перебралось на противоположный берег. Остатки гвардейцев ушли последними. С расщепленными знаменами и барабанным боем проходили они по мосту на виду многочисленного неприятеля, который, оказывая храбрцам достойную честь, пропустил их свободно.

За этот подвиг гвардейцы получили первое в России отличие — падубовый серебряный знак с знаменательной датой. И все гвардейские чины стали носить вместо зеленых чулок красные, в память того, что бывшие «потешные» сражались тут с окровавленными до колен ногами.

Спустя четыре года «мужики» вновь появились перед стенами Парвы. Они стали примером на те же места, те же шведы были впереди, и даже тот же комендант крепости. Многие из гвардейцев были защитниками независимого ватагенбурга. Но многое изменилось. «Мужики» были теперь уже не новички, пуждавшиеся в шведском уроке, а воины, уверенные в себе и требующие возмездия за павших товарищей.

9 августа в два часа полудни, по сигнальным выстрелам пяти мортир, начался главный штурм Парвы. Впереди атакующих колонншли трепадеры с ручными бомбами. Первыми взошли на главный бастион крепости гренадеры Преображенского полка в кожаных шапках с белыми и красными страусовыми перьями. Они первыми вошли и в самый город.

Поставив сразу же звание гвардейцев так высоко, преображенцы и семеновцы никогда уже не роняли свою честь и впоследствии. Под селом Добрым в непосредственной близости неприятеля оба гвардейских полка переправляются беспомощно спачала через одну речку, потом через другую, прородолевают топкое болото и, не смущаясь почтой темнотой, устремляются на пятитысячный шведский отряд. После двухчасового упорного боя гвардейцы обращают противника в бегство, которое не мог приостановить даже Карл XII. «Как я

пачал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал. И такого еще в сей войне король шведский ни от кого сам не видал», — отзывался Петр о своих гвардейцах. Но через месяц еще более славное дело: после двухнедельного форсированного марша, когда гвардейская пехота, посаженная на лошадей, превратилась вдруг в кавалерию, преображенцы и семеновцы настигают шведский корпус Левенгаупта у деревни Лесной и прямо с хода вступают с ним в ожесточенную борьбу. Полуторное превосходство не спасает врага. Гвардейцы трижды атакуют его. Шведский корпус разбит, и весь огромный обоз с богатыми запасами для армии Карла XII попадает к русским. «Достойному достойное», — написано на медалях, пожалованных гвардейцам за эту битву, которую Петр называл «матерью Полтавской баталии».

И вот, наконец, сама знаменитая битва при Полтаве, в которой русские войска наголову разбили лучшую армию Европы. Накануне сражения Петр объезжал полки. Он остановил лошадь перед гвардией, снял шляпу и громко произнес: «Порадите, товарищи! Отечество ждут вашего подвига!» И на следующий день гвардия доказала, что нет такого подвига, который бы был для нее невозможен, когда речь идет о судьбе родины.

Историческая битва началась жестокой кавалерийской сечью. Одна атака следовала за другой. Сталь острых клинков разогревалась от частых ударов и горячей крови, текущей по желобкам. Сами лошади в пешевой ярости обдавали врагов брызгами белой пены. И каждый раз шведские всадники неслись рассстроенной массой пазал, за прикрытие своей пехоты. Любой храбростью и неутомимостью удивляя всех «лейб-шквадрон» Меньшикова — отборный эскадрон высоченных крепчаков, ставший родоначальником русской конной гвардии. Спине знамя, отнятое у шведов, было паградой конногвардейцам.

Между тем армия Петра выплыла из укрепленного лагеря и построилась в боевую линию. В самом центре ее зеленым массивом выделялась гвардейская пехота, над которой белыми и голубыми крыльями полоскались батальонные знамена. В 9 часов утра под грохот орудий бомбардирских рот и эпопейский голос трубы гвардейского горниста русские полки двинулись вперед. Павстречу им попали шведы.

И с леими царские дружины
Сопльясь в дыму среди равнины,
И грянул бой, Полтавский бой!

Шведский король направляет свои лучшие части на левое крыло русских войск. После ожесточенной борьбы ему удается прорвать расположение Новгородского полка. В русской боевой линии образуется брешь, куда с отчаянной решимостью кидается враг, чтобы разрезать на две армию Петра. Где же находит Петр то верное средство, чтобы наложить ответный удар? В своей гвардии. Он берет батальон преображенцев и с ним бросается в брешь, навстречу прорвавшемуся неприятельскому потоку. Порыв этот увлекает за собой и подавшиеся было части. Шведы смяты и быстро отступают. Это служит как бы сигналом для русских ко всеобщему наступлению. Они бросаются по всему фронту в атаку, и спустя два часа шведская армия бежит, оставляя своего рабочего короля у разбитых посилок.

По роль гвардейской пехоты еще не окончена. Она садится на коней и вместе с драгунами Меньшикова, во главе с «лейб-шквадроном», весь вечер,

прошедших все ступени петровской школы наряду с преображенцами и семеновцами. Здесь сражались их кровные братья — кексгольмцы, участвовавшие еще в Полтавском бою и получившие свое название за блестящее взятие финской крепости Кексгольм. Здесь сражались кирасиры — образцовые представители русской тяжелой кавалерии. Но главная роль и наибольшая доля успеха выпала в ту войну на русских лейб-grenадер, составивших впоследствии знаменитый лейб-гвардии Гренадерский полк. Им поручаются наиболее ответственные задачи, они находятся в самых опасных местах и чаще всего располагаются на флангах боевого порядка армии. А фланги были как раз самой излюбленной точкой удара Фридриховской «косой атаки». Этот прием, заимствованный у греческого полководца Эпаминонда, позволял Фридриху концентрировать против одного из крыльев неприятеля превосходные силы и обрушивать сюда всю мощь генерального нападения.

Первое же крупное сражение показало Фридриху, что в лице русских лейб-grenader он имеет совсем иного противника, чем приходилось встречать ему до той поры. Это было 19 августа 1757 года у восточно-пруссского городка Грос-Егердорф. Бой начался внезапным налетом прусской кавалерии, когда русские находились в походных колоннах и обозы, мешавшие движению, струдились на тесной лесной дороге. Пока находился порядок в отчаянной пуганище повозок, людей и животных, grenадеры выбежали навстречу кавалерийской лавине, построились в три боевые шеренги и заслонили собой остальное войско. Кавалерия составляла гордость армии Фридриха. Сколько раз ее атаки плотной массой, на полном галопе, приносили победы прусскому королю! Казалось, ничто не может устоять против живой силы ее удара. Но на этот раз ее встретил такой ожесточенный и дружный огонь — сперва картечи, потом ружейных зарядов, и, наконец, ручных гранат, что прусские драгуны смеялись и понеслись расстроенной массой обратно. И все их последующие попытки оканчивались такой же неудачей. Вслед за тем русские grenадеры сами двинулись вперед и дважды сбивали прусскую шехуту, пытавшуюся преградить им дорогу. Четыре часа длилась эта героическая борьба лейб-grenader с превосходящим противником. Она дала тот выигрыш времени, который позволил всей русской армии построиться в боевой порядок и принять сражение уже на равных условиях. И, несмотря на крайнее утомление, лейб-grenадеры опять занимают здесь передовую позицию на правом фланге и опять выдерживают первые яростные удары неприятеля, а затем быстро переходят в наступление, увлекая за собой и другие части. Сражение при Грос-Егердорфе оказалось для Фридриха не выигрышным — неприятная новость в его боевой практике. Но пока это было только предвестием еще более мрачных неудач.

В январе 1758 года русские отборные полки вместе с лейб-grenaderами совершают труднейший зимний поход в Восточную Пруссию. Несмотря на сильные морозы и отсутствие устроенных ночевок, они проходят по двадцать километров в сутки, сохраняя при этом образцовый порядок. И 10 января, седые от морозного инея, они вступают под звон колоколов, музыку на стрельчатых башнях и радостные крики всего населения в столицу Восточной Пруссии — город Кенигсберг. Во главе маршируют лейб-grenадеры — усатые великаны в голубых епатах и черных кожаных шапках с медными символами их оружия — ручной трапезой. Через несколько дней grenадеры состав-

ляют почетный караул при торжественном принятии русского подданства жителями Кенигсберга, среди которых один из первых приносит новую присягу Иммануил Кант, бывший тогда доцентом тамошнего университета.

А в августовский дождливый день лейб-гренадеры снова отличаются при нападении русских на крепость Кюстрин. Они быстро совершают длинный обход, прорыдались сквозь кустарники и болотистые поля, и византио появляются у главного предместья крепости (Форштадта). Гренадеры смело бросаются в атаку, захватывают батарею, идут дальше, выбивая прусскую пехоту из кладбищеских каменных оград, и, наконец, врываются в самое предместье. Здесь они стоят весь остаток дня и всю следующую ночь, несмотря на то, что весь форштадт беспрерывно забрасывается гранатами. Необычайная стойкость гренадер позволила русским артиллеристам установить на удобной позиции пушки и единороги, а затем открыть такую грозную стрельбу калеными ядрами, что в скором времени весь город был объят гигантскими языками пламени, пожравшими все богатые хлебные запасы, на которые прусская армия возлагала столь большие надежды.

Иностранные офицеры, бывшие свидетелями блестящих действий лейб-гренадер, отзывались о них с восхищением: «В истории таких примеров не найдется, чтобы днем, пришед к такому сильному городу, прямо, без заступа, под городские пушки ити, неприятеля прогнать, бомбардировать и форштадтом овладеть».

Осада Кюстриня явилась как бы прелюдией к решительному сражению в кампании 1758 года. Оно разыгралось около деревни Цорндорф. Фридрих начал свою «косую атаку» в 9 часов утра 14 августа на правое крыло русских. 60 орудий направляют сюда с высокого холма сосредоточенный огонь, поднимая такой грохот, «какого никогда никакой человек не запомнит», как писали очевидцы. Огонь прусских пушек должен был смети весь правый фланг русской позиции. Так могло бы и случиться, если бы как раз на том самом месте не находились два полка русской гвардии — Бекстольмский и Гренадерский. В течение почти двух часов выдерживали они этот жесточайший обстрел «с неустранимой и неописуемой твердостью». А потом, смыкая передвигшие колонны, бросаются в штыки на приблизившийся прусский авангард и обращают его в бегство. На помощь своему авангарду Фридрих посыпает еще двадцать батальонов отборной пехоты. Но порыв гренадер и кекстольмцев неудержим. Они врываются в толщу прусской пехоты, рассеивают ее и гонят назад. Гренадеры достигают прусских батарей и, полные решимости за павших товарищей, уничтожают всю прислугу, захватив 26 орудий. «Что до российских гренадер касается, можно сказать, что против них никто устоять не может. Король видел сие происшествие, как наши полки спина гренадерам отказывали», — рассказывает прусский офицер об этом бое.

Именно эту минуту, когда гренадеры и кекстольмцы, увлеченные преследованием, разбиваются на отдельные кучки, — именно эту минуту выбирает командующий прусской кавалерией, надеясь лихой атакой эффектно закопчить сражение в свою пользу. 46 лучших эскадронов Фридриха обрушаиваются конными таранами на фланг и тыл атакующей русской пехоты. Гренадерам и кекстольмцам пришлось выдержать высшую пробу своей правственной силы. Уже не было времени принять самый выгодный порядок для отражения конной атаки — построиться в каре. Разрозненные ряды кекстольмцев и гренадер сплотились в отдельные небольшие группы, ощетиненные штыковым ежом.

Русские бойцы, заслужившие честь быть гвардейцами, доказали, как свято и нерушимо соблюдают они вековые традиции своих предшественников — лучше умереть, чем сдаться. Гренадерский шок потерпел более половины своих командиров и солдат, но никто из оставшихся в живых не дрогнул и не уступил врагу. В конце концов прусская конница остановилась в бессилии и отступила, полная изумления перед этими бойцами, которые «даже ранеными, упав на землю, продолжали стрелять и умирать, целуя дуло винтовки».

Потерпев неудачу на правом крыле русских, Фридрих приковывает свое внимание к противоположному краю сражения. Сюда он выдвигает артиллерию и бросает крупные силы конницы и пехоты, желая взять реванш. Но русские отрежают врата и первыми переходят в наступление. Оно открывается блестящей атакой лейб-кирасир против прусской пехоты. Кирасиры заставляют лошадей идти прямо под огонь артиллерии, на всем краю проносятся сквозь эту смертоносную зону и сразу опрокидывают всю первую линию прусских стрелков, изрубив при этом почти целиком два полка. Потом, не переведя дыхания, налетают на вторую линию прусской пехоты, рассеивают ее и берут в плен королевского адъютанта. Кирасирская атака служит сигналом к общему наступлению всего левого русского крыла. Но прежде чем русская пехота сблизилась с противником, кирасиры еще раз бросаются вперед, сбивают несколько вражеских батальонов, а вахмистр Илья Семенов выхватывает прусское знамя и скачет с ним по полю на виду всех войск. Потеря знамени окончательно лишает пруссаков мужества, и пасмурные солдаты Фридриха II обращаются в толпу беглецов, оценивших свою барабанную шкуру дороже эфемерного призрака военной славы. Лишь новое появление больших масс прусской кавалерии спасает их от полного разгрома.

На следующий год русские дерутся уже в главной прусской провинции — Бранденбурге. И тут отборные полки высоко держат честь своего имени. В сражении при Пальците гренадеры опять стоят на правом фланге боевого порядка, куда направлено осколочное жало Фридриховской «косяк атаки». Построившись утлом, они скрепляют все русское крыло своим безграничным мужеством и стойкостью. Дважды подступает к ним прусская пехота и дважды откатывается назад, не пробуя даже вступить в рукопашную, — так грозен боевой угол гренадер, дерущихся сразу на две стороны. Наконец, в третий раз бросает Фридрих огромные массы пехоты и конницы. Гренадеры выдергивают из этого паттиска, что соседние полки подаются, и неприятельская кавалерия прорывается сквозь их ряды в глубь русского расположения. Этот опасный момент не укрылся от русского главнокомандующего Салтыкова, способного и решительного генерала. Он просыпает к месту прорыва два лучших конных полка. На головокружительном алтаре выносятся вперед всадники в железных вороньих латах. Даже не вынимая пистолетов, они налетают на всем скаку на прусских кавалеристов, сшибая их могучими телами своих лошадей и рассекая почти падное страшными ударами тяжелого палатина. Нет больше непобедимой Фридриховской конницы, а есть лишь беспорядочно мечущиеся всадники, пытающиеся уйти от преследования русских лейб-кирасир. Эта стремительная контратака окончательно вырывает победу из рук Фридриха и передает ее русскому оружию.

За Пальцитом следовало еще большее потрясение прусского оружия, когда в немногие часы, благодаря террористическим действиям русских гренадер, петербуржцев и кирасир, жребий войны изверг Фридриха II с вершины близкой

победы в бездну совершенного поражения. Случилось это в знаменательный день крупнейшего сражения той войны, разыгравшегося 1 августа 1759 года на холмах реки Одер около деревни Кушнердорф. В этот день Фридрих II поставил на карту военного счастья все, что он имел. Он сам вел в яростные атаки свою лучшую и проверенную части. Ему удалось добиться успеха. Колонны прусской пехоты уже взвирились на высоту Большой Шипиц — важнейший пункт русской позиции. Захват этой высоты, господствовавшей над остальной местностью, сулил пруссакам выигрыш всего боя. Но пока Фридриховские солдаты поднимались по одному скату Большого Шипица, с противоположной стороны вбегали русские гренадеры, посланные сюда Салтыковым. Вслед за ними спешили батальоны Петербургского полка. Было видно, как зеленая волна гренадерских кафтанов с красными шапками воротников и царукавных отворотов пересекла через хребет Большого Шипица и хлынула на серые массы прусских мундиров. Скоро потоки серой грязи побежали с холма вниз, все дальше и дальше, а очищаемая земля все больше покрывалась весенней зеленью гренадерских кафтанов.

Ни промкие призывы, ни бешеные проклятия не помогли Фридриху остановить свою пехоту, бегущую в ужасе перед русским штыковым ударом. Тогда прусский полководец прибегает к последнему средству: он приказывает кавалерии атаковать наступающие линии гренадер и петербургцев. В это дело он кидает даже несколько эскадронов своей личной конной гвардии. Но опять Салтыков предупреждает намерения противника. Дружный огонь русских батарей пролетает бреющей юсой по рядам прусской конницы, вызывая в ней страшные опустошения. И вслед за тем лейб-кирасиры открывают встречную атаку. Конная гвардия Фридриха теряет свою боевую честь под ударами кирасирских палашей и казацких шаш: ее штандарт падает, брошенный во время схватки, командир сдается в плен, а сами прусские конногвардейцы следуют в паническом бегство за своей пехотой.

Мертвые тела, кипучие пушки, ружья, знамена — вот все, что осталось от прусской армии на кушнердорфском поле. Сам Фридрих скакет с малой свитой по белым лентам дорог в августовскую темную ночь. Он уже больше не «великий» и не полководец, так как, потрясенный разгромом, слагает с себя командование войсками.

Кушнердорфская победа открыла русским дорогу на Берлин. Дважды в 1760 году появляются они у стен прусской столицы. Первый поиск сюда совершает шеболыши отряд, и всего 300 человек гренадер под начальством подполковника Прозоровского смелым налетом врываются в Галльские ворота Берлина, водрузив на городских укреплениях яркое знамя своего полка. Всю ночь напрасно пытаются прусский гарнизон выбить горстку гренадер из занятого предмета. Усатые богатыри уходят только на следующий день, и не потому, что уступают силе противника, а лишь подчиняясь приказу команда отряда.

Спустя неделю, 28 сентября, бастионы Берлина вновь видят кожаные треугольные шапки с медными изображениями ручных гранат. На этот раз гренадеры не одни. Вместе с ними пришли сюда и другие полки, дравшиеся бок о бок, локоть к локтю во всех походах Семилетней войны. Здесь и Петербургский полк, и Бенкельмский, и кирасиры, охраняющие интервалы между пехотой. Все они стоят во главе штурмующих колонн, готовые по первому сигналу решиться на твердыни прусского могущества. Могли ли пруссаки устоять перед

этой непреклонной волей лучших воинов России! Могли ли они сопротивляться силе, мужеству и военному искусству тех полков, дела которых составили одну из самых славных страниц в истории русской гвардии! И Берлин шел.

Солдаты Кексгольмского полка тут же сочинили песенку, которую задорно распевали, проходя по улицам берлинского предместья:

Под Цорндорфом Фридрих сам
Сесть хотел — не по зубам.
Кунцердорфом подавился
И Берлином расплатился!

И в то время как русские лейб-кирасиры скакали на запад, преследуя отступающего врага, на восток, в Петербург, мчался, загоняя лошадей, офицер гренадерского полка Прозоровский, везя в своей гранатной сумке ключи от Берлина как символ славы русского оружия и его лучших поисителей — гвардейцев.

Гренадерские подвиги в Семилетнюю войну были отмечены высокими патрадами. Большая медаль с надписью «Победителю над пруссаками» украсила мундиры участников Кунцердорфского сражения. Серебряные трубы были подарены полкам Кексгольмскому и Гренадерскому за взятие Берлина. Наконец само название гренадер было навсегда сохранено в русской гвардии для выделения самых сильных среди сильнейших, самых храбрых среди храбрейших. Уже давно отошло в область истории их специфическое оружие — ручная граната, а слава гренадерских рот русской гвардии продолжала греметь на весь мир.

★

После взятия Берлина Семилетняя война приближалась уже к трагической для Фридриха развязке, но в центре России вновь появляется внутренний враг всего русского, в том числе и гвардии. 25 декабря 1761 года российским императором становится «прусский поклонник» Петр III. Этот жалкий фигурант в личине бога, как его называет Лессинг, работает перед прусским королем, носит его портрет в своем перстне и возвращает ему все завоеванные провинции, на которых лежат стопью горячей крови русских солдат. Петр III на каждом шагу нарушает традиции и военные обряды гвардии. Он называет гвардейцев янычарами, снимает с них петровские зеленые кафтаны и затягивает в узкие и смешные мундиры прусского покроя с пестрыми «бранденбургскими» петлицами. Он замышляет вообще расформировать гвардию и на замену ей вводит так называемую «гольштинскую гвардию», состоящую почти сплошь из одних немцев. Словом, то, что не удалось сделать Фридриху II в открытом бою, то предоставляется ему теперь возможным осуществить тайной работой при помощи столь высокого сообщника.

Все русское население чувствует себя оскорблённым и опять с надеждой взирает на гвардию, которая лишь одна способна отстоять честь своей родины. Ей нужно было совершить еще один «прусский поход», но не за рубежами страны, а внутри нее. И гвардия не оставляет эти чаяния напрасными. 28 июня 1762 года, как раз в тот день, когда Петр III отправился в Оранienбаум на торжественное освящение лютеранской церкви, — в этот день гвардейские полки сбрасывают с себя неизвестное зло немецкого засилья, арестовывают юродствующего императора и заставляют его отречься от престола.

То же случилось тридцать девять лет спустя и с Павлом I, опять пытавшимся накинуть на Россию ярмо прусской системы. В ее наложной дисциплине, делавшей из солдат бездумных автоматов, хотел он видеть железный щит от всякой французской революции. Снова в противовес русской боевой гвардии создается особая пылающарадная гвардия — на этот раз «гатчинская». Снова в гвардейских казармах звучит шемецкая речь и отдаются приказания на ломающем языке, который едва понимает русский солдат. Снова удобный военный кафтан сменяется прусской экипировкой, состоящей из нелепого переплетения подвязок, подтяжек, крючков, чулок, которое имело театральный вид на учебном плацу, но никаку не годилось в походе. Да и все военное обучение стало ограничиваться теперь почти балетной дрессировкой, математическим равнением при различных эволюциях, не имевших никакого боевого смысла. А гвардия упрямо смотрела на все эти прусские замашки и молчала до лоры. Ее можно было одеть в любую форму, но вырвать из нее русское сердце шельзы было. Она помнила слова великого Суворова: «Русские прусских всегда были — что тут перенять?»

Воспитание русского солдата всегда было суровым, а порой даже жестоким. Но прусские инструкторы, эти наемные бродяги, сумели довести наказание до изощренного садизма. Им мало было только наказать человека, надо было его еще унизить. Гвардейский офицер, служивший в те годы, так рассказывает об одном из видов телесного наказания, цинично прозванного пруссаками «взятым обучением»: «Немцы умели разомкнуть шеренгу на дистанцию руки, поворотить во фланг и производить маршировку тихим шагом, с тем чтобы каждый задний солдат далний ему палкой бил переднего. Потом шеренга поворачивалась налево кругом, и каждый колотил того, кто перед тем колотил его».

И на это дело рук своих взирал с высоты российского престола безумный курлюсий карлик, пытавшийся командовать всеми страной словно отрядом войск на экинцироплаце. Все в том же судорожном страхе перед прыграком революции Павел I ищет себе духовной защиты среди мрачных ритуалов католического Мальтийского ордена. Себя он провозглашает гроссмейстером этого ордена, а его мальтийские кресты пишивает на мундиры и штандарты кавалергардов. Все поведение Павла глубоко оскорбляло русскую гвардию. И только с ее молчаливого согласия могло настать то утро 12 марта 1801 года, когда в императорской спальне нашли безобразно распухший труп сумасбродного прусского тирана.

А гвардия продолжала жить и возвеличивать русское оружие новыми не забываемыми подвигами.

СОЛНЦЕ АУСТЕРЛИЦА

На заре XIX столетия, в прокоте величайших социальных потрясений и военных бурь, русской гвардии предстоял поединок с самой грозной силой, какую ей приходилось когда-либо встречать. Это была армия Наполеона, покорившего почти всю Европу, со своей знаменитой старой гвардией, не знавшей поражений. Новый завоеватель, перед которым меркли даже такие фигуры, как Карл II и Фридрих II, стучался в двери России.

Первая встреча произошла 20 ноября 1805 года на гигантских ступенях плато, спускающихся от лесистых отрогов Богемо-Моравских гор к Аустерли-

цу. Французские историки пишут, что здесь взошло новое солнце военной славы Наполеона — «солнце Аустерлица!» Они правы, когда думают о бездарной диспозиции австрийского генерала Вейротера, варваре уже обретшего объединенные силы русских и австрийцев на проигрыш этого сражения. Но они забывают, что то же солнце Аустерлица осветило ярчайшим блеском такие полувиги русской гвардии, перед которыми даже Наполеон должен был снять свою треугольную шляпу.

Гвардия вышла здесь впереднюю боевую линию и находилась в сфере самого ожесточенного огня и самых яростных атак отборных наполеоновских частей. Но ни один гвардеец не дрогнул и не уронил своего звания. В самом же начале боя всего лишь один полк лейб-улан срывает первую атаку французов. Не ожидая подхода остальной конницы, уланы бросаются навстречу наступающему противнику; опрокидывают первую линию французской кавалерии, за нее две других; проносятся сквозь интервалы французских дивизий, построенных в каре; кидаются на вражеские батареи, стрелявшие по ним картечью почти в упор; рубят прислугу, часто сокочив с коня и сражаясь пешими. А потом, окруженные со всех сторон, прорывают вражеское плотное кольцо и брассышую уходят к своим. После боя лейб-уланы проходили вдоль фронта русской пехоты. Все батальоны в знак особой почести держали перед ними ружья «накаул».

Именно такую картину торжественного выезда кавалерийской части изобразил известный поэт-переводчик Гербель, сам бывший гвардейским лейб-уланом:

Выступают лейб-уланы,
Трубачи трубят;
Вются белые султаны,
Флюгера шумят.

Впереди штандарт сияет
Утренней звездой.
Вотер бережно лграет
Тканью золотой.

Чтобы задержать продвижение русских гвардейцев к Праженским высотам, Наполеон вынужден был послать сюда сначала один корпус, потом другой, потом подкрепление из гренадер, гвардейской кавалерии и артиллерии и, наконец, двинулся туда сам со своей гвардией и мамлюками. В самый полдень впервые на поле брани сошлись лицом к лицу две гвардии. Семеновцы и преображенцы оттесняют неприятельскую пехоту. Русские конногвардейцы и лейб-гусары атакуют французскую гвардейскую кавалерию, и она отходит в беспорядке, скрываясь за пехоту. Русская конногвардейская батарея подлетает на всем скаку к вражескому полку и рассеивает его пятью картечными выстрелами с такого близкого расстояния, что ясно видны были лица французских пехотинцев. В этот момент конногвардейцы опять бросаются в атаку и вружаются в два неприятельских батальона. Правофланговый карабинер Гаврилов соскальзывает с лошади и выхватывает неприятельское знамя, то сева успевает передать его рядовому Омельченко, как сам падает, проколотый штыками в оба бока. В завязавшейся отчаянной схватке французский орел остается в

руках Омельченко. Тут прибывают новые подкрепления французов, и русский гвардейский отряд получает приказ об отступлении.

Но как совершается этот отход! Он воскрешает перед глазами величественные картины древности, когда русские дружины помогали поле боя со щитами за спиной, отступающие, но не разбитые. Отходили шаг за шагом, сомкнутыми рядами, с боем. Пехота, кавалерия и артиллерия помогали друг другу. Нехотные части отражали непрестанные наскоки огромных сил неприятеля, потом становились под прикрытие своей артиллерии, встречавшей колонны французов губительным огнем. А когда колеса орудий вязли в тонких местах, кавалерия бросалась вперед и рубилась до тех пор, пока артиллеристы не выходили из трудного положения. Все знали, что позади, на пути отступления, лежит глубокий Раусницкий овраг и ручей, покрытый тонким предательским ледком. Но ни одна часть не обгоняла другой и не спешила переправиться через опасное место.

У одного орудия лопнул отвоз, вывезти его уже нельзя было. Подпоручик Демидов сам решись защищать свою пушку. Он приказал аттасаге уходить с остальными. Но два солдата — артиллерист и сененовец — заявили, что умрут вместе с ним. Демидов вынул шпагу, прислонился к лафету, два солдата стояли по бокам его. Французские драгуны неслись лавой на трех смесячаков. Демидов приложил фитиль и пустил последнюю картечку. Вскоре пустая тосла драгун окружила орудие. Русские гвардейцы считали своих товарищей потибшими. Но Демидов остался жив, он был ранен и весь залитый кровью был представлен Наполеону.

— Государь, прикажите расстрелять меня, я потерял свою пушку, — сказал гвардейский артиллерист.

— Успокойтесь, вы достаточно ее защищали, молодой человек, — ответил французский полководец.

Геройский поступок Демидова настолько поразил Наполеона, что он велел изобразить эту встречу на картине Аустерлицкого сражения и повесить ее в Тюильрийском дворце.

Так отступали русские гвардейцы. Короткое расстояние до ручья, всего в полторы версты, они прошли около двух часов. Это был образец обороны, сопряженной с огромными потерями, по обороне совокупной и мужественной. Наступил самый опасный момент: гвардейцы подошли к оврагу. Французы надеялись раздавить их здесь, пользуясь своим огромным числом. Латники и мамелюки Наполеона выдвинулись уже для уничтожающего удара. И в эту роковую минуту произошло то, что навсегда сделало чужеземное слово «Аустерлиц» понятным и дорогим для каждого русского гвардейца.

Пять эскадронов кавалергардского полка, только что прибывшего к месту сражения, бросаются на выручку своих. Они на рысях подходят к оврагу, не ремахивают через ручей и взлетают на противоположный крутой берег. Перед ними почти сплошная стена французских войск. Но это не может остановить кавалергардов. Трубы поют атаку, и одновременный всплеск сотен обнаженных плащей сверкающей молнией проносится над полем боя. На полном карьере чистокровных скакунов устремляются кавалергарды навстречу артиллерийским залпам, на щитину французских щитков, навстречу смерти в первою кавалерийской сече. Они жертвуют собой для спасения гвардии — эти молодые красавцы в белоснежных колетах с золотым шитьем и в касках с гребнями конских волос.

Кавалергарды сражались ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы гвардейская пехота и артиллерия смогли переправиться в полном порядке и безопасности через овраг. Все это время полк один притягивал на себя главные силы наполеоновских войск. На каждого приходилось по десятку врагов. Три эскадрона бросаются на французскую пехоту и отрывают ее с первого же налета. Два других эскадрона врубаются в линию французской кавалерии, разрывают ее, сжимают, толчат и отбрасывают назад, под прикрытие огня батарей. Потом общими усилиями кавалергарды выдергивают стражную свалку с наполеоновскими мамелюками, наполнившими все поле своими белыми тюрбанами и диким вы zigом, от которого кровь холода в жилах.

Эта типническая борьба каждую минуту рождала десятки подвигов, равных которым трудно найти в истории войн. Спустя пятнадцать минут после начала атаки в головном взводе кавалергардов не раненых осталось только двое: молодой корнет Альбрехт и эскадронный вахмистр Петин. Следственные, они стали спинами один к другому и отчаянно оборонялись палашами от нападавших на них французских зонногренадер. Вскоре Петин упал тяжело раненный. Семнадцатилетний корнет, оставшийся один, переселился пептиятелей и уже имеющий несколько раз от сабельных ударов по голове, не сложил оружия, а у тела своего товарища продолжал храбро обороняться. Еще один удар по голове. Почти в то же мгновение французский веадник стреляет ему из пистолета прямо в лицо. Заряд оказался без пуль, но лицо корнета обожжено. Ослепленный, с зажмуренными глазами, он все же не перестает драться. Паконец новый сабельный удар подле щеки правой руки перерезал на ней вены и заставил Альбрехта выпустить палаш. Исходя кровью, корнет замереть падает на раненую руку. Эта счастливая случайность спасла ему жизнь: голова его придавила перерезанные вены, и сильное кровотечение было остановлено. Так он пролежал в беспамятстве до конца сражения, пока не был подобран лошадьми. Вечернее небо Аустерлица пакрыло героя, как зламя с золотыми звездами.

Кавалергардский полк был наполовину уничтожен, но не был разбит. Когда трубы яодали сигнал «аппель!», кавалергарды переправились через ручей и в ста шагах от него опять построились в боевой порядок подле своего штандарта. По ту сторону оврага показалась французская гвардия. Но она не решилась атаковать эту горстку людей, готовых каждую минуту принести новую жертву в честь русского оружия. А сзади к ним спешили на помощь колонны лейб-гренадер.

Истинное мужество восхищает даже врагов. Обезоружить и взять в плен французы смогли лишь несколько тяжело раненных кавалергардов.

— Ваш полк честно выполнил свой долг, — сказал одному из них Паллюон.

Потом, увидев кавалергарда Сухтелена, совсем еще мальчика, заметил:

— Молод же ты явился сражаться, с пами.

Юный герой смело посмотрел в глаза человеку, перед которым трепетали все маршалы и короли Европы, и ответил:

— Молодость не мешает быть храбрым, ваше величество!



В войнах с Наполеоном 1805—1807. годов многие молодые гвардейские полки получили боевое крещение и блестящими делами поставили себя сразу же

в один ряд со старой, заслуженной гвардией. В сражении при Ломиттене Егерский полк действовал столь отлично, что обратил на себя внимание всей армии. Молодецким штурмом егеря взяли сильно укрепленную лесную позицию, представлявшую собой гигантскую колючую щетку из поваленных сосен. Когда полк возвращался в линию главной армии, его встретили криками: «Славно! Славно! Молодцы етеря!»

Молодой Павловский полк заслужил редчайшую почесть. По гвардии о нем был отдан специальный приказ: «За отличное мужество, храбрость и неустрашимость в сражениях с французами состоящие в лейб-гвардии Павловском полку шапки оставить в том виде, в каком полк сопел с места сражения, хотя бы некоторые из них были повреждены. Да будут эти шапки всегдашим памятником отменной храбрости полка». На медном щите гренадерки, пробитой пулями, было выбито имя того солдата, который носил эту шапку в тех сражениях. Иметь такую шапку считалось величайшей наградой для каждого гвардейца.

Тогда же произошел и случай, невиданный еще нигде в мировой истории. Батальон петербургских ратников ополчения, где сотенным командиром был известный поэт Батюшков, сражался с такой непревзойденной отвагой, что стяжал себе права старой гвардии. И после кампании он стал называться лейб-гвардии Финляндский полк — в память о победоносных действиях русских в той стране.

А в прерыве между войнами с Наполеоном, в зиму 1808—1809 годов русские гвардейцы совершили беспримерный переход в Швецию по льду Ботнического залива. Онишли под командованием лучших полководцев того времени — Багратиона, Барклая-де-Толли и Кульгюна. Пять дней пробирались гвардейцы по глубоким снежным сугробам, карабкались на груды льдин, которые подобно утесам возвышались по всему заливу. Стоял жестокий мороз, порывистый северный ветер дул прямо в лицо и захватывал дыхание. Но гвардейцы упорно продвигались вперед, таща за собой орудия, так как лошади отказывались идти и падали от изнеможения. Иечевать приходилось среди безбрежного ледяного моря, без огня, просто зарываясь в снег. Обозы не поспевали за войском, и гвардейцы часто оставались без пищи, утоляя голод лишь одним сухарем. Наконец, русские герои пересекли залив, неожиданно появились у шведского берега и взяли с боя город Умео. Ошеломленный неприятель поспешил просить мира. Трудно было поверить в возможность такого перехода. Но когда пажанутие похода спросили об этом Багратион, он коротко ответил: «Прикажите — пойдем!» Он знал, что такое русские гвардейцы и потому был в них так твердо уверен.

Но все это было лишь великолепным прологом к грандиозной эпопее отечественной войны 1812 года. Главное еще было впереди.

1812 год

Никогда еще русская гвардия не находилась на такой высоте величия, какой она достигла в борьбе с нашествием Наполеона, ведущего за собой колоссальную армию «двунадесяти языков». В полном одиночестве должна была защищать свою страну русская армия от полумиллионного полчища французов, итальянцев, испанцев, поляков, пруссаков, саксонцев, баварцев, австрийцев... «Сколько валит вражьей силы, что плонуть негде, если штыком не оти-

стиль», — говорили тогда гвардейцы. Отечественная война пробудила все боевые силы русского народа, его воинский дух, жертвенную любовь к родине, суровую непавильность к врагам, благородное презрение к смерти. И эти качества получили наиболее полное и яркое отражение в гвардии, служившей боевым авангардом своего народа. Нельзя здесь выделить только одну какую-либо ее часть и через нее осветить героические события тех дней. Вся гвардия в целом, все гвардейские полки внесли одинаковый вклад в славную эпоху пародной войны — на любом ее этапе и в любом решающем сражении.

Перед тем как начать планимый отход в глубь страны, русским предстояло осуществить нелегкую задачу — соединить свои главные силы у Смоленска. С северо-запада шла I армия Барклая, с юго-запада — II армия Багратиона. А в трехсотверстный промежуток между ними клином влезал Наполеон, желая отрезать одну армию от другой и разбить их по частям. Надо было во что бы то ни стало предупредить французов и занять Смоленск раньше их. Послать легкий передовой отряд, который смог бы задержать огромные силы противника, было единственным выходом для русского командования. Барклай отправляет с ординарцем начальнику головного корпуса Дохтурову письмо: «Совершеннее спасение отечества зависит теперь от ускорения занятия нами Смоленска. Вспомните суворовские марши и идите ими...»

Вечером 16 июля в палатке командира кирасирской дивизии Депрерадовича собрались начальники гвардейских частей. В мерцающем свете тусклой свечи, бросающей длинные тени, он встал и сказал:

— Нам поручено идти в авангарде. Мы должны открыть дорогу армии к Смоленску и быть там не позднее 19 числа. Возможно, путь уже занят противником, все должны ожидать жаркой встречи с незваным гостем. Я совершенно уверен, что каждый из нас готов жертвовать жизнью за отечество, по решимости предварить вас о нашем предназначении. Если кто-либо не чувствует в себе твердости идти на видимую опасность, пусть лучше и не идет в этот отряд.

Стонут ли говорить о том, что никто из гвардейцев не отказался. Летучий авангард составили кавалергарды, конногвардейцы, егеря, финляндцы, сводный гренадерский батальон и гвардейская конноартиллерийская батарея. Соблюдана полная осторожность и тишина, отряд спился незаметно с биваков и выступил в поход. Шли почти безостановочно, по нестерпимой жаре, на редких привалах погружаясь в короткую дремоту, а если на марше. И все же пехота почти не отставала от кавалерии. Егеря и гренадеры часто бежали с лошадьми, держась за стремя. Так шли около ста верст. В глубокую темную ночь на 19 июля отряд подошел к Смоленску. На противоположной стороне Днепра гвардейцы увидели множество огней бивачных костров. Это была армия Багратиона.

Когда же обе соединившиеся армии начали согласно плану отходить от Смоленска по Московской дороге, Наполеон решил немедленно овладеть городом, чтобы преследовать русских. Но в Смоленске был оставлен небольшой отряд Дохтурова в качестве заслона. 180 тысяч французов стояли на правом берегу Днепра, и всего 20 тысяч насчитывалось среди защитников Смоленска. В этой неравной борьбе выдающуюся роль сыграл лейб-гвардии Егерский полк. Посыпала егерей к Дохтурову, Барклай просил передать, что от мужества маленького отряда зависит сохранение армии. И егеря доказали, что они вполне поняли смысл этих слов. Ловкие и подвижные, прекрасные охотники и меткие

стрелки, егеря находились все время в первой огневой линии, перед стенами древнего города. Они искусно прятались в прибрежных кустах, в опустевших избах и отражали непрестанные атаки французских частей, выбивая прицельным огнем неприятельских офицеров. Даже после жестокой канонады, когда многие избы были подожжены французскими брандштакелями, гвардейцы не отступили, а продолжали стрелять из пылающих домов. Егеря обороняли также весьма важный мост через Днепр. Сюда ринулась главная масса войск Наполеона. Но, воскрешая подвиги петровских «могучих» у парусского вагенбурга, егеря защищали эту переправу с таким упорством, что гора неприятельских трупов образовала огромную страшную пробку, которая закупорила весь мост. Наполеон убедился, что преодолеть мужество отряда Дохтурова и взять штурмом Смоленск он не в состоянии. Французскому полководцу, привыкшему до сих пор щелкать города и крепости, как орехи, пришлось теперь ограничиться лишь нещадным обстрелом Смоленска гранатами и зажигательными бомбами. Между тем русская армия была уже далеко и находилась в полной безопасности. За два часа до рассвета остатки отряда Дохтурова очистили город, разрушив все мосты через Днепр. Гвардейские егеря ушли последними.

Отступление русских войск от Смоленска к Бородину представляет собой один из замечательных примеров сохранения порядка и дисциплины. Неприятелю, шедшему по пятам, не удалось захватить ни отсталых, ни обозов, ни раненых. Идя к Москве, русские лакомились силы, а враг терял их. Так выполнялась великая стратегическая задача. И в ее выполнении гвардейские части сыграли немалую роль. Мы видим их часто в небольших арьергардных отрядах, стойкость которых надежным щитом прикрывала главные силы армии. У деревни Лубяной гвардейские Трепадеры сорвали попытку Наполеона отрезать обходным движением часть русской армии. Четыре раза ходили лейб-гвардейцы в атаку, несмотря на огромное превосходство в силах неприятеля. Но каждый раз, уменьшаясь почти на половину, вновь строились штурмующие колонны гренадер и двигались вперед, помня призыв своего командира: «Лучше погибнуть, чем допустить врага». За этот подвиг полк был представлен к георгиевским знаменам как «лучшей и достойнейшей прападре».

Быстроота продвижения войск во многом зависела от исправности путей, мостов, переправ. Тут славно поработали моряки Гвардейского экипажа. В эту войну они доказали, что гвардейские матросы орудуют на суше несильно хуже, чем на море. Растропанные и выносливые, эти геркулесы в черных куртках быстро чинили дороги, настилали мосты, устраивали переправы. Удобный и широкий путь лежал перед русскими войсками. В то же время неприятель то и дело спотыкался на дорожных препятствиях и разрушенных мостах. Это также было делом рук Гвардейского экипажа. Его команды, находившиеся в арьергардах, уходили отовсюду последними. Сплотив и рядом работали под огнем французских стрелков и артиллеристов. Нередко половина команды вела бой с противником, а остальные под ее защитой быстро разрушали мосты и переправы.



Но вот наступило 26 августа 1812 года — день Бородина, день «битвы гигантов», о котором будут поминать и говорить с благоговением, пока жив хоть один русский человек на земле. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Русские приобрели в нем право быть непобеди-

мыми», — не раз говорил Наполеон. И куда бы мы ни кинули взгляд на это обширное поле сражения, везде мы видим в самых ответственных и опасных местах русских гвардейцев, совершивших подвиги, почти непостижимые холодному разуму.

Свой главный удар Наполеон нацелил па левое крыло русской позиции, туда, где, впереди семеновского оврага находились барагионовы флеши. Против них он бросает свои лучшие корпуса маршалов Даву и Пея. Могущественная артиллерия концентрируется здесь в таранный кулак. И почти вся французская армия строится с таким расчетом, чтобы поддержать эту атаку. После шестичасовой самой ожесточенной борьбы, когда флеши девять раз переходили из рук в руки, а Барагион был убит, русские вынуждены были уступить полуторному превосходству неприятеля и стали отходить к семеновскому оврагу. В этот момент из резерва подоспели три гвардейских полка — Измайловский, Литовский и Финляндский. Они выстраиваются перед оврагом в две линии и становятся с той минуты главной опорой остаткам армии Барагиона. От стойкости этих гвардейских полков зависела судьба всего сражения. Если бы французам удалось отбросить барагионовы войска к северу, в мешок, образуемый слиянием реки Колочи и Москвы-реки, то удобнейший путь отступления русских на Москву был бы отрезан и им бы пришлось драться в весьма невыгодных условиях. Вот на какой ответственный пост были поставлены три гвардейских полка. И этот пост они не покинули. Под их прикрытием расстроенные защитники флеши отошли в лес, и гвардейцы остались лицом к лицу с подавляющими силами противника.

Французы пытались сместь живую преграду артиллерийским огнем. Четыреста орудий, охватившие гвардейцев отчлененной подковой, открывают с расстояния в пятьсот шагов такую стрельбу, что, по словам очевидцев, «кровавая пелена черного густого дыма затмила дневной свет». Гранаты лопались в воздухе, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю рикошетами, рвали на куски человеческое мясо. В рядах гвардейцев, стоявших совершенно открыто, вырубались целые просеки. Но ни одна рота не дрогнула и не попятилась назад. Ряды смыкались, задние шеренги переступали тела павших и заполняли образовавшиеся интервалы. Живая стена редела и редела, но продолжала стоять. Более часа выдерживали гвардейцы эту невообразимую канонаду, доказав, что человеческая воля сильнее обезумевшего металла. Они с честью выполнили исторический приказ Кутузова: «Стоять насмерть! Ни шагу назад!»

А когда умолкала канонада, гвардейцам предстояло новое испытание. Земля дрогнула от топота многих тысяч лошадей, и со стороны французов стала быстро приближаться грандиозная конная масса. Здесь были корпус тяжелой кавалерии Нансути и отборные кирасиры Латур-Мобура, о которых Наполеон всегда с гордостью говорил: «Мои железные солдаты». Измайловцы, литовцы и финляндцы быстро построились в батальонные каре, в девять грозных прямоугольников, над которыми по команде то возвышался лес штыков, то опускался и прямоугольники окутывались белым дымом ружейных залпов. Три раза окружали французские кирасиры и конногренадеры гвардейские каре, и всякий раз гвардейцы прогоняли врага с большим уроном огнем и штыком. Паконец французские кавалеристы окончательно отошли на почтительное расстояние и только издали смотрели на место своего поражения.

На сцену выступила французская пехота и артиллерия. Опять новая схватка со свежими силами противника, опять новые подвиги русских гвардейцев. Остатки Литовского полка находят еще в себе силы совершиТЬ подвиг редкой энергии и мужества. Заняв высоту с левого фланга, французы начали прорезывать весь фронт гвардейских полков продольным огнем. Это грозило им почти полным физическим истреблением. Тогда командир Литовского полка лично повел в атаку на эту высоту батальон своих гвардейцев, имея в резерве остальные два батальона, от которых остались небольшие кучки людей. Смертельно раненый, поддерживаемый двумя гренадерами, он идет впереди и отдает распоряжения, пока литовцы не овладевают высотой после отчаянной рукопашной схватки. Взглянув в последний раз на знамя полка, разевающееся над высотой, командир успел только сказать: «Добро!» — и упал на землю. На этом холме, облитом кровью героев, остатки гвардейского полка удерживались до конца сражения.

Финляндский полк потерял треть своего состава, Измайловский — около половины, Литовский — почти две трети солдат и офицеров. И все же никто из них не дрогнул перед лицом смерти. Эти полки лейб-гвардии «покрыли себя в виду всей армии неоспоримой славой», — писал Дохтуров Кутузову. Паградой им были героические знамена, выданные даже во все батальоны. А Литовскому полку в знак особой почести было присвоено имя «лейб-гвардии Московский полк» — в память того, как храбро защищал он Москву на поле Бородинском.



Поставить здесь точку на описании великой битвы было бы оскорбительным для чести других гвардейских полков. Их знамена появляются всюду, где опаснее всего враг и где борьба достигает наивысшего напряжения. У главного бородинского моста гвардейские егеря вели кровопролитный бой с огромным числом французов. Только такие силы могли выдерживать бесконечные штыковые атаки все новых волн противника и рукопашные свалки предельного ожесточения. Молодой егерь Васильев, исполинского роста, один бросился в толпу неприятеля, выхватил за ворот французского офицера, и так понес его прямо из боя к главнокомандующему. Кутузов тут же пожаловал ему крест, и егерь возвратился в бой уже георгиевским кавалером. Мост несколько раз становился то русским, то французским. Когда же егеря увидели, что отстоять его все-таки невозможно, они собирают всех оставшихся в живых и бросаются в последний раз в штыки. Будто большой железной щеткой счищают синь французов с моста, истребляют целый их полк и прогоняют остатки далеко от реки. А в это время охотники Гвардейского экипажа совершенно разрушают мост. Путь французам закрыт, и наступление их на этом участке замирает.

В самый критический момент всего сражения, когда Наполеон готовился прорвать центр русской армии и выдвинуть уже свою молодую гвардию, произошла стремительная атака русской конницы в охват левого фланга французов. И здесь гвардейские полки показали пример ловкости и кавалерийского искусства. Под огнем неприятеля они переходят вброд через реку Колочу и глубокие овраги, взбираются на крутые берега Бойны и, не останавливаясь, бросаются вперед. Лейб-гусары три раза ходят в атаку против пехотных каре, чуть не захватывают при этом французского вице-короля и, наконец, обращаются в бегство итальянскую гвардию. А лейб-казаки промчались на всем скаку

через узкую плотину, обстреливавшую картечью, заскочили в тыл французских войск и вызвали там такую панику, что она грозила захлестнуть и части, находившиеся в боевой линии. Эта смелая кавалерийская демонстрация была спасительной для русских. Наполеон вынужден был приостановить решительное наступление, его молодая гвардия пошла на поддержку расстроенного левого фланга, и сам Наполеон поскакал туда же, чтобы выяснить обстановку. Так он потерял два драгоценных часа, которые прекрасно использовал Кутузов, укрепив все опасные участки.

И в центре сражения, в самом его пекле, где стояла знаменитая батарея Раевского, русская гвардия явилась той силой, о которую, по выражению Ермолова, «расшиблась французская армия». Более двух часов стояли с замечательным хладнокровием Преображенский и Семеновский полки под беспрерывным перекрестным огнем французских батарей, готовые ежеминутно отразить густые скопления неприятельских войск против кургана. А потом они выдерживали длительные атаки вражеской кавалерии, то бросаясь ей на встречу в штыки, то, не открывая даже огня, а лишь одним грозным спокойным видом батальонных каре заставляя ее поворачивать обратно.

Тут же происходит известный «кирасирский подвиг» гвардейской кавалерии. Когда густые волны французской конницы грозили совсем затопить таявшие каре преображенцев и семеновцев, полки конной гвардии и кавалергарды бросились им на выручку. Это был последний кавалерийский резерв Кутузова. Тогда они занимали неприятеля атаками, все пространство в тылу их было обнажено от войск до самой главной квартиры, находившейся в Горках. Сознание огромной ответственности того часа заставляло конногвардейцев совершать чудеса мужества и бесстрашия. Всего лишь четыре эскадрона кавалергардов атакуют целые три полка неприятельской кавалерии, среди которой особенно выделяются саксонские гвардейцы с пышными перьями на головных уборах. Кавалергарды брубаются в неприятельскую линию и после короткой свалки отрывают ее. Саксонские латники бегут, теряя на ходу свои перья. Раздается трубный звук — «аппель». Но в пылу боя около сотни кавалергардов разных эскадронов, увлеченные преследованием, не слышат сигнала. Они скакут вперед и натыкаются на новый фронт вражеской кавалерии — маленькая горстка перед лесом пик, сабель и палашей. Но кучка кавалергардов собирается около своих случайных командиров, строится вновь в боевой порядок и по команде «С места! Марш-марш!» кидается в атаку. Дерзость производит чудо: враг пятится в страхе назад и «обращает тыл». А кавалергарды, потеряв всего несколько человек, возвращаются к своему полку. Они выполнили основное правило русского гвардейца — «всегда атаковать».

Наконец высокий курган, возвышающийся у деревни Утица на Староемеленской дороге, может служить памятником блестательных подвигов гвардейских гренадер. Они бились за этот курган, откуда Наполеон угрожал глубоким обходом всей русской армии. Когда враг занял курган и уже праздновал победу, гвардейские гренадеры пошли в решительную контратаку. Сами французы называли ее «дьявольской атакой». Один из крупнейших наполеоновских генералов, Фриан, писал в своих мемуарах: «Русские гренадеры, даже раненые, подползали к неприятелю, дрались с ним и умирали, вцепляясь в волосы. Барабанщики были противника барабанными палками». А когда после перестрояния русской позиции им надо было отойти и примкнуть к левому флангу, то они сделали это в таком порядке и так грозно, что были похожи,

по словам французского офицера, на «подвижные редуты, оплетенные железом и извергающие огонь».

Так во всех главнейших очагах Бородина проявляла русская гвардия свой высокий боевой дух, свою ненависть к чужеземным завоевателям и решила участь исторической битвы. Командир гвардейского корпуса генерал Лавров доносил после боя в Петербург: «Я имею честь командовать гвардией, которая храбростью, послушанием и порядком заслужила похвалу от всей армии. После сего жестокого дела ничто не разбрелось в сем знаменитом корпусе, и я стал с ним на биваки, как будто после ученья. Князь Кутузов, по просьбе всех старших генералов армии, хотел особенно сделать одобрение гвардии».

Не то было с гвардией французской. Она не сказала при Бородине этого слова, какое от нее можно было бы ожидать. Дважды предлагали Наполеону его маршалы ввести в дело старую гвардию, но он ответил: «Я не могу рисковать моей гвардией. В трех тысячах верстах от Франции не следует жертвовать последним резервом». Это уже было предчувствие будущей катастрофы. Наполеон понимал, что даже его гвардия не могла что-либо изменить в этом сражении, которое он проиграл, потому что не в состоянии был выиграть.

Между тем даже последние вспышки французского наступления были потушены частями русской гвардии. Еще в 9 часов вечера гвардейцы Финляндского полка выбили штыками из деревни Семеновской французских стрелков, сделавших попытку овладеть ею под покровом темноты. Над притихшей равниной гулко разнеслось эхо редких орудийных выстрелов. Это гвардейская артиллерийская батарея послала вдогонку отступавшему противнику несколько зарядов картечии. Наступившая ночь отпустила свой занавес над полем великой битвы.



В первых двух актах отечественной войны русская гвардия сыграла одну из главных ролей. Она сделала дорогу наполеоновских войск на восток дорогой мытарств и истощения, а Бородино — огромной моральной победой русского оружия. Она не уменьшила своей роли и в последнем акте, превратив обратный путь врага на запад в тропу смерти. Пока гвардия Наполеона разлагалась в мародерстве и ограблении горевшей Москвы, русские гвардейцы жили в дружном тарутинском лагере на берегу Нары, чистили оружие и готовились к новым боям. И во всех сражениях от Тарутина до западных границ России, в которых падали обломки армии «двунадесяти языков», — везде гвардейские части отметили себя славными делами.

6 октября в Тарутинском сражении лейб-гвардии гусарский полк стремительной атакой обратил в бегство целую французскую дивизию.

12 октября под Малоярославцем гвардейская копная артиллерия преградила путь французским войскам к хлебным районам Калуги. Своим губительным огнем она пригвоздила врага к одному месту, помешала противнику павести мост через реку, не давала ему ввести в дело свои батареи и, наконец, не допустила неприятельскую пехоту выйти в поле, подскакав к самой заставе и стреляя картечью с близкого расстояния.

13 октября под Городицей казаки лейб-гвардии Атаманского полка атаковали французскую гвардейскую артиллерию, отбили 11 пушек и захватили большой артиллерийский парк. Сам Наполеон при этом чуть не попал в плен и едва спасся бегством, оставя в жертву казакам всю свою личную охрану.

Полк этот при изгнании исприятеля из России был все время в авангарде Шлатова и совершил немало подвигов, которые сам Кутузов называл «чудесами». Шлатов с казаками взял свыше 500 пушек, 30 знамен и штандартов и до 70 тысяч пленных.

Гвардейские части были и в авангарде Милорадовича, прозванного за быстрые и смелые действия «крылатым». Они следовали по пятам Наполеона и вступали в ожесточенные бои каждый раз, как «французский волк» сердито огрызался. Обычно говорят, что наступившая жестокая зима стала великим союзником русских, помогая им довершить разгром врага. Но при этом многие как-то забывают, что союзник этот был весьма суровый и иссоворотивый. Русские войска, особенно быстро движущиеся авангарды, сильно теряли от холода. Оставляя Россию, национальные войска разоряли города и села на своем пути. В страхе перед внезапными ночных налетами партизан и казаков французы сжигали деревни, и русские гвардейцы вели бои при свете этих огромных пылающих факелов. Гвардейцы шли среди груд развалин, среди скелетов домов без печей и окон. Приходилось раскладывать костры для варки пищи в сарайах и по гумнам, спать часто прямо в сугробах под злой свист спешной метели. Поэт-декабрист Федор Глинка, бывший в авангарде Милорадовича, говорил в одном из своих писем: «Трофеев у нас много, лавров девять нескуда, а хлеба — ни куска». Но, преодолевая все препятствия, гвардейцы совершили двадцатицветные переходы, настигали врага, напося ему страшные, уничтожающие удары. Так было, например, в сражении под Красным, когда почти весь корпус маршала Ней с офицерами, артиллерией и обозами сдался гвардейскому авангарду. Тут лейб-уланы дважды атакуют исприяельские колонны одну за другой и припуждают их сложить оружие. Тут лейб-гренадеры штыками разгоняют французскую гвардию, заставляя ее бросить на поле боя артиллерию. Тут лейб-кирасиры истребляют целый гвардейский полк Наполеона, свирепующий в каре.

В то же время легкий отряд гвардейской пехоты, кавалерии и артиллерии повторяет подвиг своих предков — преображенцев и семеновцев — у села Доброго. Егеря, финляндцы и кирасиры совершают быстрый обходный марш, — конница рысью, а пехота бегом, — отрезают путь отступления частям французского корпуса Даву и на тех же исторических местах идут с барабанным боем в атаку. Горящие дома села Доброго освещают зловещую картину жестокого ночного боя. Неприятельская колонна истреблена, французы выбиты из деревни, а гвардейцы Финляндского полка смелым налетом захватывают весь обоз противника, и в награду им достается маршальский жезл самого Даву.

Опять мы видим команды Гвардейского экипажа, совершающие свою, казалось бы, незаметную, но труднейшую и чрезвычайно важную работу. Они идут в авангарде армии и прокладывают ей пути для преследования противника. 11 октября они строят три плотовых моста через Протву, по которым и переходят все русские войска. В ноябре они перекидывают в рекордный срок понтонный мост через Днепр длиной в пятьдесят саженей. Потом гвардейские моряки строят мост через Березину, стоя по лояс в студеной воде.

После поражения под Красным и Добрый Наполеон отступал с такой поспешностью, что никакая армия не могла бы за ним угнаться. Надо было организовать особый летучий отряд для его преследования. Задача требовала выдающейся вымощивости и подвижности. Ето же мог ее выполнить лучше всего? Ну, конечно, гвардейцы. Отряд составляют егеря, финляндцы, кирасиры

и гвардейские батареи. Начальство над ними поручается одному из храбрейших боевых генералов — Ермолову, воспитанному на лучших традициях гвардии. Выбор был правильным. Переходы этого отряда представляют образец форсированных маршей в самых трудных условиях. Вьюги и метели застилали след отступавших, по гвардейцы находили путь по грудам мертвых тел и павших лошадей, по взрывам французских зарядных ящиков. Шли среди ложаров, по испорченным мостам, часто перебирались по тлеющим бревнам или вброд. Через Днепр перекинули наскоро сбитый мост, орудия перетянули по толстым доскам, настланым вдоль него, но лошади пройти не могли, так как мост под их шагом колебался и каждое мгновение мог рухнуть. Тогда гвардейцы сколотили нечто вроде маленьких плотиков, уложили на них лошадей боком, скрепывая ноги, и так осторожно перетаскивали на лямках. Сгустившийся пловучий лед разрушил мост, и на левом берегу реки остались все обозы, часть патронных ящиков и все провиантские фуры. Но отряд не стал дожидаться, а пошел дальше ускоренным маршем, палегко. Двигался он с такой быстротой, что не давал ни часу отыха отступавшему противнику. Кости, покинутые французами, не успевали гаснуть, как уже появлялся отряд Ермолова. В ранцах солдат не осталось ни одного сухаря, в манерках — ни капли водки, выюки все были брошены на переправах, чтобы дать прежде всего проход артиллерии.

В обширных минских лесах гвардейцы соединились с казачьим отрядом Платова и вместе пустились в погоню. Спешили настичь французов при переправе их через Березину. Не сделав в последние сутки ни одного привала, гвардейцы тотчас же приступили к постройке «летучих» мостов через Березину и ее притоки. Мосты делали на простых козлах, только постилали их соломой и поливали водой, а мороз скреплял эту настилку. И по такой ледяной тропе, цепляясь, падая и скатываясь, почти ползком перебирались люди, лошади, артиллеристы со своими ящичками. Непостижимо, но весь отряд все-таки перебрался на другую сторону. Это дало возможность русским атаковать неприятеля на обоих берегах реки одновременно.



И вот, наконец, русская гвардия вступает в город Вильно — туда, откуда она начала свой героический поход 1812 года. Круг замкнулся. Уже ни одного вражеского солдата нет на русской земле. Парадным маршем проходят по главной площади гвардейские полки — передевшие, но еще более грозные и закаленные в попесенных трудах волынских, с чертами лица, жесткими от порохового дыма и морозов, в обожженных шинелях и простреленных киверах. Александр I, паряжинный в новый мундир, поклонился к Кутузову и заметил недовольно, что гвардейцы недостаточно отшибают носки при шаге.

— Славно дерутся, ваше величество! — ответил Кутузов.

А гвардейские части все шли и шли. Казалось, штыки их и обнаженные наладки еще дымились вражеской кровью. Недаром вся гвардия заслужила в эту войну самые высокие награды, какие могла получить тогда воинская часть, — соргиеевые знамена и штандарты, а также серебряные трубы с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года».

Отечественная война кончилась. Но еще немало трудов ожидало русскую гвардию впереди. Война перешла в Европу.

Б. ПЕСИС

«ПАДЕНИЕ ПАРИЖА» ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

1

Русская литература от Пушкина до Маяковского, от Герцена до Горького не знает себе равных по глубине и верности изображения других народов.

Всепонимающий гений Пушкина, величайшего истолкователя исторических судеб Старого и Нового Света, осеняет и кругосветные странствования поэзии Маяковского.

Среди современных западно-европейских писателей только подлинные гуманисты — Ромэн Роллан, Генрих Манн, Барбюс, глубоко преданные своему народу, умеют так раскрыть свое сердце национальному тению других народов.

Работы Эренбурга о Франции продолжают в советской литературе классическую русскую традицию. Эренбург добавил новую страницу о Франции к «странице любви» у Тургенева, к «странице ненависти» у Достоевского, у которого среди многих несправедливых приговоров есть и справедливейший гнев против заскорузлых французских мещан, лажейский душонок, не французов, а «французишек».

Книга Эренбурга совмещает в себе любовь и ненависть, как и все, что писали о Франции передовые люди, которым дышалось легко в этой стране именно потому, что воздух ее почти из десятилетия в десятилетие очищался грозами народного гнева. Нельзя не считать знаменательным, что в самое грозовое и трудное для Франции время, когда многие французы принуждены к безгласному существованию или жизни на чужбине, именно свобод-

ный голос советского писателя рассказывает миру историческую правду о Франции.

В отличие от «почвенников», сильных только в противопоставлении «своего» и «чужого» (Жироду в книгах о Германии), в отличие от «космополитов», бездомных шсов, бродящих по земле в поисках места, где можно бы укрыться от собственного народа и собственной скучи (Поль Моран), советский писатель-патриот описывает не «чужую страну», а родину свободолюбивого народа, описывает как дом своего друга, то есть ненасильствительно, с уважением и любовью ко всему, что есть чистого в доме, с ненавистью и презрением к мусору, грязи, паразитам.

Эренбург, хорошо знающий старый дом Франции, видит его изнутри, подобно великому французскому мыслителю и патриоту Лабрюйеру, раскрывшему в своей знаменитой книге характеры французов XVII века.

Эренбург восходит к Лабрюйеру как мастер запечатления характеров своего века в живых политических, философских и эмоциональных портретах современников. Цепь фитур у него идет попаременно с цепью событий, он — мастер калейдоскопа. Эренбург — психолог и политик в равной мере; для него не существует анализа душевных склонностей героя в отрыве от его идеологических постулов, его «политики» в широком и узком смысле слова. В такой книге, как «Падение Парижа», политическая наука выступает как сила интеллекта художника, взявшегося воссоздать образы людей и событий до того, как за

это взялись историки. Огромная ответственность лежит на художнике, который хочет, чтобы его иногда мгновенно выносимые приговоры не поблекли рядом с будущим, проверенным временем приговором историков. Великая ценность передовой науки о политике в руках передового художника еще раз показана в успехе Эренбурга, создавшего исторический роман о современности — труднейший вид литературы.

Откуда идет свет в романе? Откуда ясное ощущение чьей-то гениальной, можно освещющей события мысли? Источник света, никем персонально не представленный, скрыт с тем искусством, которое так ценил Дикро в картинах классических художников. Но читатель все время чувствует присутствие света и знает, что он идет оттуда, где собраны мозг и воля народа, и не только французского, но всех народов. Этим объясняется ясность и глубина раскрытия характеров и нравов современной Франции в книге Эренбурга.

Как и всегда в решительные для Франции дни, летом 1940 года народ готов был идти до конца в борьбе за национальную честь и свободу своей родины.

Так было в октябре 1870 года, когда народ поднялся перед лицом германского вторжения с яриком: «Долой Троши! Да здравствует Коммуна! Никаких перемирий! Война до конца!» Так было и в 1940 году, когда народ, вопреки современным Троши и Базелям, решил защищать Париж от нашествия фашистских варваров. Кое-кому показалось тогда, что происходит загадочная «передвижка» патриотических центров, «бегство» патриотических центров из сейфов старых, якобы законных владельцев в лагерь «жрамыников». Понадобилось, чтобы катастрофа стала обозримой, тогда все честные французы поняли, что подлинный хозяин французского дома — это и есть народ, что если и произошла какая «передвижка», то это была передвижка всех истинных патриотов из разных лагерей в лагерь народа, сохранивший здоровое ядро всей нации.

Этот сложный процесс и составляет одну из главных тем романа Эренбурга о падении Парижа и не-

избежном возрождении нации, которое начало широчайшим движением патриотов, свободных французов.

Вера в неискоренимую жизнестойкость французского народа вспыхивала с особой силой после великих поражений.

В 1817 году Шатобриан писал: «Франция — удивительная страна, единственная в своем роде. Она кажется вам поверженной во прах? Будьте покойны: достаточно одного слова, чтобы поднять ее. Несколько капель дождя вернут ей плодородие и богатство, один пушечный выстрел — и Франция покроется солдатами».

В 1817 году Виктор Гюго произнес речь, которую сейчас делают знаменательной следующие слова:

«Позорный мир есть ужасный мир. Что выйдет из такого мира? Ненависть, — но не против народа, а против властителей, которые посмеяли, что они посеяли. Властители мутят совесть мира. То, что потеряет Франция, то выиграет революция. Этот час скоро настанет. С завтрашнего дня Франция будет жить только одной мыслью: восстановить страну, собраться с силами, вскорить святое нетерпение, воспитать новое поколение, образовать армию из всего народа, работать без устали, изучая технику, науку своих врагов, стать снова великой Францией, Францией 1792 года, Францией идей, вооруженной мечом... В один прекрасный день Франция подымется с несокрушимой силой».

Франция возвращается: и тот и другой текст полны этого чувства. Но Шатобриан, лишенный веры в народ, утешал себя верой в чудо. Гюго ясно видел тех, кто способен поднять из праха Францию.

Книга Эренбурга говорит нам: сила нынешнего освободительного движения французов в том, что вера в народ объединила всех французских патриотов.

Верой в возрождение Франции и силы французского народа проникнута книга Эренбурга. Вот почему эта книга о трагедии Франции не только трагична, но и полна великих надежд. В силу своей исторической объективности она должна была показать, что силы народа не исчерпали себя ни в одном из движений, составлявших общественную жизнь Франции.

Поэтому сам народ не удивился ни приходу в его лагерь — когда этот лагерь стал полем битвы — некоторых своих бывших противников (консервативный депутат Дюкан), ни уходу лжедрузей (Тесса), которые, по мере приближения решительного часа, стали жаться, как полагается диверсантам, к лагерю своих истинных хозяев («радикал» Тесса, «социалист» Виар) и служить Гитлеру все более открыто — вплоть до Виши.

Судьбы героев романа Эренбурга определяются этим движением: к народу или против него.

Дюкан, долгое время связанный с правыми кругами, наивно верил в то, что они есть «монополиты» патриотизма. С каждым днем он яснее понимал свою ошибку. А на последней баррикаде, среди защитников Тура, он не увидел своих бывших друзей. Францию отставали своей кровью другие люди. В батальоне, составленном из раненых солдат, были те, кого Дюкан когда-то называл «крамольниками». «Белое» стало черным, и черное белым», — с удивлением говорит Дюкан, отражая характерное представление о якобы произошедшей «передвижке» патриотических чувств.

На другом участке фронта бок о бок дерутся батальонный командир Фабр, рядовой офицер, никогда прежде не интересовавшийся политикой, и коммунист Мишо, которого начальники Фабра рекомендовали ему как «преступника»: ведь Мишо сражался в Испании! Тот, кто боролся в рядах испанского народа за дело прогрессивного человечества, естественно оказывается первым в боях за родину. И те же люди, которые в 1937 году предали народ Испании, провозгласив, что ее победы чужды и опасны Франции, эти люди летом 1940 года приказывали честным воинам, вроде Фабра и Мишо, отступать перед немцами.

Мишо, вопреки этому приказу, защищает от немецких вандалов французскую землю, французскую культуру — старинный город и ратушу, которую он, Мишо, давно полюбил заочно еще в те дни, когда, механик завода «Сэн», Мишо, урывая несколько часов после работы, слушал лекции профессора Мале об архитектуре. На стенах ратуши еще сохранились народнофронтовские ло-

зунги 1936 года: памятник французского зодчества стал и памятником борьбы за свободу. Вот что защищали офицер Фабр и механик Мишо, вот что отдали в руки немцев фашист Бретейль и генерал Пикар, пошедший на измену родине по приказу фашистских политиков, из страха перед тем, что победа Франции будет и победой народа.

Подготавливая поражение Франции, бретейли и пикары пытались «белое» сделать черным», очернить французский народ в глазах французского народа.

Рабочих авиазаводов отправляли в концлагеря за «крамолу» и «дезертирство» — лучший способ оголосить военную промышленность и расправиться с тысячами патриотов из народа, желающих самоотверженно работать для Франции. Тесса цинично называет это «дать генеральный бой коммунистам именно на фронте военной промышленности».

Эренбург в одной сцене показал всю подлость этого замысла, трагическую судьбу патриотов-рабочих, ярость народа, узпающего обман.

«Легре, вместе с другими коммунистами, отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции Нуази-ле-Сен поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли: «Везут дезертиров». Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны: шкурники. Другим, значит, умирать... Кто-то крикнул: «Трусы!» Тогда Легре запел «Интернационал». Люди на платформе, удивленные, замерли. А из вагонов кричали: «Мы не дезертиры. Мы рабочие, коммунисты!» После «Интернационала» запели «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев. Напрасно жандармы пытались оттеснить народ. Высунувшись в окошко, Легре кричал:

— Я на той войне ранен был, на лицо печать, они этого не сотрут... А сняли меня с авиазавода. Везут нужники чистить. Вот где изменники — Даладье, Тесса, Фланден... А за нашу Францию мы на смерть пойдем...

Он поднял кулак — полузабытый грозный жест, память о триллать шестом, о великой несбывшейся надежде. Жандармы его оттащили.

Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни кулаков: женщины и солдаты провожали осужденных».

Так Франция, ослепленная, обманываемая, в дни войны становилась собой, свои узнавали своих.

Бретэйль выдвигает на пост хозяина военной промышленности Гранделя, о котором известно, что он немецкий шпион. Истинные хозяева Франции — механик Мишо, рабочий Легре, депутат Дюкан, художник Андрэ, инженер Пьер Дюбуа — одни пройдя длинный путь заблуждений или ошибок, другие, поднявшись из самой сердцевины народа — встречаются на передовой линии битвы за Францию.

Генерал Лерио воздает воинские почести убитому немецкому летчику фон Шириу — «традиции рыцарской войны». В эти минуты истинный французский патриот Пьер Дюбуа одинокий умирает от раны. И последние слова, которые доходят до его сознания, — это слова генерала Лерио, произносящего речь во славу врага.

Французский лейтенант готовится сдавать немцам вооружение. «До последнего винтика», «согласно договору». Нужно показать немцам, что воспитанники Петэна умеют аккуратно торговать Францией, ничего не утаивая из своего «товара». Капитан Легре, рабочий, часовой при арсенале, который подлежит сдаче, готовит динамит, — французское оружие не достанется в руки врагу.

Так реальный фронт франко-германской войны шел клиньями. В самое сердце Франции вклинивались немецкие штабы, имея своих дозорных в верхушке военщины, воспитанной Петэном. А народный патриотический клин? Он шел по всей французской земле. Он включал всех патриотов, — как тех, кто был сознательно связан союзом верных сынов французской родины, вроде Мишо, Дюбуа, Дениз, так и тех, чьи корни встречались с корнями народа где-то в глубине, в том далеком слове, где хранились: для одних воспоминания о Жанне д'Арк, для других — традиции 1789 года или Парижской коммуны, для третьих — как художник Андрэ — просто традиции труда, семена льбонь, посевянные мужицкими руками отцов и дедов. Все они составили истинный

фронт французской нации, фронт не состоявшийся, но лишь не надолго отложенной битвы свободолюбивого народа с немецкими налачами. Этот фронт проходил глубже линии Мажино. Его нельзя было ни обойти, ни взорвать.

II

Андрэ, художник-пейзажист — сын крестьянина. Его вера в искусство для искусства, в то, что *arts longa, vita brevis est* — «искусство живет долгой жизнью, а жизнь человека коротка», — вырастает из своеобразной философии природы. Нелегко Андрэ освободиться от этой веры, только внешне похожей на эстетические лозунги чистого искусства. Андрэ знает, что требуются десятилетия, чтобы плодовое дерево пошло в рост; быть может, плоды его не увидит сам садовник, но они будут тем сочнее и краше, чем медленнее выращивалась яблоня. Художнику Андрэ приятно думать, что лучшие трубки делаются из корней вереска, десятилетия проложавших в земле. Таковы, — думает он, — и законы искусства. Как же быть художнику в тридцатые годы XX столетия, когда рука человека подгоняет не только ход истории, но и движение природы? (Андрэ был поражен, узнав о методах яровизации пшеницы в СССР). Ужели отказаться от искусства, как не поспевающего за веком? Но Андрэ связан не только с временем. Он связан с народом, который вечен и обновляется, как вечно и обновляется искусство. Андрэ переживает чистейшую радость в день народной демонстрации. Правда, тогда в 1936 году, народные сборища увлекали его больше своей живописностью, не столько грозной, сколько веселой... Народная демонстрация для него в эти дни — еще только развитие излюбленной живописной темы, темы Парижа, Парижа антикварных лавок, дремлющих консьержей, деревьев Люксембургского сада.

Но вот над родиной нависает опасность. Ее предают. В нее врываются орды варваров. Фронт учит Андрэ более глубокому пониманию красоты и более глубокому пониманию народа. Солдату Андрэ поручено защищать важную позицию: оди-

ножий холм, дорога, обсаженная тополями, домик у холма. Многое здесь говорит сердцу художника! Но все пережитое Андрэ — народные демонстрации 1936 года, рассказы Пьера Дюбуа о мужестве забастовщиков, встреча с немецким «космополитом», встреча с министром Виаром, любителем чистого искусства, промоких слов и в тихомолчу совершаемых подлостей, — все это должно подняться в душе Андрэ, когда наступает час битвы.

Одиночный холм, дорога, обсаженная тополями, перестают быть только частью милого французского пейзажа, как было бы для Андрэ еще года два тому назад. Одиночный холм и дорога становятся куском французской земли, орошенной потом и кровью народа, становятся боевой позицией, которую обстреливают немцы. А созерцатель Андрэ становится героем. Он узнает высший вид красоты — подвиг. Он защищает не только французскую землю, но и французское искусство, и защищает не от выдуманного врага (машинизм, техника, темп современной жизни и т. п.), а от реальных врагов, от вандалов, посягающих и на свободу Франции, и на статую Верлена в Люксембургском саду. Неслучайно образ Андрэ поставлен в конце романа: он вырастает здесь на последних страницах как образ путника, перед которым открывается широкий, хотя весь и обложенный тучами горизонт — горизонт плененного Парижа¹.

Андрэ еще недоволен собой. Он чувствует свое одиночество, слишком страшное перед великими испытаниями, которые готовит ему Париж, захваченный немецкими фашистами. Но путь ему ясен. Ясно, к кому пойдет друг Пьера Дюбуа — к наставнику Дюбуа, механику Мишо, к Денизу, к молодому рабочему, поэту Клоду. Об этом свидетельствует и последний разговор Андрэ с немцем Эрихом Нибургом в плененном Париже.

Господин Эрих Нибург из Любека, рыболов и любитель искусства, входит, в строю немецко-фашистских войск, в тот самый Париж, в который он не так давно приезжал

¹ Образом художника Эренбург открывает и заканчивает свою повесть.

любоваться статуями мыслителей и сиреневыми туманами над Монпарнасом. И тут он жалобно говорит французскому художнику: «Мы люди одной культуры». Нет, — отвечает Андрэ, — между нами пропасть. На вопрос немца, чем можно заполнить пропасть, Андрэ отвечает: не словами; только поступками, действием, кровью. Пока этого нет, существуют только: французский патриот, и по другой сторону пропасти, немецко-фашистские bestии. И в их числе обожженный господин Эрих Нибург, которому туманные воспоминания о «культуре» не помешали смиро надеть немецко-фашистский мундир и, вместе с прочим гитлеровским быдлом, топтать мостовые Парижа. Таков, как нам кажется, смысл разговора Андрэ с немцем, заключающего явигу.

Андрэ принадлежит к той небольшой кучке главных героев романа, которые остаются в живых. Их немного, потому что борьба идет страшная и упорная, и она требует огромных жертв. Погибает в числе других французский интеллигент-революционер, инженер Пьер Дюбуа. На смену ему приходит художник Андрэ, новый Андрэ. Он не должен умереть. Эренбург ставит его в один ряд с Мишо, с Дениз — активнейшими участниками борьбы. Они стоят на самых опасных позициях. Такие люди проходят сквозь пули фалангистов на франко-испанской границе, сквозь штабеля фашистских шпиков в плененном Париже. Они продолжают бороться. Ибо в них воплощено будущее народа, который не умрет. Мишо, Дениз, Андрэ — это неистребимая боевая сила и красота французского народа, народа художников и борцов.

III

Умирают Люсьен, Жаннет, Аннес, Дессер. Разные смерти — искупительная, трагическая, героическая, мудрая.

В дни народного фронта Люсьен был ближе к движению, чем Андрэ, еще отсаживавшийся в своей мастерской в мыслях о том, как бы сочетать вечность искусства и движение времени.

Это были дни, когда многие интеллигенты воспринимали народный

фронт как торжество, наступившее после решительной победы. Молодые художники, философы, седовласые ученые толпились на собраниях в Домах культуры. Некоторые из них искренно и наивно верили, что они приходят в мирные и уже запищенные от бурь храмы возрождения, что бурь больше не будет. Были и такие, которые примыкали к движению в поисках выхода из безнадежных тупиков личной жизни; пытались навязать движению поддельные, чуждые ему проблемы запутавшегося индивидуалистического существования. Третья — скрытые враги — пробовали сыграть на противоречиях молодого, еще не окрепшего общественного движения.

Если большинство французской интеллигенции действитель но сливалось с народным движением и перевоспитывалось в нем, то известный слой людей, «лишенных корней», (*déracinés*) пытался «перевоспитать» движение в своем духе.

Проблему дифференциации интеллигенции, как людей, «лишенных корней», и людей, способных «укорениться» в народе, пытались ставить многие французские писатели. Советский писатель Эренбург ставит эту проблему, беря ее в свете больших событий, в свете широкого общественного движения 30-х годов.

Тема народного фронта ставится у Эренбурга в глубоком историческом смысле, как тема народности общественного движения. Это вторая центральная тема книги, столь же важная, как и тема истинного патриотизма.

Чем стало после первой мировой войны поколение людей, «лишенных корней»? Развивая традиции декадентства, они проповедывали то, что можно определить, употребляя термин античных скептиков, как «изостению»: истина состоит в со-существовании всех истин, из которых ни одной не отдаётся предпочтения. В этом скептицизм 20-х, 30-х годов во Франции видел духовное богатство и многогранность. От этого богатства недалеко было до самой жалкой нищеты духа: в зависимости от вкуса можно было усматривать «многогранность» в одновременном пребывании в двух политических партиях и в провокации (предательство типа Поля Низана). в

сочетании черной мессы и красного цвета и даже в смешении коктейлей. У некоторых послевоенных интеллигентов именно эти черты составляли сущность их «антибуржуазного бунта». Эренбург первый показал, как народное движение и величайшие испытания нации «проконтролировали» этот бунт. Бунт этот в своих последних стадиях — в дни разгрома — у многих стал трагедией. Это — история Люсьена.

Встретив на своем пути широкую реку народного движения, всю в ярких отсветах будущего, в живых красках народных демонстраций, диспутов в домах культуры и т. д., Люсьен решил, что этот бурный поток окажется достаточно просторным для того, чтобы послужить освежающей ванной для его — Люсьена — усталых и сложных чувств. У него не было и мысли об «укоренении» в народе. Напротив, он старался «поднять» народ до себя, до уровня сознания модно-левого поэта, хотел оторвать народ от его слишком «низко» лежащих корней. Недаром он с удивлением и презрением наблюдал коммуниста, у которого есть семья, семейные радости и прочие «мещанские» добродетели; с удивлением слушал речь рабочего Клода о том, что искусство должно иметь высокую нравственную основу. Наскучив этими «узостями», Люсьен порвал с движением и пустился в дальнейшие поиски. На этом пути он и докатился до сотрудничества с испанскими фашистами, у которых ему понравился кульп смерти, более изысканный и прятный, чем народная любовь к жизни; он докатился до сотрудничества с фашистом Бретейлем. В грязном заговоре Бретейля поэту Люсьену мерецились заманчивые простиры для становления «сильной личности». Как могло случиться это и многие другие падения и трагедии, из которых сложилось падение Парижа, поражение Франции?

Народ стремился к расширению движения 1936 года за счет людей, готовых честно служить ему, французскому народу, за счет людей, верных Франции. Народный фронт был движением подлинно патриотическим, и за это его ненавидели антифранцузы — за его мечту о величии и счастьи Франции. Они и

взорвали его: изнутри — провокацией и предательством; извне — тюрьмами и слезоточивыми газами. а главное, сговором с гитлеровской шайкой. Они воспользовались при этом детской доверчивостью многих людей из народа.

Давно, еще со времен процесса Дрейфуса, антифранцузы, французская реакция стали систематически проводить политику ослабления и принижения Франции, видя в этой политике средство внутреннего «умиротворения», обуздания страны. Реакционеры говорили: вырвать крамолу с корнем, и, если нужно, то с французским корнем. Эта подрывная работа маскировалась словами о мире, о единстве Франции, о верности старым традициям, о национальном сознании и т. п. С другой стороны, послевоенные интеллигенты типа Люсьена, обращаясь к народу, говорили: смотрите, корни — это у них, они хотят жить по-старому а мы, аристократы духа, не хотим; мы хотим вырвать с корнем все — старое искусство, семью, «устаревшие» чувства, любовь к родине. Все вырвать с корнем, все взорвать. Да здравствует фашизм! Да здравствует сверхреалистская революция!»

Таким образом, «антибуржуазный бунт» люсьенов шел на встречу реакционной буржуазии, а сами лже-бунтари люсьены становились ее орудием. Такова история падения Люсьена.

Фронт, борьба с немецко-фашистским нацизмом разбудили Люсьена, но уже не могли спасти его. Впервые на Фронте Люсьен стал ценить людей не только за хороший вкус и изящество мысли. Люсьен с удивлением замечает, что ему становятся небезразличными люди, которые держатся рядом с ним. И все же Люсьен бродит по лонам Дюнкерка не столько в поисках правды, сколько в поисках смерти. Бродяжничество Люсьена в дни разгрома — великолепный образ. Это трагический финал всей его фланкирующей жизни, фальшивой свободы, чудовищной бездомности, которой некогда кичился Люсьен. Но, выйдя на широкие дороги Франции, увидев потрясающие страдания народа, почувствовав себя солдатом обманутой армии, Люсьен все же начинает по-

своему искать правды, хотя и не перестает искать смерти, ибо уверен, что выхода уже нет. Люсьен видит почтовую свою жизнь, ее пустоту, ему становится страшно, он впервые ощущает солдатскую злобу к изменникам и солдатскую любовь к тем, кто стоял с ним рядом под немецкими бомбами. Глубокий смысл вложен Эренбургом в историю смерти Люсьена. Он стучится в двери крестьянского дома, чтобы попросить хлеба. Старый крестьянин, принял его за бандита, за опасного бродягу, случайно убивает его. Наклонившись над его трупом, крестьянин, не зная его имени, называет его «сынок». Неизвестный солдат напоминает ему его сына. Так Люсьен и умирает, — как неизвестный солдат, отрекшийся от грязного дома своего отца, министра Тесса, понявший фальшивого полубунта. Это не бесмысленная смерть. Не случайно Люсьен погибает от руки старого крестьянина, и не случайно убившему чудится, что перед ним труп его сына. Живой Люсьен был только бродягой, был чужим в доме французского народа. И последние дни его жизни не могли искупить всей ее пустоты, лжи, бесцельности.

Умирает Жаннет. Жаннет — замечательная актриса, принужденная ради куска хлеба выступать по радио с рекламой духов, перемежая гимны косметике и парфюмерии с декламацией великих французских лирических поэтов.

«Обманутой дано мне умереть!» — читает Жаннет. В черных военных ночных Франции миллионы людей слушают чудесный женский голос, которым, должно быть, сама Франция жалуется на свою судьбу, на то, что ее заставляют быть такой Францией, в которой все фальшиво: Мюнхен здесь называется борьбой за мир, реклама духов — искусством, жестокость бездомных поэтов — любовью.

Как и весь французский народ, Жаннет — жертва этого фальшивого мира, враждебного ей и ее подлинному, скрываемому в подполье искусству. Вместе с народом Жаннет переживает незабываемую радость дней 1936 года. Тогда расцвело и ее искусство и ее любовь. В эти дни она понесла стихи классических поэтов народу, на бастующие заво-

ды. В эти дни под пестрыми, веселыми фонариками народного празднества она поняла, что любит не Люсьена, а Андрэ. Но, радуясь, Жаннет не может скрыть слез, не может подавить в себе какого-то страха перед злым будущим. Она боится не за свое будущее. Ее кристальный мир, необычайно хрупкий и чистый, удивительно верно отражает непрочность этой народной радости, этих веселых демонстраций, сменившихся так скоро огромным горем народа, толпами беженцев на дорогах Франции. Эренбург создал картину, в которой все, начиная от пейзажа, от праздничной толпы 14 июля, от площадей Парижа до последнего уголка парижского сада, где Жаннет встречается с Андрэ, — все изображено как бы входящим в историю! Так вошел в историю вместе с знаменитой битвой французской революции невысокий отлогий холм Вальми; так вошли в историю, вместе с легендарным героизмом советского народа, снежные сугробы под Москвой в зиму 1941 года...

Умирает Жаннет под бомбами, на мгновение обманутая — снова обманутая! — тишиной летнего дня, ароматом заросшего мяты поля на берегу реки, куда Жаннет добралась с толпой парижских беженцев в надежде, что здесь рубеж, за которым их уже не настигнут немецкие бомбы. Но бомба падает на заросшее мяты поле, там, где лежит, замечавшись о детстве, Жаннет.

Франция говорит в романе не только жалобным голосом Жаннет, но и голосом мужественной Дениз, порвавшей с семьей отца — министра Тесса и пошедшей в ряды передовых борцов за народ Франции, туда, где Мишо и Клод.

Франция говорит и голосом Аньес. Так же, как и Андрэ, Аньес — жена Пьера Дюбуа — в дни народного фронта стояла в стороне от движения. Андрэ уходил тогда от фальшивого мира в мир чистого искусства, вернее в чистый мир искусства. Аньес — в свою чистую жизнь: в семью, в любовь, в работу. Она народная учительница. Она служит народу. И все же это еще не настоящая Аньес. В поведении Аньес есть элементы бегства от жизни в полном и широком ее проявлении. Она убеждена, что в мире, в котором такши-

роко разлилась ложь, лучше уж не прикасаться ни к чему, что за переделами своей жизни. Политика? Но политика — это «комбинации». Единство? Но, может быть, в нем компромисс? Борьба? Но борьба — это кровь. Это может поднять ее муж Пьер, но сама она пока еще не может.

Аньес из породы правдоискателей, каких было много во Франции в конце прошлого века. Одним из лозунгов этих искателей правды было служение народу. Аньес, верная этим традициям, находит тот путь, на котором искатели правды могут служить народу в новую эпоху, в эпоху войн и широких народных движений.

Война. Немецкие фашисты входят в Париж. Аньес, привыкшая верить только своим глазам, своими глазами видит теперь звериный облик фашизма. Он так мерзок и страшен, что Аньес, встретив на улице немецких солдат, закрывает рукой глаза своего маленького сына. Но зама она уже видит все, понимает все. Уроки Пьера, его энтузиазм, его мужественная борьба не прошли даром. Аньес в трагические для народа дни убеждается, что правда не в том, чтобы избегать прикосновения в миру лжи, а в том, чтобы коснуться этого мира раскаленным железом. Бороться. Аньес прячет у себя молодых патриотов, которые решают выбраться из Парижа, чтобы присоединить к движению свободных французов. Так французские женщины прятали своих сыновей и братьев в 1871 году, когда Тьёр ввел немцев в Париж, как ввели их в 1940 году Петэн и Лаваль. Тот плененный Париж был величественен и трагичен. Но и этот также. И залог величия Парижа, его будущего возрождения — героизм таких женщин, как Аньес. — Меня вы можете убить, — говорит тихая и смиренная Аньес немецко-фашистскому мерзавцу, который глумится над ней, — но Францию вы не убьете. Франция останется. — Аньес умирает героической смертью, напоминающей смерть народных партизанок.

Умирает Дессер. На тот вопрос, который Эренбург ставит перед всеми своими героями: с Францией вы или против Франции, — Дессер, казалось бы, вправе ответить: да, с Франци-

ей. Разве я не готов отдать все — свои миллионы, всю власть, которую дают деньги, все свое влияние — ради спасения моей Франции? Какова же *его* Франция?

Дессер мечтает сохранить старую Францию, Францию тихих провинциальных городов, рыбной ловли в воскресные дни, вязаных набрюшников, домашних и общественных идиллий. Он любит даже парламентские интриги, которые кончаются тем, что все остается на своих местах, и он даже не против патриархальных забастовок, лишь бы и они кончались возвратом к прежнему. Он не пытит Бретейля, Тесса, Пикара — они ведь портят ему его идиллию; они в тихие парламентские залы приходят с ножами и бомбами, а забастовки улаживают не застольной беседой с рабочими и хозяйственными уговорами, а слезоточивыми газами. Да, он не пытит Бретейля. Но он, пожалуй, не меньше страшится тех, кто хочет хозяйственным жестом очистить французский дом от рухляди, открыть окна, впустить свежего воздуха. Недаром он, Дессер, любитель патриархальных идиллий, в дни забастовок сам не любил прибегать к уговорам и предпочитал холодно ждать, в надежде, что голод усмирит этих непокорных и непонятливых французских рабочих. Дессер хочет решить судьбу Франции не только без хозяина, по воле хозяина — народа, уверяя себя и других, что хозяин — это он, Дессер, что он лучше знает, что нужно французскому народу.

Наступает страшный день, когда Дессер сам убеждается, что его лжедиллия своими корнями уходит не в почву старой Франции, а в почву, которая кормит фашистских бандитов. А он, Дессер, охраняя собственность и мир дома сего, в действительности охранял также беззмятежное существование предателей и шпионов. В этот день Дессер кончает самоубийством, расправившись со своими иллюзиями, не перенеся зрелища июньской катастрофы, позорной капитуляции и разгула новых «хозяев Франции» — гитлеровских агентов — Лаваля, Пикара и проч.

Если Дессер хочет патриархальными методами сохранить неподвижность, косность, то радикал Фуже пытается применить патриархальные методы в борьбе

за движение, за прогресс. Фже — это воплощение старомодного прекраснодушного, истекающего слезами о равенстве и братстве либерализма, вполне безопасного для Бретейля и Тесса. Это, можно сказать, «воинственный скворец» либерализма. В социальном плане он, противопоставляющий грязным интригам Тесса и жестам «латников» адекватские речи о чести, напоминает тех старомодных генералов, которые готовы были храбро сражаться против немецких танков, орудия дотопными пушками. О такого рода бесплодных идеалистах Барбюс писал, что для них «народ является призраком, а великие принципы геометрической абстракцией» (В книге «Les Judas de Jesus»).

Но, кроме Дессера и Фуже, в стране есть и другие представители старой Франции: депутат Дюкас. Он преодолевает свои старомодные иллюзии и старомодные предубеждения против народа и становится ряды патриотов. Трагедия Дессера Фуже не есть «трагедия старой Франции»; в дни борьбы за родину можно найти путь объединения с нековой, прежней Франции и Франции новой. Для этого нужно, чтобы старая Франция сохранила и применила на практике одну старинную французскую добродетель — чувствительности.

Истинный Фронт французского народа может охватить всю живую Францию: от Дюкана до Мишо.

IV

Со времени появления «Современной истории» Анатоля Франса «Издание Парижа» Ильи Эренбурга, самое крупное и сильное изображение современной истории Франции — самая блестящая сатира на французскую реакцию.

Можно представить себе разные типы сатиры на Третью республику. Одни режут ее как труп, добиваясь того, чтобы в поднявшемся тумане зловония не было видно ничего, главное, не было бы видно их неподвласти к Франции. Таковы фашистские карикатурные «разоблачения» Третьей республики.

Другие, подлинные, правдивые сатирики снимают покров за покровом маску за маской, чтобы под толстым

лоем фальши обнаружить живое дело страны. Такова сатира в книге Эренбурга.

Эренбург показывает, как рождался французский фашизм из ядовитых смян, посаженных на французской почве немецко-фашистским империализмом и его французскими подручными — Бретейлем, Тесса, Виаром.

Эти люди день за днем, месяц за месяцем делали все, чтобы удлинить французский народ. Рядом с душевными — фашистскими политиками и немецкими шпионами — стояли Гесса и Виар. Их функцией было «сплятывать жертву». Сначала они могли притворяться, что они — охранители старой Франции, чемпионы национального единства, борцы за мир и т. д. Но по мере того как приближалась катастрофа, как созревали плоды их чудовищного вероломства, по мере того как становилась все более властной и наглой указка из Берлина, и Тесса, и Виару приходилось сбрасывать маски. Ничтожный Гесса — политический интриган, карьерист, сластолюбец, постоянный посетитель будуара мадемуазель Польетт, становится страшным Тесса — Тесса, выполняющим прямые поручения палача Бретейля и шпиона Гранделя. В то же время страшный Бретейль, по мере того как осуществляется его мечта об унижении и уничтожении Франции, становится все более ничтожным и жалким. Он весь исходит страхами перед народом, каждый его «твёрдый», «ренительный» жест продиктован, как и его ханжеские молитвы, страхом. И после победы немцев, которой Бретейль ждал, как своей победы, он дозревает: превращается просто в лакея немецких оккупационных властей.

Если там, где изображена история народного движения, Эренбург показывает, как могла быть и как будет спасена Франция, то в своей разоблачительной части книга как бы отвечает на вопрос: почему предателям Франции удалось сделать свое черное дело.

Заговор против французского народа, продиктованный бретейлевскими страхами перед народом, не мог осуществляться открыто. Отсюда целая серия маскировок, инсценировок, примером которых может служить

еще процесс Дрейфуса. (Золя, познакомившись с материалами процесса Дрейфуса, по собственному признанию, «задрожал» при мысли о том, какую существенную пользу эти материалы могут оказать Германии в тот момент, когда начнется франко-германская война.)

Из всех маскировочных методов самым верным было обращение реакции к тем, кто достаточно разложились, чтобы продаться со всеми потерями реакции, но еще сохранили в глазах многих французов благородную маску, репутацию «радикалов», «социалистов» и т. п.

В образе Тесса, в образе Виара Эренбург изумительно показывает двоедущнюю, фасадную сущность этих фигур.

Достаточно вспомнить хотя бы тот политический жаргон, к которому беспрестанно прибегают Тесса и Виар — каждый в своем стиле, один в «радикальном», другой — в «социалистическом». Обоим язык дан как бы для того, чтобы лгать наилучшими высокими благородными словами, украшенными у французского народа, у истории французского народа.

Тесса, уговаривая Фуже не разоблачать немецко-фашистского шпиона Гранделя, говорит ему: — Ты не сделаешь этого, ибо это может изрушить интересы национального единства.

Не будучи в силах скрыть от народа предательство военной верхушки и недостаток вооружений, Тесса пытается в гнусной речи утешить французов тем, что они, французы, мол, сумеют доказать преимущества христианского гуманизма над машинной цивилизацией.

Виар, который любит называть себя сторонником «новых методов», объявляет гитлеризм «социальным новаторством», а свой переход в лагерь гитлеровцев оправдывает тем, что он всегда был на стороне «молодых движений».

Так раскрывается чрезвычайно разветвленный мир фальши — от аристократических дам, которые, символизируя жертвы, приносимые родине, устраивают журфикссы, где уточченные яства подаются на оловянных солдатских тарелках до лживых речей Тесса, до чудовищного предательства Виара. Только что пообещав Пьеру разрешить отправку

самолетов для испанского правительства, Виар звонит по телефону в полицию, предупреждая, чтобы самолеты не были переданы Пьеру. Все свои гнуснейшие поступки Виар поливает фальшивыми розово-сладкими словами из «социалистического» журнала. Он лжет не только перед другими. Он продолжает лгать самому себе, оставшись один, потому что трусив и пробует этой ложью, самобраном отогнать от себя призрак будущего справедливого возмездия народа.

Он пробует то принимать позу борца «против войны», за «мирный прогресс», то совсем уходить от действительности, в «мирную» природу и в искусство.

Но никому не дано уйти от самого себя: связи Виара с искусством, его уходы в искусство — обман, так же как обманом и фальшью является его связь с революционной действительностью, с Францией и т. д. Напротив, связи Виара с фальшивым миром реальны и неопровергаемы. С искусством он лишь «отдыхает», так же, как Тесса отдыхает с маленькой Полетт в ее будуаре. Андрэ изгоняет из своей мастерской Виара, не позволяя грязным рукам предателя прикасаться к его, Андрэ, картинам. Это подлинное восстание художника против мира лжи, против врагов родины, и восстание плодотворное.

Миру лицемерия и лжи в книге Эренбурга о Франции противопоставлен другой, высокий и правдивый мир — мир народа.

Поэт Люсьен хочет сочетать свои эстетско-бунтарские искания с революцией. В стихах молодого рабочего и поэта Клода, восторженного читателя Флобера и Шолохова, просто и естественно перекликаются голоса парижских блузников, отстаивающих свои права на труд и хлеб, и голоса леса, шум деревьев, свист корабельных снастей, любовная песня.

Распадается семья господина Тесса. Тесса ненавидят и презирают сын и дочь. И вырастает, крепнет семья старой поденщицы Клеманс. Правда, сын Клеманс, юный Жанно, гибнет от пули фашистских убийц. Но с той минуты, когда, смеяния Жанно, на трибуну заводских собраний выходит его мать Клеманс, вокруг нее собираются: Мишо, Дениз, Клод — новые братья и сестры

Жанно. Ими жив Париж. И этот Париж действительно остается Парижем в дни борьбы и побед 1936 года и в трагическое лето 1940 года, когда Клеманс прячет у себя Дениз и Мишо от немецких фашистов и шпионов Гранделя.

Мишо — сын шляпщика, потом рабочий кожевенного завода, потом механик завода «Сэн», коммунист, боевик интербригады, солдат второй мировой войны; в нем Эренбург дает образ новых людей Франции, борцов за ее будущее. «Революция — это архитектура», — говорит Мишо.

Он строит новый мир и сражается за него с вдохновением художника. Он — мастер борьбы, мастер организации, мастер настоящей жизни, наполненной трудом, сражениями, любовью. В самые трудные для рабочего движения, для Франции, для него самого дни Мишо упрямко и весело повторяет свою любимую поговорку: «Мы победим. И еще как!»

Тесса, Бретейль, Виар предают Париж. Тысячи людей покидают столицу Франции. Многие из тех, кто остался, бродят растерянные по улицам любимого города, стараясь не видеть гнусного лица «победителей». «Бросили Париж», — жалуется Аньес. И Андрэ Париж кажется пустым. Но Париж не пуст и не брошен. Мишо это знает. Он, Мишо, возвращается в Париж, сильный, бодрый, готовый поддержать измученных товарищей. И борьба продолжается. В маленькой лудильной мастерской Дениз и Клод печатают листовки. Дениз раньше никогда не приходилось писать воззвания.

«Дениз искала слова, чувствовала — они рядом, и не могла их найти. Снова встала фраза, которую она повторяла на бульварах: «И это Париж?» — и слова неслись, обгоняя одно другое. «Кольбель революции... Город Коммуны... Сердце Франции...»

Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят всеми, брошенные. Голоса пленных — они на дорогах бьют камень, над ними издаются пытлеровцы. Голоса беженцев — длинные, страшные дороги, а люди бродят, бродят... Говорил французский народ».

Голосом Жаннет стонала обманутая, испепеленная Франция: «Обманутой дано мне умереть!» Голосом Дениз говорит французский народ, неумирающий, готовый к борьбе.

сквозь все бедствия идущий к победе.

Эренбург показывает, как народ, поднявшийся в 1936 году, ныне, в трагические для Франции дни, ищет и находит новые, еще более широкие пути. Они очень нелегки, но они проходят везде, по всей французской земле — в подпольи, в маленьких лудильных мастерских, где печатаются листовки, возле откосов, откуда французские патриоты сбрасывают немецкие составы, на заводах, где рабочие срывают сборку машин, нужных гитлеровским бандитам для уничтожения детей и женщин, — всюду, где есть истинные французы. — у Мишо, у Дениз, у Клода находятся дружья. Солдата французской армии, коммуниста Мишо прячет у себя жена директора католического патронажа. Молодых французских патриотов, идущих в армию свободной Франции, спасает от гестаповцев жена революционера, Аньес.

Достаточно сказать о себе: я рабочий, француз — как говорит Клод, — чтобы тебе открылись двери и протянулась братская рука французского патриота. «Если бы Морис был здесь, не видать бы немцам Парижа» — эти слова слышал не только один из героев Эренбурга. Они доходили до всех, кто умел слышать голоса подлинной Франции летом 1940 года.

Так раскрывается глубокая патриотическая сущность народного движения, героизм его лучших людей, как Морис Торез или Габриэль Пэри, недавно расстрелянны гитлеровцами в Париже. Его расстреляли те самые люди, которые несколько лет тому назад сладострастно попили: «Распался народный Фронт», а летом 1940 года облегченно вздыхали на террасах кафе в Виши — «распалась Франция». С этими людьми еще предстоит расправиться французскому народу.

В книге Эренбурга о Франции, среди образов высокого и правдивого мира, естественно возникает вдохновляющий и героический образ Советского Союза.

Для всех подлинных патриотов Франции, для всех свободолюбивых французов, СССР — верный друг и подлинный союзник.

Фашист Бретейль ненавидит Советский Союз и радуется победам гитлеровской Германии, как своим побе-

дам. Механик Мишо, французский патриот, верный сын народа, гордится, как своей победой, триумфом советских музыкантов в Брюсселе.

Французские солдаты восстают в Гавре, не желая итти воевать с Советским Союзом. Так они выполняют долг солидарности, связывающий все народы мира с страной социализма, так они выполняют свой патриотический долг на страже влагам Франции — Бретейлю и Тесса.

Бретейль и Тесса, пытающиеся втянуть французский народ в войну против страны Советов, ненавидят французского патриота генерала де Бисса за то, что он требует, чтобы французы знали о военной мощи Советского Союза.

Так, крепнувший в борьбе с общим врагом единый фронт свободолюбивых французов естественно тяготеет к дружбе с великой Советской страной. Разве не Красная Армия развеяла в прах миф о непобедимости злейшего врага Франции — разбийничего немецко-фашистского империализма?

Годами Бретейль и Тесса запугивали свой народ силой германского фашизма, в то же время не позволяя французам сплачиваться и подготовляться к войне с агрессорами. Но французский народ не потерял веры в себя и в своих друзей и в самые тяжелые дни. «Гитлер начал — Сталин кончит», — пишет Клод на стенах плененного Парижа, призывая французов продолжать борьбу за освобождение французской земли от немецко-фашистских порабощителей.

Мишо гордился победами советского музыкального искусства, как своими. Можно быть уверенным, что тысячи свободолюбивых французов, прочтя книгу Эренбурга — а они ее прочтут! — признают победу советского художника слова своей победой.

Ибо книга Эренбурга — не только вклад советской литературы в борьбу нашего отечества с немецкими захватчиками, но и вклад в борьбу всех свободолюбивых народов с общим врагом — гитлеровским варварством.

Награждение этой книги Сталинской премией — признание заслуг советского писателя перед народом — является вместе с тем и свидетельством дружбы советского народа к народам Франции.

В. Кирпотин

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА БОРИСА ГОРБАТОВА

Борис Горбатов. «Родина» (письмо товарищу), 16 стр. Его же. «О жизни и смерти» (второе письмо товарищу), 16 стр. и «О воинской чести, о воинской славе», 30 стр.

Газета «Во славу родины» издала трёх маленькими книжками фронтовые статьи и очерки Бориса Горбатова. Их заглавия — «Родина», «О жизни и смерти», «О воинской чести, о воинской славе». Две первые (переподанные одной брошюрой «Советским писателем») имеют подзаголовок «Письма к товарищу». И в самом деле, статьи и очерки Бориса Горбатова очень своеобразны по форме. Они говорят о самых больших и важных вещах, какие только существуют на свете, и в то же время они интимны. Они обращены ко всем и в то же время именно к этому читателю, который сейчас вот их держит в руках. Они посвящены эпическим по своему характеру темам войны и в то же время они лиричны. Всем тоном, всем строем своих статей автор рассказывает и о себе, о своих переживаниях, о том, чем полно его сердце в дни великой отечественной войны. Некоторые, лучшие, из его писем, по чистоте и правильности языка, по отсутствию «пустых мест» могут быть отнесены к редкому и трудному жанру «стихотворений в прозе».

В коротких строках Борис Горбатов упоминает о родине — о родине-отчизне, месте, где человек родился и провел свое детство, о родине-отчестве, стране и людях, с которыми человека объединяет общая историческая судьба и лютый лаш социалистический строй, — о пейза-

же и о детях, о смерти и о жизни, о позоре и славе, о предательстве знамени и ненависти к врагу, о счастье, о мужестве, о победе, которое вызывается на кровавых полях войны. В недолгий час типины перед боем, прикрывая фонарик полою мокрой шинели, автор пишет товарищу: «И так же как я, миллионы бойцов, от Северного Ледовитого океана до Черного моря лежали в эту ночь на осенней, жухлым листом покрытой, земле, ждали расстава и боя и думали о жизни и смерти, о своей судьбе».

Советский человек ценит жизнь и любит жизнь. Страх перед жизнью, ужас перед погибелью и неверным будущим характерен для наших врагов, для фашистов. Эти эмблемы — череп со скрещенными костями, эти названия дивизий — «мертвая голова» и т. п., это сознание, что свою волю они могут наложить только террором, пытками, трупами, продиктованы не только желанием запугать, но и страхом. Вся, с позволения сказать, «философия» фашизма основана на страхе. Страхом продиктовано фашистское отвращение к разуму, к науке и стремление воскресить «миф», как основную форму человеческого мышления. Как все лжеевидетели, как все калифы на час, чувствующие, что почва зыблется у них под ногами, гитлеровская знать любит обращаться к знахарям, к оккультистам, чтобы хоть таким путем предугнать свою

неизбежную судьбу. Страхом, наконец, подсказали перевод капиталов в банки нейтральных стран, охотно практикуемый заправилами теплорешшей Германии. Шпонглер, чьи концепции родственны фашизму и чьи книги одно время весьма популяризировались фашистами, говорит о боязни мира, о вечном страхе, как единственном стимуле деятельности «современного» человека, как о чувстве, которое никогда не оставляет человека высшего порядка (раса господ!). Недаром и Шпентлер, и Гитлер, и Геббельс любят поговорить о варварстве, о конце культуры, о закате Европы, то есть о гибели и смерти, как неизбежном конце.

Борис Горбатов в своих маленьких произведениях, написанных во фронтовой обстановке, призывающих жизни своей не щадить для защиты родины, сумел выразить любовь советского человека к земной действительности, его веру в людей, оптимистическое его мироотношение.

«Товарищ!

Очень хочется жить.

Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой».

Однако истинная любовь к жизни — разборчивая, гордая любовь. Советский человек любит жизнь полную, свободную, творческую, но не жизнь во что бы то ни стало, не жизнь-прозябанье, не жизнь пресмыкающегося, подневольного существа.

«Но не всякой жизнью хочу я жить, — пишет автор товарищу. — Не на всякую жизнь я согласен...

Товарищ! Пять часов остается до рассвета. Не за тот серенький холм, что впереди, я буду драться с немцем. Из-за большего идет драка. Решается: кто будет хозяином моей судьбы, я или немец».

Один из петропавловской клики, пропавшей былую славу французов, выразился так: «Лучше жить на коленях, чем умереть стоя». Это — лозунг изменника и раба, лозунг, превративший прекрасную Францию в одно из отделений немецкого застенка. Раб идет на все, — Петроны, принесшие своей стране унижение, щищуту и ярмо, не сумели — и не сумеют — отградить хотя бы физическое существование своих соотечественников. Тысячами тибнут фран-

цузы в рабском труде на немецких военных заводах, тысячами гибнут от голода, от расстрелов и вытока немецких гестаповцев. Кто это защищается, даже тот, кто держится пассивно, не использует каждой возможности для активной борьбы, кто не нападает, кто дает врагу передышку и условия для роста его сил, — тот готовит себе бесславную часть. Советский народ не таков, Красная Армия не такова. Они полны решимости победить. Воля к победе не сгибается перед испытаниями. Она не страшится жертв во имя высокой цели.

Слава отцов вдохновляет сынов и передается последующим поколениям, как советская геройская традиция. Старшее поколение советских людей прошло через битвы, в которых вырос, окреп и сложился наш строй.

Борис Горбатов, обращаясь к товарищам сегодняшних битв, вспоминает романтические и правдивые легенды о подвигах гражданской войны. Советские дети с восторгом, затаив дыхание, слушали рассказы старших о великих днях семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого года. Сегодня пришел черед чистого советского поколения, выросшего в счастливых условиях, созданных доблестными отцами. «Отцы смотрят на нас с надеждой: ну-ка, дети, не опозорьте нас! Херсонские курганы зовут нас к славе. Матрос Железняк учит пробиваться штыком и гранатой сквозь вражий строй. Пули поют над нами, южный ветер клопает крыльями, бронепоезд вышел с запасным на боевой путь. И девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет...»

Пришло время новых сражений, рождающих новые песни и новые подвиги. Борис Горбатов сумел уловить и передать романтический ветер, веющий с полей битв современной отечественной войны.

К числу несомненных достоинств очерков Бориса Горбатова относятся выдвижение острых тем, которых избегают касаться многие писатели. Свойство это было отмечено внимательными читателями уже в рассказах Горбатова об Арктике. Теперь Горбатов пишет о расстреле дезертира Чувырина. Чувырин, как и всякий русский человек, не хотел

победы немцу. Но у него была «душа зайца и сердце хорька». Чувырин слишком берег свою шкуру. Он хотел, чтобы за его судьбу, за его счастье дрались и умирали другие. Он пишет о награжденном за героический подвиг лейтенанте, у которого от славы закружилась голова и который опозорил себя в новом бою. Но и эти рассказы о трудном, о позорном выливаются в боевой призыв. Показ отрицательных моментов играет также воспитательную роль, как и показ положительных действий, зовущих к подражанию. «Никто за тебя драться не станет,— обращается автор к дезертиру,— здесь каждый дерется за себя и за свою родину... Не отдерешь, смышишь, не отдерешь нас от родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. Ее судьба — наша судьба. Ее гибель — наша гибель. Ее победа — наша победа».

И с каким же торжеством рассказывает Горбатов о капитане Лаврентьеве, человеке, осужденном за воинское преступление, но героическим поведением в бою вернувшем себе воинскую честь. Тот же трибунал, в селе, наполовину еще занятом немцами, восстановил Лаврентьеву доброе имя: Теперь он скорее умрет, чем уронит свою воинскую честь.

Горбатов верит в человека, в его достоинство, в его способность развиваться, в его мужество и отвагу. Каждый обыкновенный человек может и должен стать героем, если родина позовет его.

В третьем — новогоднем — письме к товарищу Горбатов отметил очень важную черту в нашей армии — перемену настроения, вызванную переходом в наступление. Часть, оставившая село, через два месяца снова вернулась в него. Дед Опанас не узнал красноармейцев. «Та что же с вами сталося, хлопцы? — недоумменно спрашивал он, — як отступали, так шли согнутые, сумные, и смотреть на вас тяжко было. А теперь пришли, ну, орлы, чисто орлы. И глаза у вас веселые, и голова гордая, и страху в вас никакого нет. Те вы чи не те?»

«И те, дед, и уже не те... — отвечают ему. — Мы узнали вкус и запах победы. Она пахнет гарью и кровью и дается недаром, но сладче ее — ничего нет...»

В беглых и торопливых строках «третьего письма к товарищу» Горбатов описывает важный, переломный рубеж в ходе войны. Художники, писавшие на военные темы, знают: в развитии военных действий, в истории войн приходят дни, в которые для всех чутких людей становится ясным, на чью сторону склонилась на весах чаша победы. Фурманов в «Чапаеве» в следующих верных и многозначительных словах рисует момент перелома в борьбе Красной Армии с Колчаком: «Отдавши Бугуруслан, неприятель все еще не хотел поверить, что вместе с этим городом он потерял и свою инициативу, что конец пришел его победоносному шествию, что теперь его будут гнать, а он — обороняться, отступать».

Момент перехода инициативы с одной стороны на другую всегда очень знаменателен и ярок — не заметит его только слепой. Одна сторона вдруг потускнеет, опустится и обмякнет, в то время как другая словно нальется живительной таинственной влагой, подымется на-дыбы, ощетинится, засверкает, станет грозна и прекрасна в своем неожиданном величии. Приходит такой момент, когда в тускнеющей армии что-то настолько расслабнет, настолько выхворается, станет, бескровным и вялым, что ей остается один конец — умереть. Внутренний долгий изнурительный процесс выходит наружу и заканчивается смертью... А Красная Армия, такая упругая и скатая, так заметно обновленная ключевыми струями фабрик и заводов, профессиональных союзов, партийных ячеек, — она была в те дни подобна проснувшемуся светлому богатырю, который все возьмет, всех победит, перед которым сгинет черная сила».

Подобный же момент наступил в боевом столкновении между гитлеровскими ордами и Красной Армией. Потускнела самоуверенность германской военщины, враг, хваставший мнимой непобедимостью, стравившийся уверить себя и других, что он не знает поражений, вынужден отступать на запад, а налившаяся силой Красная Армия твердо, уверенно и методически изо дня в день очищает родную землю от

коричневой нечисти. Этот момент, хотя и неполно еще, отразил в своих письмах Б. Горбатов.

Книжечки Б. Горбатова — это одни из лучших книг, которые написаны в дни войны. Не все в них равнозначно. Наряду с совершенными есть письма и очерки, написанные торопливо, незаконченно. Бойкая газета

не ждет, время не ждет — читателю на фронте и в тылу нужно призывающее писательское слово. И, тем не менее, то, что уже сейчас написал Б. Горбатов, — начало вдумчивой, искренней и отмеченной печатью оригинальности книги об отечественной войне.

М. Ап летин

МРАКОБЕСИЕ В ФАШИСТСКОЙ ПРЕССЕ

Содержание журнала «Ди Вельтлитератур» с первого же взгляда не может не поразить совершенно не искушенного в этом смысле советского читателя обилием материала, имеющего более или менее непосредственное отношение к вопросу о так называемом «потустороннем» мире и о «сверхчувственных» явлениях.

Только в одном восьмом-девятом номере этого журнала помещено четырнадцать рецензий на книги о сущности и развитии антропософии, о теософском движении, о «возродившейся метафизике», о гаданиях по звездам, о суевериях и тому подобных, не менее «важных» предметах и теориях.

Чрезвычайное внимание, которое уделил литературно-критический журнал этим отнюдь не литературным темам, объясняется, повидимому, тем широким тяготением различных слоев германского общества к оккультизму, кабалистике, магии, хиромантии, которое всегда служит признаком морального упадка и симптомом общественной деградации.

Германия уже пережила волну подобных настроений после поражения в первой мировой войне. Знаменательно, что рецидив их обозначился осенью 1941 года, наперекор победоносному и бодрому тону официальной печати, заметно усилившийся зимой, в связи с поражением немецких войск на Восточном фронте.

Справедливость требует признать, что авторы статей отнюдь не на

стороне носителей мистических теорий и учений. Наоборот, статьи «Ди Вельтлитератур» усиленно призывают немецких читателей не поддаваться разлагающему и губительному влиянию этих учений. Так, некто Альткемпер в своей статье «О востоке и западе под звездным небом» борется против увлечения астрологией, появившемуся, широко распространившемуся среди немцев, в частности среди солдат и младших командиров. Автор, впрочем, успокаивает арийских читателей тем, что «ни одному лицу германской крови не пришло в голову считать звезды богами и предсказателями судеб».

Плохи, очевидно, дела фашистов, если теоретикам фашизма приходится, выполняя приказ начальства, писать: «Мы не можем допустить, чтобы наши партийные товарищи (Volksgenosse), с которыми мы серьезно хотим работать над строительством нашего государства, заглядывали в астрологический календарь или гороскоп, прежде чем решить, могут ли они в этот час приступить к той или иной работе».

Замечательно, что борьба с предсказаниями о ходе военных действий не мешает некоторым представителям германского командования, как, например, командующему 11-й армии генералу Фонманштейну, прибегать как к «испытанному средству успокоения» — к тому же самому предсказанию.

В одном из своих притязов вышеупомянутый напуганный гитлеровец прямо требует от прорицателей

«предсказания победного окончания войны» (Приказ «секретно», часть I, 2603/21). Несомненна тесная связь между подобным пристрастием фашистских чиновников и генералов к гороскопу и кофейной гуще со все более частой сдачей в плен их солдат и младших командиров, понявших ложь фашистской пропаганды.

Другой фашистский критик, Штольтинг, в статье, посвященной народным верованиям и суевериям, предостерегает читателя от «заряжения страхом перед грехом и смертью», рекомендуя при помощи «народной традиции» бороться не только с суевериями, но и с «укорами совести», — совет в устах фашиста весьма знаменательный.

Более узкую задачу ставит в своей статье «Суеверие и медицина» Ганцер, предостерегая читателя «против астрологических диагнозов болезни и (вытекающих из них) — M. A.) методов их лечения».

Отрицательное отношение фашистского литературного журнала к средневековым по своей сущности и происхождению теориям может показаться неожиданным. В самом деле, стоит только вспомнить, сколько средневековых элементов в самой фашистской пропаганде с ее расовой теорией, походом против культуры и просвещения, шовинистическими лозунгами. И однако выступление фашистских теоретиков против оккультистских и тому подобных суеверий вполне закономерно. Объясняется оно, несомненно, тем, что в форме различных мистических воззрений находят себе известный выход некоторые оппозиционные гитлеризму настроения. Эти настроения наблюдаются даже среди лиц, близких к правящей партии, не говоря уже о тех, кто всегда относился к ней критически. Многие явления, порожденные фашизмом, в результате диалектического развития оказались в конце концов обраченными против его догмы и практики. Очень показательна в этом смысле помещенная в журнале статья Хорстнейтара об антропосо-фах. Особенno резко этот фашистский критик обрушивается на автора антропософского педагогического метода Рудольфа Штейнера, осмыслившегося, хотя и под религиозным

флагом, проповедывать в гитлеровской Германии «свободное развитие человеческой личности», столь противоположное той муштре и стремлению выработать людей-автоматов, которые ставит своей задачей фашистская школа.

Беспокоит фашистский журнал и так называемое «здоровое течение народных орденов». Представители этого течения, по словам автора статьи, не только осмелились дополнить расовую теорию фашизма идеей о создании новой расы из германских и славянских элементов, но и были заподозрены в попытках сближения одновременно с фашистами и коммунистами. Даже наиболее близкие сегодняшним хозяевам Германии так называемые «ариософы» (т. е. арийские мудрецы) сумели вызвать неудовольствие своих покровителей. Еще бы, — ариософы дерзнули противопоставить свою философию, как духовный фактор, фашистской материальной силе и власти, отведя Гитлеру скромную роль только организатора этой материальной силы.

Наряду с неожиданными изгибами учения ариософов гитлеровцев пугает также и нарастание христианского сектантства с его попытками разложить изнутри фашистскую ортодоксию внедрением понятия милосердия. Фашистские идеологи больше всего боятся человеческих чувств в солдате. Любопытно, что автор статьи о сектантах, Шнейдер, в противоположность Альткемперу¹, с горечью отмечает, что «имеются вполне порядочные немцы, которые впадают в подобное сектантство» («Ди Вельтилитератур», № 10 за 1941 г., статья Шнейдера).

Беспокоит фашистов и так называемое «затемненное историческое сознание народа». Автор статьи на эту тему, Рихард Ганцер, с горечью жалуется на то, что «историческое сознание народа... не охватывает ни широты наших достижений, ни особенности нашей государственной системы». Это страшит, повидимому,

¹ Автор статьи об астрологии, считавший, что увлекаться астрологией и другими ересями свойственно только людям не чисто германского происхождения.

Рихарда Ганцера. Сегодня те признают достижений, завтра возьмут за шнурок гордящихся ими властителей.

Жалоба Ганцера на то, что «в сознании отдельных германских поколений недостаточно крепко живет идея наследственной преемственности», не что иное, как горькое признание в том, что некоторыми кругами в Германии считают фашистскую политику оторванной от исторического прошлого германского народа, а гитлеризм — болезненным наростом на его теле, который можно и должно с корнем вырезать.

Разумеется, было бы наивно искать в фашистском журнале серьезную критику сектантских и мистических учений, которые мы перечислили. Дать такую критику, оставаясь на почве расовой теории и средневекового похода против лучших достижений культуры, невозможно. Различию между оппонентами и представителями этих учений слишком незначительно для того, чтобы от первых можно было ждать действительно серьезной критической аргументации. Очень сильно сказалось это на, в своем роде, классической статье Бернгарда Хермана «Чудесные жеизлы и волшебные маятники». Аргументация автора статьи поистине смехотворна. «...Если бы фантастические рассказы этих людей (т. е. верующих в жеизлы и маятники) были хотя бы частично правильны, то как раз в годы четырехлетнего плана и трехлетней войны эти чудотворцы с жеизлом и маятником имели бы возможность изыскать в момент решительной для Германии борьбы столь необходимые ей металлы, уголь, жидкое топливо и т. д.».

Херман признается: «Несмотря на все наши старания (!), мы ничего подобного не слышали». Автор, говоря о проповедниках чудесных свойств жеизлов и маятников, допускает следующие возможности: «или они в действительности ничего не могут найти, тогда они если же

сумасшедшими, то наглою мошенники и обманщики; или они могли бы найти естественные богатства, но сознательно этого не делали, тогда они просто государственные и изменники».

Похоже, что автор в принципе не против жеизлов и маятников и негодует просто на то, что они не хотят помогать фашистам.

Несомненно, что мракобесие, захватившее широкие круги Германии, отражает растиющую политическую растерянность,— сознание безнадежности положения и неверие в благополучное окончание войны.

Растет нежелание понимать «величие» гитлеровской Германии даже среди присяжных поэтов «Третьей империи». В том же «Ды Вельтилитатур» приходится печатать статью о «созвучном и несозвучном эпохе в немецкой поэзии наших дней», о поэтах, «не откликнувшихся на «духовную мобилизацию», о «несовпадении жизни и творчества». Снова и слова приходится «фюрем» от литературы призывать к порядку писателей, забывающих, что они живут в «рейхе Гитлера», и укрывающихся в воспоминания детства, в воспоминания о далеком прошлом. Число сомневающихся, неудовлетворенных и «ненуждающих понимать» неуклонно растет. Гестапо оказывается недостаточной силой для того, чтобы справиться с этим «злом», принявшим массовый характер.

Неудовлетворенность, скрывающаяся за распространением оккультных учений, выражается, однако, не только в форме роста средневекового мракобесия. Она питает и другие настроения в здоровых и стремящихся освободиться от фашистского дурмана слоях германского общества.

Человечество вправе ждать и требовать от германского народа решительной борьбы против гитлеровского режима за полное уничтожение фашистской тирании.

Вл. Лидин. «Зима 1941 года». Изд. «Советский писатель», Москва, 1942 г.

Мы читаем в новой книге очерков Вл. Лидина «Зима 1941 года»: «...Может быть, самый циклопический памятник создан нашим народом именно в этот год небывалой по размерам и по разрушениям войны. Это величайший памятник народного духа». В этих словах — ключ к пониманию основного замысла автора. Задача писателя — показать мужество русского народа, готового к самым суровым испытаниям во имя возвышенной и благородной цели войны.

Вл. Лидин владеет разносторонними и гибкими приемами опыта много рассказчика, умеющего заинтересовать читателя, остановить его внимание на каком-нибудь эпизоде, который необходимо выделить и который без этого едва заметного и тонко поданного акцента прошел бы незамеченным. Вл. Лидин умеет оттенить деталь, отобрать из потока живой действительности наиболее характерные ее черты, сопоставить факты, столкнуть контрасты, что называется, «в лоб». Так, например, в очерке «Москва в ноябре 1941 года» мы встречаем следующее замечание: «Города, переживавшие трехвогу войны, могли бы поучиться у Москвы ее спокойствию и уверенности. История великого исхода Парижа — печальная история. Москва готова к борьбе, и отсюда уверенность людей в этом городе». Свойственное писателю искусство художественной подачи фактов в ряде очерков, посвященных Москве, Украине, осажденной Туле, разгрому фашистско-немецких полчищ под Москвой, заставляет признать их несомненно заслуживающими внимания. Мы видим прифронтовую Москву, Тулу — город оружейников, где даже названия улиц — Дульная, Ствольная, Ложевая — говорят об искусстве потомственных почетных мастеров оружейного дела, потомки которых — скованный рабочий батальон — вышли на подступы к городу и на себя приняли удар врага, отражая его атаки, уничтожая его танки, его живую силу. Мы видим украинские села, где флаг рассчитывал встретить покорность и подчинение, а

встретил мщение и ненависть. Ряд деталей в этих очерках свидетельствует о том, что автор хорошо знает свой материал и с любовью его воспроизводит. Так, в очерке об осажденной Туле Вл. Лидин показывает пустые цехи эвакуированных тульских заводов: «Заботливые руки слесарей, инструментальщиков, токарей подобрали каждую мелочь в своем хозяйстве». Мимолетно брошенное замечание заставляет читателя рельефно представить себе облик осажденного города: сквозь узкие лазейки баррикад «привычно, как в знакомые калитки», проходили прохожие. Такие детали, как обмороженные руки немецкого солдата, погванный побабы платок, наглая и вместе с тем робкая улыбка, помогают читателю уловить новые черты в облике врага — черты распада.

Очерковой манере Вл. Лидина присуще умение тщательно продумать, как бы отфильтровать материал. Например, в очерке, посвященном ноябрьской Москве, в эпизоде взрыва днепровской плотины, побочко вплетенном в ткань повествования, художественный показ подводит к точному и продуманному выводу, развернутому в целом ряде очерков. Этот эпизод завершается репликой: «Ничего, товарищи. Построим новую. Лучше, скопее построим. Главное — уверенность, вот с чем можно строить самые замечательные здания, самые гигантские плотины». Эти как будто мимоходом брошенные слова не случайны, они получают дальнейшее развитие. Мотив этот повторяется, например, в образах прифронтовой Москвы, где мы снова встречаем эту замечательную черту спокойной уверенности советских людей. Еще пример: автор высказывает замечание, что русский народ двадцать четыре года создавал ценности своей материальной культуры, показывал миру образцы трудовой доблести, но пришла война, и «народ мирного труда выступил на поле истории как народ воин». Эта мотивировка опять развернута в ряде очерков.

Такое умение продумать и отцедить материал, вобравший в себя то, что когда-то, давно или недавно, было пережито автором, особенно заметно в очерках, показывающих лицо врага («Путь на запад», «Вечерняя афиша», «Саранча», «Ненависть», «Страница истории»). Вл. Лидин нашел точные и гневные слова для того, чтобы заклеймить немецко-фашистских оккупантов. Это люди, у которых отсутствуют элементарные понятия морального порядка, одержимые бредовой идеею уничтожения современной цивилизации и превращения жителей побежденных стран в рабов гитлеровской Германии. Лидин пишет: «Домик Гете в Веймаре им так же чужд и враждебен, как Ясная Поляна Толстого. Они родились сегодня из сукровицы прошлой мировой войны, из лжи и подлости, возведенных в степень морали». Автор показывает бессмыслицу и планомерную жестокость немецких оккупантов. Жестокость эта, конечно, не случайна. Она является частью бредовой и чудовищной программы, которую еще до нападения на Советский Союз четко сформулировал Рихард Дарре, один из личных друзей Гитлера: «Миллионы человеческих существ, со временем пещерного человека, создавали города из камня и стали. Германия превратит их в груды щебня». Этому разнужданному инстинкту разрушения Красная Армия противопоставила свою силу. Теперь она гонит на запад гитлеровскую разболтанную и ржавую машину войны. Враг просчитался. Он думал, что «там, где кончается Украина, начинаются москали, а где кончается москаль — там татарин, а за татарином узбек или таджик, сколько названий, столько и стран». Он думал, что каждую из этих стран можно разбить в одиночку, что, стоит только нанести удар, и содружество народов распадется. Жизнь опрокинула эти лживые расчеты. Вл. Лидин с любовью говорит о Советском Союзе, метафорически называя его «нашим домом», о том, что мы строили его «все сообща, всем народом — узбеки, казахи, татары, таджики, белоруссы, азербайджанцы, ненавистные врагу русские. Все в этом доме принадлежит каждому из нас, и за каждую сожженную укра-

инскую деревню, за каждого убитого, изувеченного человека нашего, за весь грабеж, за всю подлость — за все мы отплатим врагу сообща, всем народом, как привыкли все делать сообща: строить общий дом, жить в нем вместе, защищать его вместе и накапливать общую непримиримую ненависть к каждому, кто посягнет на него». Очерк «Путь на запад» показывает гитлеровские дивизии, разгромленные на подступах к Москве. Вот оно «вшивое воинство» в подбитых ветром шинелишках, с распухшими, обмороженными лицами. Им казалось, что осталось только развесить дорожные знаки, с немецкой аккуратностью расклейт объявления немецкого командования, расставить бензиновые колонки — и путь на Москву открыт. Сни уже хвастались в этих своих объявлениях: «Прошли дни жестоких боев... наступает время безопасности и порядка». Писатели, с насмешкой комментируют это хвастливое воззвание, «перед которым литература черносотенного Союза Михаила Архангела кажется свангельским текстом»; насчет того, что прошли дни жестоких боев, конечно, сказано было немного преждевременно; именно в результате жестоких боев немцы были выбиты из города. Что касается «времени безопасности и порядка», то жители города и с этим хорошо познакомились в лагере, где были восстановлены методы жесточайшего рабства. «Заняв город, наши бойцы выволокли из подвалов забившихся туда «завоевателей Европы». И вот они стоят, закутанные в платки, переминаясь с ноги на ногу. «Стрелка, указывающая дорогу на Москву, чернеет возле шоссе, по которому на запад движутся наши войска, грузовики, артиллерия».

Очерки Вл. Лидина «Зима 1941 года» — в целом вдумчивая книга. Материал, которым пользуется автор, сам по себе замечателен; в нем заложена мощная впечатляющая сила, он близок читателю. Однако в книге чувствуется, наряду с привкусом сентиментальности, холодок рассудочности, некоторая отвяленность. Созерцательная интонация, усиленный лирический плахим, в конце концов начинаящий подменять четкость и зынкость худо-

жественного изображения, приводят к тому, что контакт между читателем и писателем оказывается ослабленным. Само богатство, сама свежесть материала помогают автору овладеть вниманием читателя. Но читатель ждет от автора показа конкретных людей, тех людей, которые отстояли Москву от озварелых атак врага с воздуха и с земли, которые отдают жизнь за свободу родины. В книге Вл. Лидина люди изображены слишком общо, как носители отвлеченной идеи. Они лишены волнующего трепета подлинной живой жизни. Мимоходом упомянута «веселоглазая Таня» из украинского села Мегея, или герой-слесарь Сашка из тульского сводного рабочего полка, или гордая колхозница, которая может быть, досыта накормила постоянцев-немцев ядовитыми грибами. Писатель только указал на них и прошел мимо. Мы рельефно видим осажденную Тулу, но не видим людей, которые с оружием в руках осаждают свой родной город от озварелого натиска врага. Эти люди остаются где-то в отдалении, даже не на втором плане, а просто за кулисами, хотя имеется ремарка: «Героические имена людей из рабочего полка знает в городе каждый. «Это наш Сашка», — говорят про герой-слесаря заречанские жители в Туле. «Это наша Клава», — говорят про героиню-санитарку». Ремарка эта не помогает, конечно, читателю представить себе героических защитников Тулы.

Возможно, автор не ставил себе задачей раскрытие образа конкретных людей. Но несомненно, обрисовку людей нельзя исключить из очерка о мужестве народа, о его величии, его национальной гордости. Здесь снова приходится вернуться к уже приведенной цитате о нравственном превосходстве русского народа, о «самой чистой памятнике народного духа». Этот замысел воплощен в слишком общих, отвлеченных образах, пусть лирических подчас, но оставляющих читателя холодным. В «Зиме 1941 года» нет героя, нет подлинно героического характера, который хотелось бы разглядеть ближе, которому хотелось бы подражать, хотя много говорится о герое вообще. Автор чувствует это, когда говорит: «Как некогда Лев Толстой написал «Севастополь в августе 1855 года», так будет когда-нибудь написана книга «Москва в ноябре 1941 года».

Язык писателя изменился к лучшему: стал более точным и строгим, но Вл. Лидин еще не совсем избавился от некоторой красноты, патадности, налет которой чувствуется и в «Зиме 1941 года». Кое-где плавность повествования не вяжется с направленностью очерка, требующей более резких и горячих интонаций.

В целом очерки «Зима 1941 года», несмотря на ценность воспоминаний зари-совок, — это только подступы к большой и захватывающей теме.

Н. Лонс

Иван Аралилев. «Юность Матвея». Роман. Изд. «Советский писатель». Москва, 1941 г., стр. 249, ч. 6 р. 25 к.

Действие романа развертывается на Северном Урале, в глухой тайге. Мальчик вырос в семье деда-охотника, в лесной глупи, где целиком сохранились первобытные нравы. Уже это одно должно было придать роману известную свежесть и в то же время поставить перед автором трудную задачу: писать о могучей природе, о всех особенностях быта северо-русского населения нельзя понаслышке, нужно иметь собствен-

ный опыт. С первых же страниц романа ясно, что автор обнаруживает полное знакомство и с окружающей средой и с бытом своих героев. Мы не имеем возможности, конечно, судить, насколько его произведение автобиографично. Да это и не имеет особенного значения — налицо вполне достаточное знание той своеобразной жизни, ее нравов и обычаяев, которые он хотел изобразить. Хорошо задуманы и удалились образы деда и

отца героя. Дед — кряжистая и сильная фигура, сложившаяся по всем законам тайги, отец — тип русского бродяги-неудачника, нередко встречающегося и среди так называемого «простого народа».

В этих частях, особенно в изображении природы — самая сильная сторона книги Арамилева. Природу он знает и любит, исполнен внимания к ее своеобразной прелести, умеет точно и свежо взять необходимую ему деталь: «Косач теперь как на ладони. Его шея переливается радужно-белесоватым цветом. Черносиняя в белых краинках подхвостка качается перед моими глазами. Поязываются двою серо-рыжих, все в рябниках курочки. У них на крыльях попеченный белый поясок, хвост рыже-бурый, короткий, вилообразно раздвоенный, в черных поясках. Они охарашиваются, чистят клювиками перья». Эта пристальная наблюдательность придает роману ту выпуклую реалистичность, которая дается только настоящему художественному зрению, дается любовью к жизненному материалу, его специальному воплощению. Отсюда хорошо найденные эпитеты, кстати звучавшие слова: «звонкое небо», «косачи бормочут и гуфыкают» и т. п. Дед, выросший в глухой тайге, был руководителем мальчика на этом пути познания природы. То был «лесной человек» в подлинном смысле слова: «по тому, на какой высоте, с какой скоростью летит свиязь, плихвость, чернеть, кряковая утка предсказывать, когда выпадет первый снег, когда станет река». Все это сильные, самые сильные стороны романа Арамилева. Гораздо более сложно и во всяком случае спорно то, что он рассказал о жизненном пути своего героя, об его юности в собственном смысле слова, то есть о пути развития человека. Мы не хотим подозревать автора в нарочитом сочинительстве или излишних выдумках. Но тем не менее несомненно, что как только мальчик покидает тайгу, его жизнь начинает напоминать жизнь некоторых героев Максима Горького. Как только он попадает в город и поступает работнику к хозяину извозного промысла, мы сразу узнаем краски, черты, давно известные нам. Это тот же быт «Городка Окурова», «Дела Артамонова»

вых», с теми же социально-бытовыми, безысходными в нравственном смысле конфликтами. Автор любит доводить эти конфликты до некоторого драматического завершения, и об этом следует сказать особо. Матвей два раза становится нечаянным убийцей. Первый раз он на раскате выбросил из саней жену присяжного поверенного, разбив ее насмерть, другой раз ого нечаянно выстрелившая «фузея» отправила на тот свет старость, виновника неожиданного перелома в его судьбе. Именно второе убийство заставляет Матвея бежать в тайгу, скрываясь от преследования и наказания. В тайге с ним происходят чудесные события: в «ледяном ручье» он находит золото, чуть ли не целые груды золота. Затем случай сводит его с крупным сибирским золотопромышленником, само собой разумеется, квалифицированным мошенником. После разного рода перипетий, куда входит и предполагавшаяся женитьба на дочери золотопромышленника, герой в конце концов лишается своей доли в открытиях им приисках и даже должен бежать, так как его будущий тестя каким-то образом пронюхал об убийстве старости. Собственно источником этого столкновения была особая причина, делающая честь герою романа: он захотел передать свою долю рабочим приисков. Здесь окончательно заворачивается этот социальный конфликт со средой, который намечается с первых же страниц книги. Можно было уже заранее представить, что жизнь в лесу у деда не спасет Матвея от столкновений с русской действительностью, с урядниками, кулаками, жестокими законами и произволом властей. В чисто изобразительной части этой борьбы автор не внес нового в русскую обличительную литературу XIX века, изображавшую «жестокие нравы», всяческое облегчение мужика. Он движется в пределах вполне правдоподобных, но слишком хорошо знакомых нам отношений между различными сословиями и классами русского народа. Здесь мы можем упрекнуть автора только в известной близорукости, помешавшей ему разглядеть более глубоко источники этих социальных конфликтов и поэтому художественно выполнившего

его с недостаточной новизной. Но гораздо хуже, неудачно вышло изображение семьи золотопромышленника. Читая эти страницы, мы уже совсем не можем отделаться от впечатления чего-то чересчур знакомого нам в литературе. Здесь и продажные чиновники, надевающие Матвея, и все теневые стороны купеческого быта, который идет поверхности, по готовому шаблону. В этих частях роман Арамилева снижается до среднего уровня. Нельзя сказать, что они совсем плохи, но во всяком случае никак не могут быть сравнены с лучшей частью книги, сильной лирическим восприятием природы и умением ее изобразить. Ошибкой мы точно так же считаем нераспутанное дело с убийством старости. Матвей уж как-то очень легко прячет концы в воду, его так и не разыскивают, хотя найти его вовсе нетрудно. Несомненным диссонансом или, вернее, простой «отпиской» звучат последние страницы книги, где Матвей мечтает из глухой тайги перебраться на завод. Это совсем не вяжется

с подлинным «я» героя, совсем не нужно ему, потому что он влюблен в свою тайгу и как раз на месте в глухом лесу. Тем более, что гамсуновская девушка, которую он там встретил, вполне отвечает его настроениям.

Итак, роман Арамилева очень неровен. Наряду с подлинно прекрасными страницами встречаются либо надуманные в фабульном смысле положения, либо слишком хорошо знакомые по прошлой литературе описания.

Автор не сумел прислушаться к своему подлинному сюжету так, как бы это следовало. Но хорошие данные у него, несомненно, налицо. Крепкий и в достаточной степени своеобразный язык, не книжный, с богатым запасом бытующих и в то же время свежих эпитетов, умение наблюдать, любовь к реалистической детали — все это положительные данные, которые могут стать основой для дальнейшей, более зрелой и выдержанной работы.

М. Полякова

«В БОЯХ ЗА РОДИНУ»

Издание красноармейской газеты «Вперед за родину», стр. 62

«ГЕРОИ НАШЕЙ АРМИИ»

Сборник 1942 г., издание газеты «На разгром врага», стр. 48

Война, как и всякое большое историческое потрясение, неизбежно порождает своеобразный литературный жанр: свидетельские показания очевидцев и участников. Они могут быть очень разнообразны по характеру и качеству, начиная от эскизных и поверхностных набросков до произведений, которые по праву входят в фонд мировой литературы. Так когда-то вошла в него книга дотоле никому неведомого баталера Новикова, чье случайное пребывание на борту корабля «Орел» спасло и сохранило для многих поколений горький опыт и потрясающие картины Цусимского боя.

Справедливость требует признать, что рецензируемые сборники, составленные в основном из заметок, печатавшихся раньше в издававших их фронтовых газетах, ближе к первому полюсу, нежели ко второму.

Главное их достоинство, несомненно, заключается в том, что оба они созданы во фронтовой обстановке.

Значение этого обстоятельства для первого сборника несколько умаляется тем, что о подвигах и боевых эпизодах рассказывают здесь не сами участники, а профессиональные литературные работники армейской газеты и политические руководители соответствующих армейских подраз-

длений, написавшие, с их слов, свои заметки по большей части в связи с правительственные лаграждениями упомянутых в очерках командиров и красноармейцев.

Это объясняет нам однообразный характер заметок, написанных языком военных сводок и рапортов, изобилующих специальными военными терминами, и суховатую официальность их стиля, иногда докодящую до крайности. Так, политрук Лискович иначе и не величает главное действующее лицо своего очерка «Герой Советского Союза т. Родищев», как «герой»: «герой сказал», «герой приказал», «герой разрешил эвакуировать себя в госпиталь». Ценной стороной очерков является изображение производственной, технической стороны войны, деталей сражений, которые, по естественным причинам, трудно бывает найти в заметках корреспондентов, приезжающих на фронт только для сбора итоговых впечатлений. Здесь особенно сказывается то преимущество, которое дало авторам сборника систематическое, а не мимолетное пребывание на фронте.

Такие очерки, как «Командир минометной роты лейтенант Соболев», «Мужество летчика Хитрина», убеждают читателя в том, что на современной войне участие бойца решает не только его физическое мужество, но и техническая квалификация, изобретательность, умение работать, способность ко всевозможному ручному труду, быстрые темпы работы, то есть все то, что приходит ему на помощь и в обычной трудовой обстановке.

Значительно хуже обстоит дело в сборнике с изображением людей на войне, с раскрытием их чувств и переживаний, вызванных войной. В этом смысле читатель из рецензируемой книжки не получит почти ничего. Правда, авторы заметок говорят о «великой ярости», ненависти и других обуревающих их героев чувствах, но это выглядит только декларацией, и изображение войны в очерках напоминает немую картину, на которой персонажи жестикулируют и действуют, но не говорят и не переживают.

Бледность эмоциональной стороны делает очерки трудно воспринимаемыми, герой и авторы равно трудно

отличимы друг от друга, читателю нужно довольно сильно напрягать свое внимание, чтобы, вчитавшись в очерки, найти в них ту ценную познавательную сторону, о которой мы говорили раньше.

Несколько выделяется из общего уровня заметка политрука Чистова о полевом хирурге Александре Петровиче Головине и очерк «Повозочный» Рудзинского, где на двух страницах убедительно доказана несложная идея о необходимости и равнозначности на фронте представителей всех специальностей — от командира до кашевара.

Много очерков в сборнике посвящено летчикам, и здесь мы находим особенно много тех ценных военных деталей, о которых уже упоминали.

Трудно сказать, по каким причинам, но второй рецензируемый сборник, «Герои нашей армии», по своему типу значительно отличается от первого. Если в первом довольно сильно чувствуется его официальный и газетный характер, то второй свидетельствует о значительно более поэтическом и живом восприятии военной действительности. В этом отношении следует отметить произведения, написанные Ильей Финком, Виктором Торбеевым, Фабианом Гариним.

Многие боевые эпизоды в сборнике, судя по отдельным реалистическим деталям, написаны с натуры.

Большое количество, хотя и несовершенных по форме, но довольно звучных стихов во втором сборнике неслучайно; лирический элемент вообще является его существенной чертой; он ощущается и в рассказе Гарина, и в стихотворении Г. Попова «За край родной», и в задушевной «Песне о Стешко» Ильи Финка, где, в частности, автор уеляет внимание тем ощущениям и переживаниям бойца, какие почти не затрагивались в первом сборнике, и в «Трех минометчиках» — другом его стихотворении, где Илья Финк воспевает крепкое фронтовое товарищество: «Если люди в бою труждой связаны, так без промаха бьет миномет».

Стремление не только рассказать о подвиге, но и дать историю совершившего подвиг человека («Награда» Гарина), упоминания, хотя и беглые, о трагической стороне вой-

ны мы находим в маленьких рассказах Фабиана Гарина. Его героям не чуждо то чувство связи с прошлым и будущим, без которого нет ни личности, ни искусства. Характерны в этом смысле размышления санитарного инструктора в рассказе «Подвиг». «Страна получит сыновей, — думает герой этого рассказа, — и вспомнят эти люди меня, маленького человека, санитарного инструктора». «И, быть может, много лет спустя, в кругу своих детей, они будут рассказывать, как я тащил их с оружием в морозный день вот по этой земле».

Все это показывает, что авторы серьезно относятся к своему делу, стремятся выйти за пределы упрощенной трактовки военной темы, дать произведение художественное. В то же время нетрудно доказать, что они не обладают секретом подлинно художественного изображения действительности, что факты они описывают «так, как они есть», то есть, оставаясь на их поверхности, что они не используют всех тех возможностей, какие скрыты в избираемых ими драматических военных сюжетах, часто излагая события бегло и скомплектируя. Особенно грешат в этом отношении очерк Дмитрия Зуб «Возвращение», Дебрина «Поединок», отчасти «Зимняя ночь» Фабиана Гарина.

Слабой стороной обоих сборников является изображение армии врага, сводящееся обыкновенно к нескольким более или менее крепким выражениям.

Разумеется, дело здесь, но в отсутствии соответствующих впечатлений и даже не в отсутствии умения

рассказывать о ней, а в прямом отсутствии соответствующей умственной культуры, способной выразить в себе то, что есть в этом деле. Но даже при наличии такой же умственной культуры, какую мы имеем в литературных отечественных, но не в том глубоком знании и понимании событий, с которыми приходится сталкиваться, беседуя с фронтовиками, и тем, что они сообщают о войне, борясь за поро, еще очень велико, и в интересах нашей литературы и не только ее одной, чтобы это расстояние как можно больше сократилось.

Из всего того, что мы говорили, нетрудно сделать вывод, что, с точки зрения больших требований, которых мы обязаны предъявлять к советскому печатному слову, об сборниках, при всем различии их типа, являются только робкими шагами, только черновыми замотками на пути к тому настоящему, реально му, и глубокому рассказу о современной войне, которого ждет и, мы уверены, дождется советский читатель.

В то же время они нужны для нас при всех их недостатках, прежде всего как живое свидетельство том, что стремление сохранить людей и события в человеческой памяти, которое заставляло воспевать подвиги древних героев еще легендарного Баяна, разнообразные умственные интересы, тяготение к искусству и творчеству не умирают: советских людях даже в тех трудных и опасных условиях, в которых были созданы оба сборника, находящиеся перед нами.

